

З. Ахметова

СВЕТЛЫЕ ДНИ

АЛМАТЫ КИТАП БАСПАСЫ
2022

УДК 821.512.122
ББК 84 Каз 7-4
А-95

Издание рекомендовано Министерством образования и науки
Республики Казахстан к использованию в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательных школ

Перевод с казахского языка А. Утешевой

Ахметова З.
А-95 **СВЕТЛЫЕ ДНИ:** Воспоминания, эссе. – Алматы: АЛМАТЫКІТАП БАС-
ПАСЫ, 2022. – 256 стр.

ISBN 978-601-01-4671-6

Книга посвящена Бауржану Момышулы – прославленному герою Великой Отечественной войны, легендарному командиру, известному писателю. В произведении, написанном сной герой, ярко и ёмко раскрывается образ великого сына казахского народа, его мудрость и человечность. Книга дополнена фотографиями из семейного архива Б. Момышулы.

УДК 821.512.122
ББК 84 Каз 7-4

ISBN 978-601-01-4671-6

© Ахметова З, 2008
© ТОО «АЛМАТЫКІТАП БАСПАСЫ», 2008

Над горой, что видна из окон нашей квартиры, ярко полыхая, поднимается солнце. Потоком льется на пробуждающийся город – улыбочивое, щедрое, по-отечески доброе. Могли бы мы думать несколькими годами раньше, что эта привычная глазу вершина, каких, наверное, десятки вокруг столицы, займет огромное место в нашей жизни, зажжет в наших сердцах огонь такой красоты и силы, станет символом незатухающей памяти о дорогом и близком человеке. С того черного дня, как умер ата, взоры нашей семьи прикованы к этому далекому холму, к нему, высветленные бедой, каждое утро стали обращаться наши глаза.

Вот и сегодня, едва только первые робкие лучи заскользили по стенам квартиры, мы, не сговариваясь, выходим на балкон и молча наблюдаем, как на вершину холма взбирается солнце. Нас двое, и каждый думает о своем. Но молчим мы, я уверена, об одном и том же. Тишину нашего молчания нарушает голосок маленького Ержана.

– Вы на дедушку смотрите, да?

– Да, сынок.

Теплый со сна, взъерошенный мальчик удобно устраивается у отца под боком и тоже смотрит на гору печально и внимательно.

...Прошло уже немало времени с тех пор, как перестало биться горячее сердце нашего отца. Человека, истинно любимого многими простыми людьми. Завершился его неповторимый жизненный путь.

Разумом понимаешь, а сердце никак не хочет примириться с утратой, и спорит отчаянно, и кричит от боли.

Всех, кто приходит к нам домой, Ержан ведет на балкон, чтобы показать, где покойся его дедушка.

– Вон на той горе наш дедушка. Сейчас он знает, что мы на него смотрим.

Мой мальчик не так мал и неразумен, чтобы не понять неотвратимости

законов природы. Но маленькое сердце все равно живет какой-то надеждой на чудо. Я никак не могу привыкнуть к детской выдумке – “экскурсии”. А однажды, не выдержав, прижала Ержана к себе и горько разрыдалась.

– Нет у нас больше дедушки, понимаешь? Мы никогда его не увидим! И он нас никогда не сможет увидеть, никогда.

Я плакала в три ручья, а ребенок молчал. Только сдвинул сердито “дедушкины” брови, нахмурился и очень холодно, как-то совсем не по-детски, на меня посмотрел.

– Не говорите, что его нет, мама, – сказал он твердо, но чуть дрожащим голосом.

Эти слова были для меня равносильны удару; что ответить – не знаю. Ведь это не просто тоска по родному человеку или детский вымысел, в его словах была правда. Та правда, которой верил народ, считая физическую смерть Бауржана Момышулы началом его второй, вечной жизни.

Однажды мы возвращались с кладбища, где земля на дорогой могиле была еще совсем свежей, и Бахытжан прочел нам с сыном свое четверостишие:

Отвергнув мед хвалы и яд хулы,
Упрямо веря в смерти поражение,
Отец мой, Бауржан Момышулы,
Ушел в свое последнее сражение.

И снова Ержан восстал против последней строки. Он прав, наш ата и сегодня продолжает сражаться на стороне чести и добра – своим словом, добрыми делами, неувядающей памятью о нем. Его наследие, вся его жизнь и творчество – как сабля, занесенная над трусами и предателями, лицемерами и карьеристами, над подлецами всяких проб и степеней.

Бахытжан не поэт, и эти строки, наверное, сами вышли из обугленного горем сыновнего сердца. По возвращении домой я тут же записала его и спрятала: ата всегда учил ценить и сохранять искреннее, сказанное от души слово. И не случайно мне завещал свои бумаги, свой архив. Это произошло, когда ата переезжал от нас в другой дом. Тогда он сказал мне:

– Никакого богатства в жизни я не копил, но и бедным себя не считаю. Моя казна – это мои бумаги, в которых жив мой голос, мои мысли, радости,

страдания и печали. Каждое слово давалось мне нелегко и потому имеет цену. Если слово мое пригодится народу, поможет кому-нибудь в трудную минуту, то смеет ли человек мечтать о большем богатстве? Эти бумаги должны остаться в семье Момышулы, и хранильницей их, как и огня в очаге дома, будешь ты. Верю, что ты достойно будешь оберегать честь дома и твой дастархан будет всегда накрыт для людей. Но ты не должна отдавать в чужие руки ни один клочок бумаги без моего личного разрешения. Повторяю: ничего без моего личного разрешения. Поняла, дочка?

Я выполнила наказ свекра. И многие годы свято оберегала неприкосновенность завещанных мне архивов не только от чужих рук, но и единственному его сыну Бахытжану не разрешала касаться бумаг отца. А ата все эти годы ни разу не усомнился в верности моего обещания – обязав меня своим доверием, он ушел из жизни...

Теперь, когда боль от потери родного человека понемногу отпускает и отчаяние, многократно усиленное ощущением безысходности, сменяется спокойной, отрешенной памятью, я могу прикоснуться к своему наследию – “казне”. Перебирая крупно, размашисто исписанные листы, вчитываясь в неровные строчки, я хочу услышать биение его горячего, отзывчивого на чужую беду сердца. Представить глубину его чувств, высоту и благородство помыслов – все равно что живого человека встретить. Мне особенно дороги записи ата о периоде нашей совместной жизни. Тогда под одной крышей, объединенные одним шаныраком, жили представители трех поколений Момышулы: отец, сын и внук; собирались за одним дастарханом, делили беды, радости и заботы. Это были незабываемые годы – памятные именно духовной общностью членов нашей семьи. Тогда, воодушевленные влиянием ата, мы, как никогда позже, старались понять друг друга, прочувствовать состояние родного человека. Для меня эти годы вылились в большую школу жизни.

Да, эти годы пролетели, словно стая птиц с широкими белоснежными крыльями. Это были действительно крылатые годы...

Тщательно запакованная в бумагу папка, сверху – перевязанный бечевкой синий конверт. В конверте я нашла пожелтевшую от времени, но целехонькую, без сгибов и трещин обычную почтовую карточку. На ней было написано “Полевая почтовая станция 993, 1073-й стрелковый полк, 1-й отдельный батальон. Старшему лейтенанту Бауржану Момышулы”. В этом письме

адресату сообщалось, что у него родился сын, его поздравляли и требовали “бить проклятых фашистов ради жизни на земле”.

Я держала в руках кусочек тонкого картона, с удивлением рассматривала каждую букву послания. Меня потрясло то, что в огне страшной войны, в метельных сражениях, в тяжелых походах, поглотивших миллионы человеческих жизней, весть о рождении крошечного сына воин сохранил до наших дней.

Как это не похоже на сурового, строгого ата и как это свойственно его большой ранимой душе!

А эта папка совсем новая. “Ержан Момышулы Третий. Сохраните это в его личном архиве. В будущем скажет свое слово. 19.1 – 74.12.30” написано его рукой. Здесь тщательно собраны каракули Ержана, первые детские рисунки. И на каждом “документе” внизу, будь то даже обрывок бумаги – ведь Ержан рисовал и писал на чем попало – аккуратно выведены день, месяц, год. Рисунки и каракули год от года менялись, становились все увереннее, и только рука ата оставалась прежней.

Вот любопытный документ. На обложке школьной тетради – “13/XI – 73 г. Оплакивание невестки Шеген-бия, рассказанная мне матерью моего внука”. Я долго не могла вспомнить, когда и в связи с чем рассказывала ата народный жоктау-оплакивание, и принялась рыться в своих бумагах, надеясь, что найду там концы. В пяти общих тетрадах – мои дневники о днях, проведенных вместе с ата. С волнением перелистывала свои тетради, в которых с обычной женской “мелочностью” описаны те дни и события. Идею дневников, сам того не ведая, подсказал мне ата.

Однажды Ержан проснулся и как всегда юркнул в дедушкину комнату. Ну, думаю, ата, наверное, работает, а сорванец под рукой там вертится, мешает. Пойду, думаю, посмотрю. Захожу, а Ержан, удобно пристроившись у ног деда, свой очередной сон рассказывает. Он сколько раз в день спит, столько и снов видит, а ата не устает его слушать. И сны у него часто многосерийные, конца-края не видно. Вот и сейчас Ержан вовсю чешет, на меня даже не обернулся, ата – весь во внимании – мне рукой знак подает: не мешай, мол.

– И вот иду я по огромному саду, а там яблок и груш видимоневидимо. А груши как лампочки светятся. А навстречу идет батыр в кольчуге, перед собой щит держит, в руке сабля, на голове золотая каска с

красной звездой, только я лица не увидел, а вы с ним, наверное, знакомы, да? – захлеб рассказывал малыш. У него в голове было столько всегда цветных впечатлений.

– Ты разных батыров каждую ночь видишь, где же мне их всех узнавать?

– Но это же наш, советский батыр, – возмущенно сказал внук.

– Ну кто это, кто?

– Это Митя Снегин, – чуть помолчав, важно изрек ата.

– А-а, этот русский дедушка, который к нам недавно приходил! А маузер у него есть?

– Про маузер не помню, а пушка была – точно.

– Пушка же в коробку не влезет, – довольный своей находчивостью, вставил Ержан.

– Пушки специально таскают и возят.

– А сабля у него была?

– А то как же.

– Ну, тогда точно это я русского дедушку во сне видел, – убежденно сказал сын.

– А я что тебе говорил? Это был Митя, – подтвердил его догадку ата.

– Он груши сторожил, да?

– Нет, свет.

– А вы?

– А мы вместе.

– Я темноту не люблю, всегда боюсь один в темноте оставаться, пусть лучше всегда светло будет. Ладно, ата, я пойду папу разбужу, свой сон расскажу, – и Ержан убежал к отцу.

Я повернулась, чтобы идти на кухню, но ата остановил меня.

– Устами младенца глаголет истина. Он говорит или творит что-то, а ты записывай. Это и само по себе интересно, и еще Бахытжану помощь будет. Книга его, я смотрю, вышла неплохая. И рецензии теплые. Говорят, если бы в жилах барана не текла кровь архара, то он не пытался бы вспрыгнуть на высокий утес. Кажется, из этого барана выйдет какой-никакой писатель.

Слова ата оказались пророческими: мои скромные “наблюдения” за сыном вошли в книги Бахытжана для детей “Тихие голоса” и “Я еще ребенок” и,

смею надеяться, каким-то образом помогли ему в работе, хотя, по его выражению, оказались не более чем “сырым материалом”.

Зато чуть погодя я уже лелеяла свой тайный замысел: записывать все об ата. “А почему бы и нет?” – помню, подумала я тогда и пожалела, что эта разумная идея не пришла мне в голову раньше. Дело пошло на удивление споро, впечатлений от общения было много и писалось легко. К нам домой приходило много интересных людей, проблемы с “материалом” не было. В те годы он, как правило, старался держать меня при себе, надолго никуда не отпускал. Особенно дороги нам были те долгие зимние вечера, когда мы весело очищали журнальный столик от бумаг, застилали его скатеркой, приносили горячий чай и всей семьей располагались возле кровати ата. Да, наш ата был не только удивительным, очень искусным рассказчиком, но и живой летописью, историей.

Я, признаться, писала дневник урывками, между нескончаемыми домашними заботами: когда наспех, когда обстоятельно – как время позволяло. Но всегда – искренне, в этом укорять себя не могу. Да ведь с ата и невозможно было иначе.

Долгое время ата не подозревал о существовании дневника. Но однажды за ужином Бахытжан выдал мой секрет. В ту минуту я была готова убить своего болтливового супруга на месте. Ата мог хвалить и поддерживать одно дело, а за другое, если чем-то вдруг пришлось не по душе – старайся, хоть селезенка лопни, – отчитает так, что будь здоров. От его “прекратить безобразие” кровь стынет в жилах. Вот и сейчас, ожидая разгрома, я сжалась на своем стуле в маленький несчастный комочек и страстно мечтала провалиться сквозь землю. Но ата, видимо, почувствовав мое крайне смятенное состояние, неожиданно мягко сказал:

– А что здесь плохого? Пусть пишет, раз пишется. Ей нет нужды, как другим, спрашивать разрешения, задавать кучу пустых вопросов, а потом записывать, что им скажут. Пусть поступает, как хочет. Грех жаловаться – про меня немало писали. Не говоря о казахах, мне посвятили много добрых слов и Александр Бек, и Александр Кривицкий, и генерал Петр Вершигора, и генерал Иван Чистяков... Я благодарен им всем. Но никто, никто не видит и не видел меня глазами невестки. Обычно воспоминания пишут жены, дети, друзья. Это стало традицией. Но чтобы невестка писала про свекра – такого

я что-то на своем веку не припомню. Так что это только твоя привилегия, доченька, – повернулся ата в мою сторону.

У меня внутри все оттаяло. Да ведь и не было никогда у меня “писательского зуда”. Для себя, для сына, для семьи писала, а об издании книги тем более не помышляла. Какая может быть книга, это ата из доброго ко мне отношения просто сказал. Главное, что он на меня не сердится. Я было совсем повеселела, распрямилась и уже этак победоносно посматриваю на мужа – ну что, мол, каково?! – как вдруг холодный голос и жесткий, вытянутый прямо перед моим носом указательный палец вновь вернули меня с небес на землю.

– И ничего не выдумывай, правду пиши! – строго предупредил меня ата. – То, что видела и слышала, не приукрашивай, не скрывай. Слышишь? Не трудись замазывать меня яркими красками и блестящим лаком – не обременяй себя ложью. И еще: что по-русски сказал – то по-русски, что по-казахски – то по-казахски: не заботься о переводе, как сказал, так сказал. Никогда не фиксируй анекдоты и сплетни – их обо мне вагоны ходят. Это тебе не к лицу, понятно?

Этот разговор состоялся 28 октября 1973 года.

О моем ата писали видные полководцы, именитые писатели и журналисты. Поэты посвящали ему поэмы, композиторы – песни, режиссеры создали кино-, теле- и театральные постановки. Браться за перо после всего этого крайне сложно и ответственно, хотя и присутствует радость осознания того, что и ты можешь внести маленькую лепту в дело увековечения памяти действительно большого человека. Я далеко не писатель и не поэт. Я всего-навсего его невестка, келин. Как могла, соблюдала гостеприимство и щедрость его дастархана. И доброе слово, и строгую отповедь, а то и окрик слышала, и не раз от них саднило сердце. Пусть и немного лет, а все же ухаживала за ним, никогда не прекословила и рада была услужить этому человеку.

Я была свидетелем его будней и праздников, перед моими глазами протекала обычная жизнь необычного человека. И если бы судьба окончательно повернулась ко мне лицом, то я счастлива была бы всю жизнь посвятить заботам о нем. Но, зная, настолько сложна и своеобразна была его натура, что наши житейские рамки были ей неизмеримо тесны... Наверное, так противоречив закон существования всякой неординарной личности.

Отец наш был бурным селом, сметающим все на своем пути. Потоком, которому тесно в русле, – он разбивал преграды и шел своим путем.

В моих записках, как и наказывал ата, нет и тени неправды. Иначе никогда не искупить мне вины перед его светлой памятью.

В этих скромных записках я далека от “образа”. Мною руководило сознание того, что мало кому выпало счастье быть невесткой такого человека и видеть национального героя не в президиуме или на трибуне, а дома – как отца, деда, свекра. Наверное, я не ошибаюсь, считая, что, повествуя о некоторых гранях его сложного характера, делясь своими впечатлениями от интереснейшего с ним общения, я выполняю свой гражданский, человеческий долг перед всеми, кто любил ата, кому дорога светлая память о нем.

* * *

Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как я зажгла первый робкий огонек в своем очаге. Позади остались отчий дом и беспечное девичество, впереди – грезы о будущем и самостоятельные хлопоты. Прежняя моя работа находилась за городом – ездить туда далеко, а в городе ничего подходящего по специальности пока не подыскивалось. Вот и пришлось какое-то время коротать дома одной: муж вскоре после свадьбы по делам выездной редакции на целый месяц уехал в Целиноград. Две крошечные, как гнездышки, комнатки нашей квартиры, которая осталась Бахытжану после мамы, особых хлопот с уборкой не доставляли, и я была предоставлена самой себе.

Много читала и еще – по своей давней привычке – подолгу наблюдала за восходом и закатом, это великое таинство природы странно притягивало меня с детства. Комнаты нашей квартиры были расположены таким образом, что в первой я встречала солнце – робкие лучи скользили по стенам, а во второй, вечером, провожала – и багряный свет усталого доброго солнца до самой ночи теплился у меня в душе. Вот и вся моя работа, такая лиричная и безмятежная, а сердце все же ныло. Будущее нашей семьи не казалось мне таким же безмятежным: ведь моего ата, родного отца мужа, не было даже на свадьбе, а что будет потом?! Такое отношение представлялось мне, по меньшей мере, странным. Ата работал в Малеевке, в доме творчества писателей под Москвой, но ведь это един-

ственный сын! А Бахытжан, видно, с раннего детства привык к своему самостоятельному положению и не был, казалось, огорчен отсутствием родителя. У меня же словно заноза в ребрах: ничего, утешаю себя, рано или поздно приедет. Но тут же и спохватываюсь: только не сейчас, пусть лучше позже. Я почему-то страшилась этой встречи, одна мысль о ней приводила меня в непонятный трепет. Я росла под магическим влиянием рассказов и легенд об этом необыкновенном человеке, в детстве он виделся мне одним из тех сказочных древних батыров – закованных в латы, в шлеме с султаном из орлиных перьев, – которых “пуля не берет и меч не рубит”. И, помню, будучи уже студенткой КазГУ, на встрече была немало удивлена, что Бауржан Момышулы, как и все мы, смертные, сотворен из мяса и костей.

Теперь судьба распорядилась так, что я стала женой его сына...

Время близилось к полудню. Поставив чайник, я просматривала свежие газеты, как вдруг снаружи что-то ужасно загрохотало. Стучали в дверь – и так громко, что я невольно оробела. Да и всякий на моем месте тоже бы оробел: будто дверь взламывают. Я на цыпочках пробралась в прихожую и, набравши в легкие побольше воздуха, нерешительно поинтересовалась, кто это там стучит. – Я, твой ата! – прогремело за дверью. Я опрометью бросилась к платяному шкафу, в панике перевернула весь свой гардероб, трясущимися руками теребила пуговицы домашнего халата, пока наконец нашла платье с длинными рукавами, платок на голову и чулки – у нас не принято было появляться перед старшими в повседневной “городской” одежде.

С ата был еще кто-то, тоже старший по возрасту, и я склонилась перед ними в почтительном поклоне – это был мой традиционный сале́м свекру.

– Будь счастлива, дитя мое, – ласково пророкотал ата и, как маленькую, погладил по голове. В ту минуту я бы не могла сказать, как они оба выглядели, потому что не смела поднять глаз на дорогих гостей. Уже в комнате ата представил своего товарища:

– Это Мекемтас Мырзахметов, твой родственник и ученый. Мне он как младший брат, а тебе, дочка, приходится кайнагой, старшим братом мужа.

Я же вместо того, чтобы, как принято в подобных случаях, вежливо поприветствовать гостя со словами “очень приятно”, “очень рада”, и т.п., стояла подобно лишившемуся дара речи истукану. Да и то – ведь не с чужим человеком знакомят, а с родственником.

На мое счастье, чайник вскипел. В кухне я перевела дух, набралась решимости и пошла накрывать на стол.

– Мне без молока и покрепче, – попросил ата. “Надо непременно запоминать его привычки”, – отметила я про себя.

После первой пиалы ата принялся обеспокоенно осматриваться, словно внезапно обнаружил какую-то важную пропажу, и, вытягивая шею, заглядывать в соседнюю комнату.

– Где черновик?

– Какой черновик? Откуда? О чем вы говорите? – еле слышно просипела я.

Ата непонимающе помолчал, а потом вдруг, откинувшись на спинку стула, расхохотался. А за ним и кайнага, следом и я растянула рот в жалком подобии улыбки. Ата умел смеяться от души.

– Так ты не поняла, дочка, о ком я спрашиваю? – Он вытер уголки глаз большим носовым платком. – О Момышулы Втором.

– А он с выездной редакцией в командировку в Целиноград на месяц уехал.

– Таким городским бездельникам полезно помотаться по степи и узнать, как и чем живет народ. Правильно, нечего стаптывать подошвы на столичных тротуарах.

В недавней панике я, как выяснилось, натянула платье поверх халата и теперь изнывала от жары. Если быть честной, не столько от жары, сколько от присутствия ата, я изо всех сил старалась казаться примерной келин, но совершенно не умела владеть собой и тушевалась безмерно. Чуткое сердце ата подсказало ему, в каком великом смятении находится его нерасторопная келин.

– Ты, дочка, не стесняйся, это ничего, – ласково сказал он. – Не прячь глаз, старайся всегда высоко держать голову. Я, знаешь, не умею разговаривать с человеком, если не вижу его глаз. Запомни еще, дитя. Я не люблю казахское название невестки “келин”, потому что оно подчеркивает, что человек пришел в семью из другого дома, из чужого рода. А ведь и ты мое дитя, и я буду называть тебя дочкой. Никогда, дочка, не стесняйся смотреть человеку прямо в глаза и говорить правду.

В этих словах было спокойное понимание и глубоко скрытая нежность. Я подняла глаза. Брови, тронутые сединой, глубокая складка на лбу, жесткие

усы бурыми иглами и главное – жгучий, пронизывающий взгляд. В эту минуту я вспомнила своего отца.

– Спасибо, ата. Покойный отец тоже называл своих невесток дочерьми.

– Ну, значит, я на своего свата похож.

Как так? Человек, чье имя уже при жизни стало легендой, говорит о том, что похож на моего отца, никому не известного скромного врача. И кто меня за язык тянул, зря про отца сказала, совсем напрасно! А может, он обиделся или в насмешку себя со сватом сравнил? Тяжелые сомнения за клубились у меня в голове. А ата преспокойно курил трубку, стряхивая пепел, постукивая костяным мундштуком по краю пепельницы. В черных усталых глазах не было и тени издевки. По-мужски красивое строгое лицо казалось далеким в облаках синего табачного дыма.

– Так ты совсем одна?

– Да, ата.

– Почему он, не успев жениться, сразу удрал?

– Он не убегал, – невольно улыбнулась я: только что говорил, нечего городские тротуары топтать, а теперь уж и укоряет. – Я его сама проводила, сегодня двенадцать дней, как он в командировке.

– Тоже мне, птичка божья! – усмехнулся ата. – Как ты одна?

– Привыкаю.

– Не дело привыкать к одиночеству.

Не зная, что ответить, я промолчала.

– Чем питаешься? – продолжал он.

– У меня все есть. Мама заходит, – залепетала я.

– Мгм-м... Есть-то оно есть, на вот, возьми на первое время, – протянул ата деньги.

– Нет-нет, у меня есть...

– Бери!.. Эй, Мекемтас, нечего тут рассиживаться, не у нагаши¹ в гостях, вставай, иди такси лови.

Ага кивнул мне и вышел. Ата поднялся следом, задержался в дверях, как будто хотел сказать еще что-то, но, видно, раздумал, поднял руку, как бы отдавая честь, и решительно переступил порог.

¹ Нагаши – родственники по материнской линии.

Я долго не могла прийти в себя. Сидя у неубранного дастархана, снова и снова перебирала в памяти слова, интонации, жесты ата и отчаянно казнилась по поводу собственной неуклюжести: то ли говорила, так ли себя вела. “Я на своего свата похож”, – сказал он. И сказал искренне: сердце меня не обманывало. Он уважал себя и умел уважать человеческое достоинство, честь и ум другого человека – независимо от того, какое положение тот занимал в обществе. Но подлецов и лизоблюдов не щадил.

Он никогда не навязывал нам свои мнения и вкусы и вообще старался в этих вопросах избегать командирского тона. Иногда говорил: “Моя дочь не из тех, что крещены сверхмодой”. Значит, следовало понимать, что до сих пор я вела себя правильно. Я чувствовала, что ата нравится в людях скромность без забитости, искренность без развязности; в этом отношении меня не в чем было упрекнуть. Уважения нашему ата хватало, но мое почтительное уважение было для него особенно дорого. И я старалась никогда не обмануть его доверия. Не зря у казахов говорят: “Ребенка – с колыбели, а невестку – со свадьбы”.

В жизни ата не был простым человеком. В отношении к нему большинства людей было много не только уважения, но и благоговейного почитания. Но сам он очень бережно относился к лучшим народным традициям, к нравам и обычаям простых людей.

Сейчас об этом есть время подумать. Снова, как и много лет назад, первые свои лучи солнце льет в большую комнату с лоджией, а последними, перед сном, окрашивает вишневым соком окна кабинета. Сейчас солнцу легко быть с нами весь день, потому что живем мы на седьмом этаже высокого дома в просторной квартире, которую оставил нам отец.

* * *

Сердце мое было переполнено светом. Свет затопил палату на следующий день после рождения Ержана.

Утром в дверь всплыло огромное разноцветное облако роз. Откуда-то снизу раздался голосок: “Кто здесь Ахметова?” “Я здесь”, – растерянно отозвалась я. Трудно было поверить, что все эти цветы – для одного человека (тогда в больницах разрешали принимать цветы, аллергии, как сейчас, не боялись), и сердце мое подступило к самому горлу.

– Это ата принес?

До сих пор не знаю, почему я так спросила: уверена только, что на такое великолепное безрассудство способен лишь один мой ата.

– Да, он сам пришел, а рядом на вас похожий кучерявый джигит, брат, наверное, – тараторила взволнованная встречей юная медсестра. – Так мно-о-го! Вообще-то нельзя, ругают сразу так много принимать, но я не смогла не взять, ведь сам батыр Момышулы просит. Ой, простите, тут и записка для вас.

“Доченька, поздравляю тебя с моим внуком! Ата.

17/VIII-69 г.”.

Все эти годы я храню этот трогательный клочок бумаги как напоминание о самом счастливом дне моей жизни. Много было потом радостей, но ни одна из них не сравнится с той, что уместилась в короткую сдержанную строчку.

А Ержан до сих пор пристаёт с просьбами рассказать “о цветах, которые подарил дедушка, когда я родился”. И ведь не раз и не десять раз рассказывала, а хочется человеку снова и снова услышать о том, как обрадовался дедушка его появлению на свет.

Но где найти такую вазу? Новость о букете-гиганте облетела больницу – и вскоре к нам в палату потянулись женщины, чтобы получить цветок из букета, к которому прикасались руки прославленного человека. Это добрая примета: может, к их детям перейдет частичка доброты и мудрости Бауржана. Таким образом каждой матери досталось по цветку.

Когда нас с сыном выписали из больницы, ата, увидев красное сморщенное личико, сказал с угрюмым удивлением:

– Вот это недоразумение и есть мой внук, товарищ Момышулы Третий?..

– Апапа, – после некоторого раздумья повернулся он к тете Бахытжана Бибинур-апе. – Поручаю вам наблюдение за младенцем. Не то эти остолопы наверняка его угробят.

– Ну о чем ты говоришь, Бауке, – улыбнулась апа его солдатской прямо-те. – Сына вынянчила, а уж внука и подавно в обиду не дам. Недоразумение, говоришь? А отец этого недоразумения, если хочешь знать,

покраше этого был: синий лягушонок, да и только. Слабеньким очень родился... Вот, человеком стал, – отчего-то грустно вздохнула апа. Не зря Бахытжан считал ее матерью...

– Я перед вами всю жизнь в долгу, – хмуро сказал ата, в его голосе сквозила неуверенность.

– О каком долге ты говоришь? – покачала головой Бибинур-апа. – Бахыт – единственная кровиночка после моей единственной сестры, ведь это они – наши дети – связывают нас при жизни...

– Апапа! – повысил голос ата.

“Апапа” была родной старшей сестрой мамы Бахытжана Бибижамал. Покойная сестра мужа, Шолпан, маленькой никак не могла выговорить “аппак апа”, что означает “белая мама”, а лопотала “апапа”. С тех пор и повелось: все родные и знакомые называют Бибинур-апа “апапой”. Хорошее, ласковое имя. Не случайно апапа пользуется огромным, искренним уважением среди людей – за доброту свою и человечность. После смерти мамы Бахытжана Бибинур-апа стала ему родной матерью. Моя мама скончалась через год после нашей свадьбы, и Бибинур-апа стала для меня и матерью, и воспитателем, и “главным советником”. Кажется, никто другой, кроме апапы, не смог бы заменить мне родную маму.

Апа первой нарушила тяжелое молчание и повернула разговор в другое русло.

– Дай имя внуку! Дети ждали тебя. Они хотят, чтобы ты дал мальчику достойное имя.

Ата задумался:

– Я уезжаю в Москву. Вопрос этот очень серьезный, с ходу решать его нельзя. Человеческое имя не собачья кличка, мне надо подумать.

Мы согласились. И пока ждали вестей от своего ата, оставались без имени. Так, безымянные, жили почти месяц. Но называть-то ребенка все равно как-то надо, вот мы и приспособились давать ему временные прозвища из разных мультфильмов: “Умка”, “Чиполлино”, “Гав-гав”, а то и просто “Мыркымбай”. Чего только не придумывали!

Наконец в один прекрасный день мы получили письмо от ата, адресованное на мое имя: “Дочка! Спасибо тебе за твое ко мне уважение. Назови моего внука сама, я уступаю тебе это право. Покойная Бибижамал, когда я

был на фронте, сама назвала нашего сына. Для ребенка нет никого ближе и родней матери – тебе, думаю, нет нужды доказывать это. Твой ата, гвардии полковник Б. Момышулы. 12.IX.69 г.”.

Я назвала его внука Ержаном. Позже ата задумчиво заметил однажды: “И этот “жан”? Что ж, жан – это душа, имя чистое, смелое и сугубо казахское”.

* * *

Шли своим чередом дни, месяцы. Ата уезжал в Сарыагач, Москву, другие города по делам и, видимо, навестить внука ему было все недосуг. Последний раз он видел его после того, как мы выписались из больницы. В перерывах между поездками, ата, конечно, бывал у себя дома, но сама пойти я к нему побаивалась, а Бахытжан все отнекивался или отговаривался занятостью. Иногда ата звонил апаве, чтобы узнать о нашем житье-бытье – этим и ограничивалось долгое время наше общение.

Однажды, когда Бахытжана не было дома, я взяла на руки сына и отправилась к ата: пан, думаю, или пропал. Ержану исполнилось тогда целых пять месяцев – он уже умел смеяться, лопотать что-то забавное, на него уже можно было надевать крохотные одежки, словом, Ержан в ту пору был вполне самостоятельным человечком.

Вот и та дверь, которая откроется сейчас передо мной впервые.

Дверь нам открыл сам ата. Кроме него, по-видимому, дома никого не было. От того ли, что были мы в зимней неуклюжей одежде, или потому, что сам давно нас не видел – не знаю, но сразу он нас не признал. Приняв мое приветствие, он буднично поинтересовался, по какому делу мы пришли. У меня сильно защемило сердце – еще немного, и я расплакалась бы там же.

– Ата! – сказала я с отчаянием. – Это же мы, я и ваш внук Ержан.

Ата посмотрел на меня, перевел взгляд на Ержана и вдруг, словно защищаясь, заслонился рукой, как от какой-то беды. В его облике была такая растерянность, что мне стало не по себе. Было очень горько. Но тут он буквально выхватил малыша у меня из рук, прижался щекой к его лицу и, шепча что-то ласковое и виноватое, все тискал перепуганного Ержана.

Лицо его побледнело, исказилось, словно от боли, глаза наполнились слезами. До сих пор перед глазами стоит эта картина: плечистый великан дед, прижимающий к себе крохотного внука. Я часто вспоминаю об

этом с волнением. В тот свой визит я еще не знала о том, что ата очень редко ласкает детей и вообще редко открыто проявляет свои чувства. Но тогда его стальное сердце расколосось надвое – от сознания своей вины, боли, тоски и нежности.

– Выживший из ума старик! Затмение напало, собственного внука не узнал! Ну ладно, прости деда, не хмурься. Прости, ведь ты же Момышулы Третий. Это у тебя на лобике написано, а у дедушки глаза старые и усталые, они тебя сразу не разглядели, прости, – суетливо уговаривал ата внука, словно тот мог что-то понять.

Никогда ата не позволял себе жалкой суетливости, нелегко было заставить его просить у кого-нибудь прощения. Но если он был твердо уверен в том, что виноват, то не считал унижением просить извинения и у ребенка. В этом тоже была частичка его величия – я знала, как трудно ему поступиться врожденной гордостью. Это качество обычно соседствует с той истинной простотой, которая дается только по-настоящему большим людям.

* * *

Несмотря на то, что отец называл себя “выжившим из ума стариком”, ему только исполнилось шестьдесят.

Отметить шестидесятилетие ата хотели и его земляки. Они пригласили его в Джамбул. Перед этими торжествами ата решил отдохнуть от города, от предпраздничной суеты. Ему предложили поехать на озеро Биликуль, в местечко Бериккара, и он взял с собой нас с Ержаном.

В Бериккаре я прожила два полных месяца.

Это был чудесный уголок природы, просто цветущий оазис среди голых, скучноватых скал. Звонко журчали ручьи, трели и щебет птиц действовали, как бальзам, пролившийся на душу.

После городского шума этот благословенный мир показался мне чуть ли не райским Эдемом, где струились медовые воды Зем-зема.

Отец жил в юрте, поставленной специально для него, а мы с Ержаном и мачехой Гайникамал устроились в коттедже, где были и газ, и холодильник, и мебель, и всякая посуда, словом, все городские благоустройства.

Но юрта у ата была на редкость красивой. Орнамент на кошке снаружи поражал витиеватостью и загадочностью линий; украшения у шанырака и на

остове юрты внутри волновали первозданностью рисунка – так бы и смотрела целыми днями.

Тишина, покой и гармония нашего сосуществования с природой длились недолго. Уже через несколько дней начали приезжать к нам гости из самых отдаленных уголков области. Прослышав о том, что батыр приехал на родину, люди спешили поздороваться с ним, получить его благословение для своих детей, поговорить с ним или просто увидеть. Для меня настали горячие, ответственные дни: встречать, провожать, принимать и готовить стало моей ежедневной обязанностью.

Сказать правду, мне, привыкшей дома готовить на двоих, иногда обходиться яичницей и городским батоном, было очень нелегко готовить огромный казан еды для множества людей, а в иные дни приходилось это делать по четыре, а то и по пять раз. Мне не доставало ни опыта, ни сил, ни умения. Взялась опаливать баранью голову, а она превратилась в обугленную головешку. Лепешка, которую пыталась испечь в тапе – в двух сковородах, одна на другую – крышкой, осталась тяжелой и сырой, несмотря на то, что я старательно зарывала их в уголья горящего малиновым огнем кизяка. Я совсем пала духом. Злилась на себя, ругалась сама с собой, ела себя поедом, да толку-то... Брови мои были постоянно нахмурены, голова понуро опущена, губы крепко сжаты.

В тот день я, видимо, громче обычного гремела посудой, в сердцах швыряя в раковину миски и тарелки.

Разве можно было скрыть что-нибудь от зорких глаз ата?

– Зейнеп! Ступай сюда! – раздался вдруг его ледяной голос.

Я тут же поняла, что провинилась, по имени отец меня звал редко, когда бывал особенно чем-то недоволен. Я вышла из кухни, вытирая мокрые руки полотенцем, подошла к сидевшему за столом под раскидистой яблоней ата, но из осторожности остановилась чуть поодаль.

– Я немедленно вызываю машину. Убейся в Алма-Ату, – сказал он и отвернулся.

– Что случилось? – Гайникамал-апай, подволакивая больную ногу, заторопилась в нашу сторону.

– Старуха, дай ей деньги на дорогу, и пусть уезжает! – закричал отец.

Я стояла, не смея поднять глаз от земли, оцепеневшая от страха и бесси-

лия: в чем моя вина и почему он так сурово меня отчитал? Я была так ошеломлена, что в первые минуты не могла произнести ни слова.

– Ну, успокойся, Бауке, наберись терпения. Ничего страшного не произошло. Что ты так раскричался, словно небо рухнуло, объясни все спокойно.

– А ты сама посмотри, какой густой снег валит с ее ресниц да из глаз вьюги свищут! Она думает, наверное, что старик вез ее отдыхать, а сам работать заставил.

И тут я, набравшись смелости, перебила его: скажу, думаю, все, а там пусть хоть гонит.

– Да разве я бегу от работы? У меня голова сгорела!

– Что?!

– Я баранью голову испортила, сожгла, а хотела опалить. И тесто не пропеклось, вот и злюсь на себя.

Не успела я подумать, что будет дальше, как округу огласил громовой хохот ата. Впережку с ним раздавался охающий, почти изнемогающий смех мачехи. Я в недоумении подняла на них глаза: чего это они такие довольные?.. Ну и характер у ата – то хмурится, словно туча в горах, бушует ураганом, то вдруг – будто щедрое солнце – заливает все вокруг теплотой своей. Я остолбенело смотрела на своего ата. Только сейчас был январской пургой, пронизывающей до костей, а не успела и глазом моргнуть, как эта буря пронеслась и обернулась весенним праздником. Тут поневоле озадачишься.

Отсмеявшись, он обратился ко мне спокойным, ровным голосом:

– Доченька, только дурная женщина срывает свою досаду на посуде. Это недобрый знак. Ты мое дитя и быть плохой не имеешь права. Люди, приезжающие к нам, не могут знать о том, что сердиться ты из-за какой-то обгоревшей головы. Они обязательно подумают, что ты злишься на них, что их приезд тебе не по душе. Твой кислый вид и нахмуренные брови сразу в глаза бросаются, да гости так и скажут: “Невестка Момышулы ненавидит гостей”. Кто бы к нам ни приехал, встречай его с улыбкой, как родного человека. Если он не сможет быть человеком, другое дело – я сам смогу его выпроводить... А ты и провожать должна с уважением... Не сегодня-завтра приедет из аула Урзада, твоя младшая апа. Она поможет тебе, научит многому, чего ты пока не знаешь. Тебе будет легче, дочь. Мы ее задержим здесь на некоторое время. За то, что правду сказала, – спасибо. А теперь иди, занимайся делами.

Урзаду-апа мы все в нашей семье очень любим, как любим и ее честного и открытого мужа, моего младшего ата, сына дедушки Момынкула – Абдильду-коке. Он приходится двоюродным братом нашему ата. Этого доброго, немного чудаковатого Абдильду часто упоминает ата в своей книге “Наша семья”. Его единственного, надо сказать, и признает Бахытжан из всех своих родственников.

Этот случай стал для меня еще одним незабываемым уроком. Бахытжан внушал мне: “Когдаходишь в дом,ходи с улыбкой,какая бы тяжесть ни лежала на сердце” Ата, как топором, вырубил в сердце заповедь. “Гостя встречай светло!”. Всегда держать накрытым дастархан, уважительно принимать всех, кто перешагивает порог дома, – это для меня с тех пор и долг, и экзамен, и ответственность.

* * *

В один из солнечных дней весны умерла наша мачеха Гайникамал. По просьбе ата, оставшегося в одиночестве, мы переехали жить к нему. Незадолго до этого Бахытжан вышел из больницы после тяжелой очередной операции. Состояние здоровья ата в ту пору тоже оставляло желать лучшего: он часто болел. Оба нуждались в уходе. И я вынуждена была оставить работу на телестудии, хотя сделать это было не так легко, дело мое мне очень нравилось.

Ата, наказав, чтобы мы хорошенько устраивались, уехал долечиваться в горный санаторий “Алма-Ата”. Я тем временем перевезла в его опустевший дом наш немудреный скарб и принялась наводить уют. Моя основательная уборка имела далеко идущие цели. Создание теплого, спокойного рабочего климата: ведь наш дом теперь представлял собой миниатюрный филиал Союза писателей Казахстана – здесь должны были рождаться книги, проходить обсуждения, споры, беседы, выноситься решения, которые выйдут далеко за границы частной жизни одной семьи. А значит, здесь должен быть порядок.

Хоть я и бывала в этом доме не раз, но кабинет рассмотреть как следует не удавалось. А сейчас я с ужасом смотрела на хаос, который повсеместно царил в этой комнате, на разбросанные книги, на устилающие пол тетради, на валяющиеся кучей папки и чувствовала непреодолимый зуд в руках. Мне показалось, что начать уборку нужно с огромного старого письменного стола, на котором процветал тот же бумажно-папочный беспорядок. В каком же все

здесь было запустении! Создавалось впечатление, что здесь, в бумажных горах, люди лихорадочно искали какую-то нужную записку и, в спешке побросав все как есть, уехали. Я знала, как аккуратен с бумагами Бахытжан: он никогда не садится за машинку, если рядом валяются лишние бумажки, книги или рукописи.

Засучив рукава, я рьяно принялась за уборку. Наводя порядок по собственному вкусу и разумению, прежде всего я, как опытный зодчий, возвела пирамиды из папок, толстые и широкие легли в основание, а легкие и тонкие украсили вершину. Более того, я подогнала свою пирамиду по формату и цвету, чтобы была приятная цветовая гармония. Отдельные безбожно разбросанные бумаги я сложила в аккуратную стопку и сунула в ящик письменного стола. В общем, с меня сошло семь потов, пока с каждой папки и книги я стерла многолетнюю маслянистую пыль и воздвигла красивое, высокое и гордое сооружение. Закончив труды праведные, я поехала к маме Бибинур и привезла свою семью, то есть Бахытжана с Ержаном, в сверкающую чистой квартиру.

Ата часто звонил из санатория, сообщал о своих делах, здоровье. Оставалось несколько дней до окончания курса лечения, как он вернулся домой, – не выдержал. Да, и возле машинки я сложила стопку чистой меловой бумаги, донельзя довольная собой, я уже видела, как обрадуется ата, увидев результаты моего кропотливого труда. И вот звонок в дверь, непрерывный и требовательный.

– Ну, это папин почерк, – усмехнулся Бахытжан.

Таким же настойчивым звонком возвестил о своем приходе ата, когда впервые пришел посмотреть на внука.

Трель не прерывалась до тех пор, пока я не открыла дверь, ата только тогда убрал палец с пуговицы звонка.

– Ну, поздравляю вас с новосельем! – сказал он, торжественно вступая в дом.

После первых бессвязных слов и приветствий, расспросов о том о сем он ушел к себе, в кабинет. И тут же мы услышали душераздирающий рёв, словно его сердце внезапно пронзила стрела. Следом раздался возмущенный крик. Мы ничего не могли понять и очень переполошились. Бахытжан тут же схватился за свои черные костыли, торопливо застучал к кабинету, но я обогнала его и замерла на пороге. Стояла и в великой растерянности хлопала

глазами, а ата в свою очередь разъяренно тряс усами и рычал, как лев, возмущенно простирая руки к созданному мной чуду бумажного зодчества.

– Это что такое?! Что вы наделали?! Это что за безобразие?!

Я, конечно, не могу понять.

– Я вас спрашиваю! Кто вам позволил трогать мои бумаги?!

В моем мозгу забрезжило что-то вроде догадки, и я сумела пробор-мотать только:

– Я тут кое-что привела в порядок.

– Будь проклят такой порядок! Что это такое – как солдаты в строю! Как я теперь найду то, что мне нужно? Как?! – казалось, горячие искры посыпались из его раскаленных глаз. В поисках помощи и защиты я посмотрела на Бахытжана. Но он пожал плечами, мол, сама заварила кашу, сама и расхлебывай, подхватил костыли и убрался восвояси, в свою комнату, да еще и дверь за собой плотно прикрыл.

– Ладно, ступай! – устало разрешил отец.

Едва переставляя ослабевшие ноги, я дотащилась до своего “кабинета”. Здесь попевали мои классические супы и творческие поджарки. Но в кухне усидеть не смогла. Невыносимая боль душила меня, глаза застилала обида. Нет, не резкая отповедь отца так сильно меня расстроила, а то, что я снова, в который раз, попала впросак: хотела как лучше, а получилось так плохо, что хуже некуда. И крик, и покой в семье нарушен, и ата расстроился. Вот уж, воистину, заставь дурака молиться, так он и лоб расшибет. Что я за неумеха такая?! Рывдания волнами подступали к самому горлу и губы разъезжались куда-то в стороны, в ванной я пустила струю воды и вволю наревелась.

Полчаса, проведенные в обществе смесителя и эмалированного корыта, пошли на пользу, обильные слезы облегчают душу.

После добровольного кафельного карцера я все же решила выйти, попросить прощения.

Бахытжан стоял около отца, опираясь на тяжелые костыли. Ата, похоже, успокоился. Лицо его, во всяком случае, уже не пылало гневом, как полчаса назад.

– Пойди сюда, дочка! – коротко велел он.

В голосе его не было недавнего, пронизывающего до костей холода. Я подошла, но все же боязливо примостилась за спиной мужа.

– Мой беспорядок – это и есть высший порядок. Не забывай об этом

никогда, – сказал он по-русски. Ата частенько вставлял в свою речь русские слова и выражения, когда хотел заострить внимание собеседника на чем-то особенно для него важном.

– Простите меня, ата, я теперь ничего трогать не буду, – искренне повинулась я.

– Откуда ей было знать о твоих привычках, в самом деле? Надо было заранее предупредить, – наконец вступился за меня Бахытжан. После драки, как известно, кулаками не машут, но всё же...

– В адвокатах не нуждаюсь, – отрезал отец, грозно сверкнув на сына глазами.

Бахытжан, конечно, знал своего отца много лучше и выкрутился по-своему:

– И то верно! Вздумала тут приводить в порядок бумаги человека, который сам никакому порядку не подчиняется. Хм-м! Вот и получила по заслугам. Так тебе и надо, – подытожил он с невинной улыбкой на устах.

– Вот именно, – подхватил ата и тоже рассмеялся. – В следующий раз, – добавил он, глядя в мою сторону, – когда захочешь плакать, не обязательно так громко пускать воду. Плачь так – ничего.

Нависшие над нами свинцовые тучи рассеялись, поплыли легкими перистыми облаками. Я подумала о том, как важно, оказывается, переждать первый, грозный шквал ярости моего ата. Он отходчив, быстро успокаивается, и тогда можно прийти к обоюдному пониманию. Но этот эпизод, позволивший узнать одну из нелегких привычек нашего отца, навсегда врезался мне в память.

Впоследствии я была допущена к уборке его кабинета под неусыпным наблюдением самого ата.

Непосвященному трудно разобраться в особом, неповторимом порядке рабочих бумаг ата. Позже я поняла, какому строгому отбору подвергался здесь каждый листок. По темам, по проблемам – отдельные наброски, эскизы, неопубликованные произведения, стихи, афоризмы, зарисовки: все здесь четко классифицировано.

Так, начавшийся с возмущенного крика и закончившийся смехом, этот маленький эпизод стал для меня одним из многих уроков.

В первые дни нашей совместной жизни я не видела солнца. Это были очень тяжелые дни, полные гнетущей напряженной тишины.

Бахытжан запирается в своей комнате на целый день, что-то беспрестанно стучит на машинке, выходит только к столу, да и то, если позовешь. Ата в кабинете не встает с постели, лежа перебирает какие-то бумаги, пишет, погруженный в свои мысли. Между отцом и сыном нет теплых человеческих отношений, нормальных родственных чувств. Они никогда не ведут между собой душевных бесед. Избегает таких разговоров прежде всего Бахытжан. Найдет предлог или сошлется на больную ногу, и снова запирается в своей комнате, стучит. А я мучаюсь. Не думала, что такой будет наша жизнь под одной крышей.

Как подобрать ключи к их сердцам? Да и существует ли такой ключ вообще? Если да – не заржавел ли совсем? Найти подход к ним обоим жизненно необходимо. Воздух в доме, казалось, начинен электричеством, и одной искры достаточно для страшного взрыва. В этом пожаре могло сгореть все, что связывало до сих пор, пропадут все мои усилия наладить мир и душевный покой семьи. Единственное, что я смогу тогда сделать, – это сгореть вместе с остатками человеческого тепла. Надо что-то предпринимать, надо как-то сгладить противоестественную для близких людей отчужденность... Но что? Неопределенность, сознание своего бессилия мучали больше всего.

Наша семья была большой и дружной. Мы, дети, никогда, как Бахытжан, не называли отца на “ты”. Я росла более близкой к нему, чем к матери. Может быть, поэтому не принимала такого сдержанного, холодного отношения моего мужа к своему отцу. Но и винить открыто Бахытжана боюсь – вдруг ненароком потревожу старую рану. Имею ли я моральное право судить человека, который не знал постоянной отеческой опеки, широких и надежных отцовских крыльев, что защищали бы сына от всех житейских невзгод?

Самым вольным человеком в доме чувствует себя маленький Ержан, ему нет никакого дела до наших взрослых проблем. В чью бы комнату ни направлялся маленький баловень, всюду он ходит по праву всеобщего любимца. Ержан был единственным связующим звеном между нами, взрослыми, вносившими в отношения друг с другом ненужную запутанность и натянутость.

Мне было грустно смотреть на закрытые двери. Я все время страстно желала, чтобы к нам кто-нибудь пришел, чтобы раздалась веселая трель звонка. В такие минуты расплзалось по углам трусливое напряжение, на мелкие куски раскалывалась гнетущая тишина, взрывалось тяжелое молчание, в доме теплился свет, как румянец на щеках выздоравливающего человека.

Особенно радостно бывало нам, когда приходили старшие родичи Бахытжана Мекемтас-ага Мырзахметов и Шерхан-ага Муртазаев. Наши лица светлели. В такие часы находились общие темы для разговоров, искрились шуточки, звучал смех.

Зоркие, орлиные, как заметил один из наших знакомых, глаза ата не могли не заметить моего состояния, того, как трудно мне разрываться на части. Перемалываюсь между двумя тяжелыми жерновами, а будет мука или нет, время покажет...

Однажды ата позвал меня к себе. Долго молчал, вставляя в длинный мундштук сигарету. Потом поднял на меня измученные глаза:

– Дитя мое, ты человек, который позже всех, последним, присоединился к семье Момышулы. Нет, не присоединился, не прилип, а впаялся, вжился, вросся... Тебе уже не стать чужой, даже если наши трудности станут для тебя невыносимыми. Ты мать моего единственного внука – моей надежды и продолжателя рода. Известно тебе уже немало, а неизвестно гораздо больше. В этой семье много сложностей, судить о них нельзя никому постороннему. Мы и сами не можем в них разобраться... Когда Бахытжан родился, я был в самом пекле войны и даже весть о его рождении получил спустя два месяца – десятого декабря, а он родился, как ты знаешь, третьего октября. Я всегда помнил о том, что являюсь ему отцом, но так уж сложилась судьба, что расти пришлось ему без меня: мы виделись только в редкие мои наезды. Родине было трудно, я был нужен армии. Большой разрыв во времени привел к иному разрыву, – немного помолчав, вставил он по-русски. Значит, разговор предстоит далеко не будничным. – Мы мало были вместе, трудно сказать, сколько лет это составило в совокупности. Но я никогда не забывал о сыне. Этого у меня не отнять. Ведь он единственный сын, моя кровь, моя боль – руби топором, не отрубишь. Понимаешь, слишком много чужих душ предъявляли на меня права и считали, что Бахытжан им мешает. В этом большая доля моей вины. С 1956 года Бахытжан с мамой жили вдвоем, мне надо было уехать.

“Почему?” – чуть было не спросила я, но вовремя прикусила язык.

– Но мы встречались. И может быть, напрасно... Давали друг другу надежду, а это ослабляло волю. Мы чего-то ждали друг от друга, ждали каких-то изменений в жизни и в наших отношениях. Чего-то ждем и сейчас... Сын был очень молод, понятно, нетерпелив, он и по сей день остался максималистом. Ему и теперь нужно во многом разобраться, понять, научиться не осуждать. Да, отцовского воспитания да и простой заботы сын не знал. Как лишенный ухода росток, он сам пробивался к теплу и свету. Падал, ошибался, ушибался, но вставал. Бахытжан всегда старался ни в чем не походить на меня: он считает, что я самлюбивый, жестокий, равнодушный человек. Вряд ли теперь стоит надеяться на гармонию наших отношений... Мне, старику, тоже нелегко думать обо всем этом. Я далек от мысли давать сыну советы, все равно на моей памяти он всегда поступал наперекор, по-своему. Да, он все еще мой черновик, яблоко от яблони недалеко падает.

Ата казнил себя и защищал сына – я почувствовала это по едва уловимой, глубоко запрятанной интонации. Раньше я не замечала у ата такого голоса – должно быть, это давняя старая боль.

– Для него и своего характера и ума, собственной дурости хватит с избытком, – неторопливо завершил ата, постучал мундштуком по пепельнице, помолчал минуту. Затем грозно сверкнул глазами и сразу стал похож на самого себя. – Только я оправдываться и давать отчет никому не собираюсь, понятно?!

– Понятно, ата, – немедленно согласилась я.

– А если понятно, то нечего ходить с опущенными плечами и кислым видом. Мобилизуйся, соберись. Сейчас в этом доме ты являешься главнокомандующим и в твоей власти уморить трех Момышулы голодом.

Он уже шутил, но было видно, как непросто ему говорить об этом, за юмором скрывалось грустное содержание. Нет, мой ата не из тех людей, которые жалуются или безропотно подчиняются снохе или кому-то другому, пусть и более сильному, – он часто оказывался неподвластным даже самому себе. Он возвел в ранг главнокомандующего женщину, хранительницу очага, и этим дал понять всю важность моей роли, ответственность за семью. Это я прочувствовала всем сердцем. Мама часто говорила “Десять мужчин не наполнят дом так, как сделает это женщина”. Если нет в семье душевной близости

сти и родства, то все старания женщины держать дастархан открытым ничего не стоят. Ведь с кухонными делами может справиться любой. А в доме ата и кухней долгое время занимались чужие, случайные люди. Вот к какому выводу пришла я тогда. Теперь для меня стало еще важнее найти ключ к сердцам отца и сына. Даже если он проржавел, почернел от невзгод и времени, я бы постаралась, прогрела и вычистила его так, чтобы он лучился солнечно-чистым, искренним светом.

* * *

В тот день после обеда ата достаточно долго спал. О том, что он проснулся, я узнала по кашлю. Сейчас он закурит, а потом попросит чаю. В это время у меня уже все готово; я подхватываю белый заварник и несу в кабинет. Будничная моя обязанность в такие минуты превращается в торжественное, праздничное действие, это особая честь для меня. Я чувствую его молчаливую признательность за пустячную услугу. И я всякий раз благодарю судьбу за то, что ата принимает чай из моих рук, что мне дозволено слушать его неторопливую речь, глуховатый голос, видеть глаза, впитывать доброту его большого сердца. Но я тут же про себя пугаюсь сглаза, и не зря: то были, как я потом поняла, очень редкие и счастливые минуты.

Ата не был одним из тех чаехлебов, которые до изнеможения сидят у самовара. Он ограничивался обычно двумя-тремя пиалами чая – не больше. За короткое время успевают рождаться удивительные разговоры. А иногда я нарочно задаю вопросы, которые могут натолкнуть на беседу, потому что ата, как правило, дает необычное, оригинальное толкование самым обычным вещам и отвечает всегда подробно, добросовестно и полно, к тому еще и мое мнение не стесняется спрашивать. Следить за манерой рассказа, за модуляциями голоса, за мимикой лица, за скупыми, но выразительными жестами по-своему очень познавательное занятие. Особенно интересно наблюдать за атой, когда он в хорошем настроении. Если речь заходила о ком-либо из наших знакомых, он умел в точности воспроизвести голос того человека, обозначить самое характерное в нем: жесты, поворот головы, привычки, любимые словечки. В этом было много доброй иронии, но далеко не насмешки, импровизированные “портреты” ата помогали глубже понять этого человека, яснее представить себе весь его облик. Однажды разговор зашел о певцах, и ата высказался о них следующим образом:

– Из нынешних молодых исполнителей народных песен мне Кайрат очень нравится. Какой у него сильный и даже мощный голос! Вот это не примитивный крик, а мелодия, картина. Очень аккуратен со словом: не жует, как некоторые, не коверкает, главное – не портит народную песню бездумным “осовремениванием”, он – поет. Вот у него внятный, искренний музыкальный язык. А некоторые, особенно оперные, исполняют народную песню, а сами с дирижерской палочки глаз не сводят, каждому ее движению подчиняются. Скажем, поднимает дирижер палочку, и певец вытягивает из себя возможное “и-и-и-и!” – Тут ата поднял руку с длинным мундштуком и затянул так тонко и пронзительно, что я несказанно удивилась, неужели это его голос? – А если дирижер повел свою вырубалочку вниз, то и певец из всех сил тужится “А-а-а-а!”, – густо пробасил он.

Я не выдержала и громко рассмеялась: надо же так мастерски подражать повадкам известных певцов. Да и странно было видеть, как наш суровый, строгий ата пародировал артистов.

– Ты почему смеешься, дочка? – недоуменно спросил отец и, не дождавшись ответа, продолжил: – Не думай, пожалуйста, что я против высшего музыкального образования. Во всяком случае, слушая вокалистов, могу отличить московскую школу от ленинградской. Но академические каноны не всегда уместны при исполнении народных песен: ведь у них свои законы, свое мышление, которое может не подчиняться дирижерской дубинке. Здесь свои просторы, своя мера и свой вкус. Покойная Куляш была непревзойденной – ее пение действительно околдовывало. Умеет очаровать и красавица Бибигуль, люблю ее, признаться, за серебряное горлышко и золотое сердечко. Душу народной песни как никто понимал Курманбек, какие прекрасные образы создавал он, несмотря на хриплый голос. Когда Курманбек пел, я плакал. Правда. Не мог удержать слез.

Иногда во время беседы ата внезапно мог спросить, как я представляю себе Русланову в роли Чيو-Чию-Сан... Таких разговоров у нас было много, да жаль, что не все из них я успела записать, лишь некоторые смутно всплывают в памяти...

– Балашка, как у тебя с чаем? – прервал мои раздумья ата. Чувствовалось, что он хорошо отдохнул и проснулся бодрым и радостным. Как я об

этом узнаю? Да очень просто, по обращению. Когда у ата прекрасное настроение, он называет меня “балашкой”, когда оно просто хорошее, говорит “дочка”, если недоволен, то зовет просто и грозно – “Зейнеп”, а в ярости я ни больше ни меньше, как “турчанка!”

Я приготовила чай, поставила на поднос сахарницу, блюдо с баурсаками и понесла в кабинет. Он стоял посередине, утираясь полотенцем. Пепельница на журнальном столике была полна окурков, я наклонилась было к столику, чтобы забрать ее, как взгляд мой нечаянно упал на раскрытую тетрадь: на ней крупной арабской вязью были выведены три строки. Но читать написанное я не стала. Вытряхнула окурки, вымыла пепельницу, вернулась, а тетрадь все там же, на столике. Рядом – вазочка с конфетами, чашка со сливками, блюдце с медом. Надо, думаю, расставить все это по порядку, и чуть отодвинула тетрадь к краю. При этом мой взгляд снова невольно задержался на записи, и я не выдержала, прочла: “Не смотри на острие копья, а следи за рукой, которая держит его”.

– Гляди мне прямо в глаза! – неожиданно раздался командирский строгий голос ата.

Я медленно подняла на него свои виноватые глаза. И выглядела в ту минуту, вероятно, как кролик перед удавом.

– Говори правду. Ты умеешь читать арабскую вязь, – ата не спрашивал, скорее – утверждал.

– Д-да, – заикаясь и дрожа, призналась я. Ничего другого мне не оставалось.

– Ну, я пропал! – хлопнул он себя по лбу. – Вот уж, воистину, не знаешь, где споткнешься, – покачал он головой с видом человека, крайне удрученно-го сложившимися обстоятельствами. Я, честно говоря, не поняла, что он имеет в виду.

– В университете учили...

– Эх, дочка, – печально вздохнул ата. – Я же этим шрифтом секреты свои записывал, вроде как шифровал, а что теперь делать прикажешь?

Я поняла, что он шутит, и приободрилась.

– Ататай, но я же без вашего разрешения ни в одну бумажку не заглядываю, я уже научилась ничего не трогать, – стала оправдываться я.

– А чьи глаза только что, с позволения сказать, пялились в тетрадь?

Мои? Одно движение бровей выдает твое любопытство. Влезла же без разрешения в мои записи, — рассмеялся он.

— Но ведь оно само так и лезет в глаза, вот я и прочла. Невольно, — смущенно добавила я, однако сказанное было правдой.

— Дочка, если все это серьезно, то я очень доволен, что ты знаешь арабское письмо, в наше беспмятное время это — немалое достоинство. Очень многое в моих бумагах написано именно арабским шрифтом. В детстве, мальчишкой, меня начинали учить грамоте по-арабски, с тех пор рука легче пишет вязь, нежели современное письмо. Меня очень тревожило то обстоятельство, что Бахытжан не знает арабского языка, и поэтому многое в моих рукописях, именно то, что сказал бы как завещание, останется для него закрытым. Теперь я спокоен за будущее, потому что есть ты.

Не зря в степи говорят: “Кто скажет не подумав, умрет не болея”. Так и я — кто меня за язык дергал! — ляпнула без всякой задней мысли:

— О каком будущем вы говорите?

— Когда умру, — спокойно посмотрел он на меня.

Я до крови прикусила губу, сердце мое сжалось в крохотный ледяной комок, а щеки горели.

— Не говорите так, ата! Не надо, не говорите так больше! Я не могу... я не хотела это спрашивать... — вырвалось у меня в отчаянии.

— Э-э, доченька моя, чего же ты так пугаешься? Смерти? Смерти не должно бояться тому, кто прожил жизнь достойно. Если бояться — разве стоит жить? Кто думает о смерти с ужасом, тот не знает жизни. А я, потвоему, шайтан, что ли, чтобы жить вечно? Ну иногда, верно, на дьявола бываю похож, но тем не менее умру, как все, не испарюсь, — ласково и насмешливо подытожил ата. Я всей душой желала, чтобы этот тяжелый разговор завершился. Но дальше — больше.

— Когда я умру, — как ни в чем не бывало продолжал ата, — все вы станете плакать: кто искренне, кто крокодильими слезами. Как обычно на похоронах — разные бывают у людей слезы. На войне кровью плачут, и в гражданской жизни не водой, известно. Но я видел много иных слез и всегда поражался их разнообразию. Есть слезы теплые, как весенний дождь, есть злые, как остроконечные градины, есть слезы страха, есть облегчающие душу и есть такие, что оставляют на щеках не светлые дорожки —

раны. Смерть обнажает лицемерие. На моих похоронах, знаю, не перебивай, – протестующе поднял он руку, едва я открыла рот, – тоже будет много фальши. Но будет и искреннее горе. Жаль, ничего этого уже не увижу и не услышу. Так вот, я хотел бы сейчас, при жизни, знать, как ты, дочка, будешь меня оплакивать. Ну, слушаю.

О аллах, такого я еще не испытывала в жизни! Кажется, земля покачнулась у меня под ногами. Видать, только сейчас и начинается самое “интересное”.

К тому времени я достаточно успела привыкнуть к причудам ата, лучше узнала его характер и все реже бегала плакать в ванную комнату. Я научилась быть более терпимой, скрывать боль, держаться свободнее, открыто выражать свои мысли, делиться с ата своими чувствами и сомнениями. Но сейчас я испугалась. Какой дать ответ, да и какой может быть тут ответ: ведь он просил, чтобы я исполнила древний плач по нему, живому. Как так можно? Я пребывала в крайнем смятении, теряясь в догадках о том, каким образом выйти из этого досадного и весьма щекотливого положения. В минуты опасности, когда душа зажата в тиски, у меня срабатывает одно неприятное свойство – покрываться испариной. Вот и сейчас кончик носа покрылся мелкой росой. Я робко посмотрела на ата и увидела в его глазах лукавый вопрос: дескать, посмотрим, как сумеешь выскользнуть из западни. И тут меня осенило. Мама в детстве часто рассказывала мне разные интересные истории из жизни степи, и я решила: будь что будет.

– Ата, – смело начала я, – в давние времена сноха знаменитого степного судьи, бия Шегена, так оплакивала смерть своего свекра:

Сокол в небе пролетит.
Крылья сокол распрямит.
Пусть аллахова сноха
Станет плакать так, как я.

Недаром один измученный человек сказал: “Избавь меня бог от этой болезни, а от другой я сам убегу”. Так и я. А что мне оставалось делать?

Но зато ата, услышав мой ответ, принялся хохотать на весь дом. Давно я не слышала от него такого искреннего смеха. На этот раз вывезло – я избежала

поражения. И тогда я тоже рассмеялась, хотя внутри все еще что-то холодило.

– Ну, балашка, а я, признаться, надеялся, что крепко тебя в сети запутал, думал, потрепыхаешься. Но ты мастерски использовала тактику ближнего боя и сумела-таки вырваться из окружения. Ну-ка, повтори мне эту байку.

Я исполнила заплачку еще раз.

Годы спустя, после смерти ата, я обнаружила в его бумагах запись той заплачки и его комментарий: “Рассказано моей невесткой Зейнеп 13/XI – 73 года. Заплачка снохи бия Шегена”. Я долго просидела перед этим листом бумаги. Молчала. Думала.

Такова история одной записи моего незабвенного ата.

* * *

Столица готовилась к встрече и проведению V конференции писателей стран Азии и Африки. Алма-Ата бурлила в преддверии большого международного форума. В те дни республиканские газеты, радио, телевидение были озабочены освещением связанных с этим событием новостей. Город запестрел красочными плакатами, разного рода приветствиями и призывами.

К нам бесконечно звонили: требовали ата – его непременно хотели включить в состав разных комиссий, встречающих гостей. А ата уехал в Семипалатинск по своим делам. “Успеет вернуться к конференции или нет?” – забеспокоились мы и в срочном порядке связались с Семипалатинском, хоть и не хотелось его лишний раз тревожить. Но ата, оказалось, уже уехал в Джамбул, а там обязательно заедет в родные Джувалы, навестит своих земляков и родственников – те же его обязательно задержат. Пока мы волновались и вычисляли, через сколько приблизительно дней Джувалы отпустят нашего ата, он неожиданно приехал. Усталый, чуть осунувшийся и почему-то пасмурный: да ведь дорога всякого утомит. До конференции еще оставалась целая неделя, и ата имел возможность прийти в себя, собраться с мыслями, отдохнуть.

Бахытжан, разумеется, не мог принять участия в конференции – ему запретили пока расставаться с костылями, последняя операция была тяжелой, мучительной. К тому же он впал отчего-то в меланхолическое, созерцательное настроение, взял в привычку подолгу, грустно смотреть в окно. Часто беседовал с отцом о предстоящем событии и не уставал просить о том, чтобы ата хорошенько запоминал подробности прохождения встреч, внимательно на-

блюдал за всем, что происходит вокруг: ведь телевизор – это одно, а живой рассказ – совсем другое. Ата согласно кивал головой и только смотрел при этом на сына чуточку пристально и насмешливо.

Я тоже по-своему готовилась к конференции: подбирала для ата праздничную одежду и старалась оберегать его от особенно ненужных сейчас, вредных треволнений. Кстати, об одежде. Апапа говорила, что раньше ата очень пристрастно относился к своему внешнему виду: на нем блестело все, вплоть до пуговиц. Он был видный, что называется, интересный мужчина, любил красиво, строго одеваться и умел не выглядеть при этом щеголем, франтом. Но с годами неизвестно почему он все меньше внимания обращал на свою внешность: чисто, и ладно. А так хотелось видеть на нем новые нарядные рубашки, костюм! Оказалось, ата трудно заставить поменять что-либо из одежды по своему вкусу и усмотрению. Никакие уговоры не действуют. Один раз даже, когда меня не было дома, ушел в какую-то достаточно авторитетную организацию в своем домашнем наряде – удобной, но изрядно поношенной паре. А на мои “почему” махнул рукой: “Не тряпка меня носит, а я тряпку, так что какую хочу, такую надеваю. Если кто меня в старой одежке узнать не может – тот пусть не узнает: для меня же лучше”.

Что тут скажешь... Но я не сдавалась и при любом удобном случае настойчиво вела “агитацию” за его внешний вид. И однажды сказала, чуть не плача:

– Ата, вам любая одежда к лицу, вы можете носить что угодно. Но люди не вас – меня осудят: какая, скажут, у этого человека неряшливая невестка, за родным свекром не смотрит.

Тут он сурово сдвинул брови, пристально посмотрел мне прямо в глаза, но промолчал. С тех пор, пусть не всегда, сначала в редких, исключительных случаях, но все-таки стал носить приготовленные мной рубашки, костюмы, а то и пуловеры. Единственное, с чем не мог расстаться ата, – длинная черная крепдешиновая лента, которую он повязывал вокруг шеи свободным бантом. Обыкновенный галстук, какой все люди носят, я видела на нем один раз за все время, как пришла невесткой в этот дом: в 1974 году, когда меняли партийные билеты, ата нужно было сняться на карточку. Вообще же, куда бы он ни шёл: в театр, в гости – нигде не расставался с этим черным лоскутком. Зато не было человека, которому бы так шло столь нетрадицион-

ное украшение и который вместе с тем не выглядел чужаком или позером. Легко представить, как чужеродно выглядел бы этот бант на любой другой шее.

И то сказать: ведь это был необычный бант. Скроенный по косой, он суживался по обоим концам и плавно округлился в серединке. В первые же дни нашего проживания под одной крышей ата лично научил меня его завязывать – это оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд: очень уж красиво, свободно покоился он на груди у ата. И с тех пор ата полностью доверил мне это ответственное занятие.

Я очень гордилась этим, прикладывала все свое старание и, надо сказать, достаточно здесь преуспела. В первый же раз, когда я самостоятельно повязала бант, ата воскликнул удивленно-радостно: “О, да он у тебя рекою льется!” А я обрадовалась, будто орден получила: ата похвалил меня первый раз за все время.

Но так уж странно устроен человек: стоит ему сделать несколько уверенных шагов к вершине, как он забывает об осторожности, не смотрит уже под ноги – только вверх, и поскальзывается. Вот и я не заметила, как кубарем катилась вниз. Очнулась сразу у подножия горы, на которую вознеслась, будучи под впечатлением от похвал ата.

До знаменательной даты оставалось два дня. У меня, по-видимому, сильно чесались руки, и я решила постирать бант. А постирав – не узнала. Это был уже не бант, а решето. Какое-то время я молча созерцала содеянное, не сознавая всего ужаса своего положения. Потом у меня перехватило дыхание и мелко задрожали руки-ноги. Да, это, пожалуй, похуже тогдашней истории с бумагами. Много хуже – ведь это не просто кусок материи. У него своя история, и он был дорог ата как память о друге. Один из замечательных скульпторов двадцатого века Евгений Викторович Вучетич крепко дружил с нашим ата. Не зря говорят: “Гора гору видит”. Они были очень близки друг другу, понимали друг друга с полуслова, между этими двумя незаурядными людьми было редкое родство душ. Е. В. Вучетич при жизни не испытывал недостатка в славе, он обладал многими высокими наградами и оставил после себя выдающиеся работы, которые запечатали его имя на века. Вряд ли найдется у нас в стране человек, не знакомый со скульптурным ансамблем на Мамаевом кургане и с всемирно известной скульптурой воина-освободителя с немецкой девочкой на руках.

В Алма-Ате, в парке, среди цветов стоит памятник Ленину. Это тоже творение рук крупного мастера и большого человека Евгения Викторовича Вучетича. Он создал скульптурные портреты многих прославленных полководцев, знаменитых казахов, первый из которых – наш ата. Этот портрет находится сейчас в областном музее города Джамбула. При всей значительности своей фигуры он был, по словам ата, “наивным и чистым, как ребенок”, совершенно не умел лукавить, хитрить.

Осенью 1963 года ата собрался ехать на Кубу и взял с собой Бахытжана, с тем чтобы оставить его в Доме творчества в Голицыно под Москвой до своего возвращения с острова. В Москве он познакомил сына со своими друзьями. Григорий Львович Рошаль, народный артист СССР, его супруга Вера Павловна Строева – она помогала ата делать первые самостоятельные шаги в литературе (ей, кстати, он и посвятил свою первую книгу “Наша семья”), ата с Бахытжаном – все вместе они провели незабываемые вечера в гостях у Евгения Викторовича. Бахытжан вспоминает, что за короткое время он искренне привязался к Вучетичу. Да и трудно было его не полюбить: удивительно открытый, добрый. Они ходили по театрам и музеям, Вучетич много и интересно рассказывал – об истории и человеке.

В тот вечер они сидели за чаем и вели оживленную беседу. И вдруг хозяин дома вскочил с места, протянул руку к ата, в какое-то мгновение сорвал с него галстук, отбросил его в сторону, а сам, не обращая внимания на изумленных гостей, торопливо ушел в другую комнату. Ата, естественно, растерялся. Как ему реагировать на столь необычную, не свойственную другу выходку, не знает: то на Бахытжана смотрит, то на дверь соседней комнаты, где Вучетич скрылся. Такого с ним еще в жизни не было: не то что близкий друг – никто вообще никогда не смел позволить себе по отношению к ата подобной дерзости.

Но тут в дверях появляется донельзя радостный Вучетич. Ата в два прыжка оказывается рядом и, не решаясь пока что-либо предпринять, вопросительно-растерянно смотрит на друга. А тот с глубоким удовлетворением в голосе произносит:

– Галстук носит каждый второй, а потому он тебе не к лицу, нет. Батыра из батыров, храбрейшего из храбрейших, ближайшего из ближайших моего друга должно украсить вот это, – он ловко, как фокусник, вынул неиз-

вестно откуда черную струящуюся ленту и повязал ее на шею ата. Ата продолжал удивленно молчать.

– Мой бедный добрый казах! – обнял его Вучетич. – Признайся, ведь минуту назад ты готов был меня живьем зажевать да выплюнуть – верно?

Тут ата громко расхохотался, и все его недоумение как рукой сняло.

Эту историю впервые я услышала от Бахытжана, а позднее – несколько раз – от самого ата.

Ата преклонялся перед другом, многие годы бережно хранил его подарок, доверял его мне – и вот что я с ним натворила. Обречено держу его в руках – и так верчу, и этак – нет, ничего тут заштопать уже невозможно. Но надо было что-то придумывать, и побыстрее. Пострадавший бант я спрятала от чужих глаз подальше и решила подобрать подходящую материю и сшить из нее новый. А что мне еще оставалось делать?..

Давно, оказывается, я не была в “Тканях”: черный крепдешин найти – все равно что птичье молоко. Весь город на такси исколесила, и везде ответ один – нет.

Пробовала даже продавщиц слезно уговаривать, не вышло. К тому же нельзя мне было целыми днями пропадать в магазинах, дома ведь женские руки постоянно нужны. Пришлось обратиться к Бибинур-апа. Поплакалась ей в жилетку, апа и говорит: “Иди домой, там тебя уж потеряли, наверное, а я поищу, не беспокойся”. Но и апа в тот день ничего не нашла – в семидесятые годы с крепдешинком было туго. Только на второй день к вечеру на дне сундука она с трудом отыскала кусочек нужной материи. Но сшитый ею бант по форме совсем не походил на прежний, и надежда на то, что мой замысел останется тайной, окончательно погасла. Тем не менее я внутренне мобилизовалась и приготовилась к встрече очередного выпавшего на мою долю испытания.

Сегодня мы всей семьей встали пораньше. Бахытжан спозаранку начал опять приставать к отцу с бесконечными напоминаниями: “Хорошенько запоминай, внимательно смотри, все фиксируй”. На что ата, смеясь, отмахивался:

– Ну какой же ты зануда!

Тот день ата начал ясно, весело. Он много шутил, рассказывал забавные случаи, но мне было не до смеха. “Скоро, – мстительно думала я о себе, – ты

получишь свою порцию “радости”: ата так ждал этого форума и теперь уйдет на конференцию с испорченным настроением”. Понятно, за завтраком кусок мне не лез в горло.

Ата поблагодарил и ушел к себе одеваться. Я с вечера разложила на стульях выходную одежду и только новый бант не спешила показывать. Накануне поделилась своим смятением с Бахытжаном – мол, посоветуй, что теперь делать.

– Но ведь десять лет прошло. Тряпка все-таки, – сказал он, показалось, не совсем уверенно. – За десять лет не то что какая-то лента – человек изнашивается. Ты что, думаешь, отец этого не понимает? Не бойся, – успокаивал он меня.

Так-то оно так, но... Сердце мое трусливо скатилось в пятки, когда ата спросил из своей комнаты:

– Дочка, а где бант?

– Пожалуйста, очень прошу, пойдем со мной, – взмолилась я.

Толку в этой ситуации от Бахытжана никакого, но вместе все же не так боязно. Он посмотрел на меня удивленно, усмехнулся, но упрямыться не стал. Только вздохнул.

– Ата, я новый бант сшила, к новому костюму очень хорошо будет, – преувеличенно бодро сказала я и собралась было уже повязывать, как ата дернул головой и твердо отстранил мою руку.

– Мой принеси, – холодно сказал он.

Что тут еще придумаешь – я вынула из кармана халата изрепеченный бант и, боясь натолкнуться на его взгляд, низко опустила голову. В обоюдном молчании прошла минута, другая.

– Завязывай! – коротко приказал ата.

Как же он с рваным бантом на шее на глаза сотен людей и наций покажется? Я обречено протянула руки, чтобы завязать старый бант.

– Новый, – вдруг последовал еще один приказ.

Как я обрадовалась! Никогда еще я не повязывала бант так скоро. Тут же на радостях выложила, как у меня с его бантом нечаянно вышло. Ата улыбнулся, Бахытжан в дверях понимающе и как-то сочувственно наблюдал, как я вне себя от счастья суетливо ношусь по комнате и болтаю без умолку.

– Женин бант, – с ударением на первом слове сказал ата, – заверни в

чистое полотенце и спрячь мне в стол. А за это,— показал он себе на грудь,— тебе спасибо.

Я проводила ата до ожидавшей внизу машины и долго еще смотрела вслед. На небе ни облачка, первые осенние дни были прогреты солнцем. Природа будто вместе со мной наслаждалась тишиной и покоем.

У меня внутри звучала тихая мелодия. И что это я так переполошилась? Стоило столько волноваться. Но, с другой стороны, как не волноваться: ведь этот бант — одна из немногих дорогих сердцу ата вещей.

* * *

Судьба подчас бывает жестокой. Только согреет человека — и снова бросает его в ненастье. Пятая международная конференция писателей стран Азии и Африки прибавила ата много жизни. Во время конференции он был бодр и весел как никогда, но сразу же после ее окончания слег.

И снова солнце стало тусклым. Ата почти не вставал с постели. Его мучили открывшиеся старые раны на ногах. Стоило ему немного походить, как они начинали кровоточить. В больницу лечь ата отказался наотрез — сказал, что ему до смерти надоела госпитальная койка.

По советам и назначениям врачей я дома старалась делать все, что положено. Ухаживала за ним, но к обработке ран и к перевязкам он меня не допускал. И вообще никому не разрешал помогать себе во время этих процедур: все делал сам несмотря на то, что ему было трудно спускать ноги с кровати, нагибаться и мыть раны ослабевшими руками. Я видела, что руки перестают его слушаться, бросалась на помощь, но он всегда досадливо отмахивался от меня и прогонял прочь. В первое время это обижало — казалось, ата мне не доверяет, и я искренне страдала.

Поделилась своими сомнениями с Бахытжаном. Но он покачал головой:

— Ты не права. Во взгляде твоём, в каждом движении отец видит жалость к себе, а это его оскорбляет. Папа не такой человек, чтобы терпеть чье-то сочувствие. Сама природа его протестует против бессилия. Так уж он создан. Постарайся это понять.

С тех пор я уже не пыталась навязывать ему свою помощь, а когда подходило время процедур, готовила перевязочные материалы, приносила таз с теплой водой, марганцовку и мази. Сама же стояла рядом, делая вид, что

ничего не замечаю, не вижу его нечеловеческих усилий. Наоборот, болтала всякий вздор, чтобы только отвлечь его от мрачных мыслей. Совсем уйти никак было нельзя. Я все время боялась, что он может упасть. Кроме того, нужно было поливать ему на руки, подавать вовремя все, что требовалось. Возможно, ата замечал все и понимал все эти мои наивные уловки и хитрости, но молчал. Зато именно в эти дни мы стали как-то особенно близки душами, и я, наконец, научилась держаться с ним вполне непринужденно и свободно, не допуская, конечно, ни тени развязности или дерзости.

Ата не отпускала постель, и это обстоятельство породило для меня новые хлопоты и неудобства. Но далеко не они меня мучили.

Еду я приносила ему в кабинет, а мы сами ели отдельно, на кухне или в столовой.

Я, признаться, не люблю, когда люди живут под одной крышей, а питаются отдельно, словно чужие. Это очень плохо. Кусок в горле застревает.

– Папа, ты помнишь притчу о том, как муж и жена кормили старого отца отдельно, за перегородкой? – сказал как-то Бахытжан. – А однажды их малыш стал что-то выстукивать из щепочки. Когда же родители спросили, чем он занят, сын ответил: “Я мастерю ложку. Когда вы станете старенькими, я буду вас кормить отдельно – как вы дедушку”.

Отец громко захохотал.

– К чему ты, плут, вспомнил эту притчу?

– Испугался, что Ержан нас в старости на балконе кормить будет. Если серьезно, то я, конечно, далек от мысли называть тебя стариком. Но давай лучше будем обедать за одним столом, вместе. Освободим журнальный столик и все уместится, верно?

– Не такая уж у нас большая семья, чтобы не уместиться, – охотно согласился отец. Видно было, что он с трудом скрывает радость. – Это ты правильно придумал, сынок.

Моему счастью не было границ...

С того дня мы вместе обедали и ужинали. За низеньким столом наши головы чуть не соприкасались, было тесно, но весело, и Ержан часто потешал нас своими высказываниями:

– Ата, ты ешь лежа, – а почему из тебя суп не выливается?

Каждая минута рядом с ата была для нас бесценна. Теперь мы все чаще стали собираться у его постели.

Вставать ему было нельзя, но – вот беда! – не мог ата ничего не делать, его руки постоянно искали хоть какую-то работу. Напряженная работа, я знала, шла у него в голове. И все же человеку, привыкшему много писать, умеющему чертить, рисовать, было невыносимо лежать и в бездействии созерцать потолок. Он много читал, но глаза быстро утомлялись. Писать что-то лежа было неудобно. Он ни на что не жаловался, но смотреть на то, как мучается бездействием сильный умный человек, было тяжело. Надо что-то придумать, надо срочно найти выход из этого положения.

Когда Бахытжан восемь месяцев лежал в гипсе, я попросила своего младшего брата Камала, инженера мебельной фабрики, сделать для Бахытжана специальный столик шириной всего в полметра. Его можно было укреплять на кровати так, что плоскость стола приходилась на уровне груди больного. Таким образом, стол напоминал обычную ученическую парту. Почти всю свою первую книгу Бахытжан написал “за партой”. Если подложить под спину подушку, работать было еще удобней. Когда нужда в столике отпадала, его можно было не убирать, а просто передвинуть к ногам.

Потом, когда муж стал вставать и приспособился как-то сидеть за машинкой, необходимость в столике отпала. Я велела Камалу подровнять ножки и использовала стол по своим хозяйственным нуждам. Теперь я снова вспомнила о нем. Почему бы не сделать подобное приспособление для отца?

Сказано – сделано. Пришел Камал (ата с первой встречи дал ему титул “паши”), и я попросила его срочно выполнить мой новый заказ. Скоро такой стол был готов. Но у Бахытжана стол был простой, из некрашеного дерева, а для ата Камал сделал лакированный. Удобный, легкий и даже более широкий. Мы с братом торжественно внесли стол в кабинет.

– Это что? – удивленно поднял брови ата.

Мы молча укрепили столик на кровати и, сияя от удовольствия, встали рядом.

– Ох! – воскликнул ата. – Камал-паша! Пусть вечно бьется твое доброе сердце, сынок!

Камал расцвел.

– Вам удобно? А то я могу и переделать, – не удержавшись, похвастался он.

– Только попробуй отнять! – пригрозил ата, опасливо ухватившись за края столика.

После ата внимательно рассматривал ножки, любовно гладил блестящую поверхность, примерялся, пробовал писать, – словом, радовался, как ребенок.

Да, наш суровый ата мог радоваться пустяку, как дитя. Он был счастлив, получив в подарок вещь, которая давала возможность работать. Ата в жизни никогда ничего не копил. Больших денег, драгоценностей, дорогой рухляди у него не было – все свое богатство он видел в бумагах. Иной достаток его не прельщал. Он был равнодушен к золоту и к тряпкам. Люди любили его и часто по-своему выражали свое отношение: дарили множество роскошных вещей, которые он тут же легко раздаривал окружающим, молодухам, готовившим угощение и обслуживавшим большой дастархан, старухам, хлопотавшим у очага, детям. Когда подарков не хватало, он приказывал жене снять серьги или перстень с пальца и отдать простой колхознице, разливавшей гостям чай.

Если собрать всех коней, которых дарили ата, то получился бы большой табун горячих, породистых скакунов. Табун ата рассыпан по всему Казахстану. Он всегда оставлял дареного жеребца в том хозяйстве, которое оказывало ему честь. Ата говорил обычно: “Спасибо за честь! Пусть лошадь считается моей, но остается у вас и работает на людей”. И во многих краях, на байге, на юге или востоке республики люди кричали: “Бауржан!” – позабыв свои традиционные родовые кличи. Какое богатство может сравниться с этим?

Многие носят чапаны и халаты с его плеча, а самому в жизни было достаточно одного костюма и одной рубашки. Напрасно иные, увидев скромную обстановку нашего дома, говорят, что у знаменитого прославленного батыра ничего нет. Это неправда. Весь Казахстан он считал своим домом, весь Союз – своей родиной, всех людей, хороших, чистых и честных, – своей семьей.

Наш ата был богатым человеком. Он был богат знаниями и умом, широкой души и щедростью сердца, высотой чувств и помыслов, сокровищами мудрости народа. Каждое его слово принадлежало народу, Отечеству. Он был воистину богатым человеком.

А в обыденной жизни он оставался непрактичным, беспомощным, потому что даже не знал толком, сколько стоит булка хлеба и пачка чая. И если случалось ему заглянуть в магазин, он накупал множество ненужных вещей.

– Ну, Камал-паша, угодил ты мне своим подарком. Я, сынок, сегодня как раз достиг возраста пророка Мухаммеда, – растроганно сказал ата.

24 декабря 1973 года нашему отцу исполнилось шестьдесят три года.

Радость немного омрачил сын. Надо же было Бахытжану лезть со своими репликами:

– Бауржан Момышулы работает лежа. Узнай об этом журналисты, они тут же сделали бы это еще одним твоим подвигом. А я вот годы провел в гипсе, и вряд ли мои соотечественники отметят это какой-нибудь премией.

– Убирайся вон! – крикнул отец.

Бахытжан в одно мгновение перестал улыбаться и торопливо застучал костылями к двери, но новый окрик остановил его:

– Подожди! Иди ко мне!

Бахытжан подошел к отцу, встал, тяжело опираясь на костыли. Ата помолчал и сказал:

– Выслушай меня! Если воин дерется не за родину, а за орден, он уже не патриот, не гражданин. Я знал писателей, трудившихся ради лауреатства. Это были лицемеры и в книгах, и в жизни. Фальшь пропитала каждую страницу их пачкотни. Если писатель работает без убеждений, не определив, какую баррикаду он занимает, на чьей стороне сражается, – грош цена его толстым томам, запомни. Мой сын! Неужели и ты стал лакеем? Ждешь чаевых? Неужели и ты научился вилять хвостом, как собака, ожидая, когда тебе бросят кость? Заслужил ли ты доброе отношение своего народа? Что ты дал родине до сих пор? Стал ли подвигом твой труд?

Бахытжан молчал, кусал губы.

– Прости меня, отец. Ты прав. Я глупо пошутил. Не думай, что я пишу ради дешевого тщеславия. Я не подчинил перо наживе. Никогда не думай, пожалуйста! Я не такой, поверь... Мне было очень трудно вынести пять смертей на столе у хирургов. Я еще ничего не отдал, и даже хлеб, который ем, не оправдал. Знаешь, отец, формально я имею законное право на получение пенсии от государства, но морального права я на это не имею, пока могу сидеть за машинкой...

– Тебе бывает очень больно, сынок?

– Да, часто. Но я не жалуясь, ты не думай. Сейчас мне хорошо, может быть, впервые за тридцать лет. Честное слово. Я рад, что теперь и ты сможешь работать в полную силу...

Вечером пришли поздравить ата с днем рождения Шерхан-ага с женой и

Мекемтас-ага с тетей Багирой. Их приход очень обрадовал нас всех. Я побежала накрывать дастархан, мы притащили в кабинет большой стол и весь вечер были вместе. Ата жадно расспрашивал младших братьев о новостях. Разговор велся то серьезный, то шуточный, часто слышался смех.

Когда гости ушли, ата что-то долго писал, и свет в его комнате горел до рассвета. Утром я зашла к нему и спросила его:

– Ата, вы не устали? Всю ночь ведь без сна провели.

– Я устал от безделья! А сегодня я работал, понимаешь? – весело отозвался он. – Вот сделал наброски кое-какие и план новой вещи, пока называл ее условно “Четыре кулья”, это о четверых представителях нашего рода. В какой форме все это будет написано, еще не знаю, но тебе разрешаю посмотреть начало, – и он протянул мне свою тетрадь.

Там было написано следующее: “1973 год, 24 декабря. 12.40 ночи. План: я, Шерхан, Мекемтас, Бахытжан. Четверо кулыев в Алма-Ате. Мы с Шерханом родились и выросли в Джувалах. Мекемтас родился и вырос в Тюлькубасе. Бахытжан коренной алмаатинец”. Дальше ата читать не разрешил.

Эту рукопись я взяла в руки во второй раз только через девять лет. Она так и не была завершена, оставшись обширным планом большой вещи. Сердце сжалось от боли. Сколько честных и умных слов умерло для нас! Сможет ли Бахытжан когда-нибудь воскресить и вернуть людям хотя бы часть того сокровища, которое завещал нам ата? Нельзя, чтобы пропало хоть одно-единственное его слово.

* * *

На следующее утро, 25 декабря, пришел академик Акай-ата Нусупбеков. Я увидела его в тот день впервые и, признаться, сразу была обезоружена широтой и обаянием этого человека. Высокий, седой, подтянутый, в глазах живой и даже по-молодому озорной блеск. Ата очень обрадовался старому фронтовому другу, их разговор, как всегда, начался с шуток.

– Что, товарищ полковник, окопались в единоличном окопе и носа не кажете? А это что за устройство такое? Никак стол? Делать тебе нечего, вот и выдумываешь всякую всячину.

– Я хоть и лежачий полковник, но полезный.

– Это как?

– Взять хотя бы одну книгу. “За нами Москва” – ее в седьмой раз переиздают. Тираж последнего издания – 200 тысяч по цене рубль двадцать. Считай дальше. Одну книгу в среднем читает пять человек: это уже миллион читателей. Миллион, думаю, патриотов. Хотя ты и академик, а такой аудитории тебе, наверное, и не снилось. Тут уж мечтай – не мечтай, завидуй – не завидуй, а ничего не поделаешь. Потому что ты чиновник, и очень убыточный чиновник. Много берешь и мало даешь.

– Понятно, Бауке, понятно, – засмеялся Акай-ата. – Я ведь, думаешь, сейчас зачем пришел? Чтобы взять на себя твои болезни. Уж брать так брать.

– Спасибо, Акай, родной.

– А это дитя, случаем, не супруга Бахыта? Ой, айналайын! – обрадовался почему-то ага.

– Ее зовут Зейнеп. Сама она турчанка, – спокойно представил меня ата.

– Что-то не похожа, – недоверчиво посмотрел на меня гость.

– На мою сватьяшку похожа, – довольно вставил ата. Я молча продолжала накрывать на стол. У ата бывает иногда желание заинтриговать человека.

– Япыр-ай! – вскричал эмоциональный Акай-ата, переводя поочередно взгляд с меня на своего друга.

И только тогда ата не спеша стал излагать гостю историю моей семьи и моего происхождения:

– Сватья моя – урожденная албанка из рода токан, что испокон веков селился в стороне Кегеня. Выходит, тебе она прямая сестра. В юные годы сватья любила молодого турка, одинокого джигита, жившего среди казахов. Девушка ухватила за полу его чекпenea и убежала, не убоявшись шестерых своих братьев. Они тем временем, подобно драконам, в ярости изрыгали огонь гнева и мести. Вот какая она была бесстрашная женщина. Видно, уже в ту пору отчаянной деве, юной жене молодого врача, было предсказано, что в будущем станет она родной клану Момышулы, и ее внук будет и моим внуком, – рассказывал ата, словно сам был свидетелем тех давних событий.

В разное время, как я уже говорила, в зависимости от настроения, у ата разные формы обращения ко мне. Иногда он представлял меня так: “Это мать моего внука”. Или: “Отец у нее турок, мать – казашка из албанов. Сама пошла ликом в родичей по материнской линии: черномазая и курносая”. Порой высказывался так: “Это солнце и луна одновременно, выбранная Бахытжаном на

небесном базаре”. Иногда коротко изрекал: “Правоверная супруга неверного сына”, или: “Зовут Зейнеп, сама гибрид”. Но как бы он меня ни называл, все было правдиво и уместно в его устах. В такие минуты сердце мое вздрагивало от волнующей радости. Более того, я была переполнена светом от того, что именно мне выпало редкое счастье быть невесткой человека, который зажегся ослепительной звездой на небосклоне казахского народа, стал его гордостью. И я не хваюсь, нет, но и гордости своей не скрываю. Пусть это моя слабость, вполне, кстати, человеческая.

Разливая чай, я невольно прислушивалась к их разговору. В связи с приближающимся восьмидесятилетием со дня рождения генерала Ивана Васильевича Панфилова Акаю-ата, как историку и воину-панфиловцу, было поручено представить в редакцию республиканской газеты план статей и других материалов. Вот он и решил посоветоваться со своим легендарным другом.

Отец, сурово сдвинув брови, задумался, потом сказал:

– Восьмидесятилетие Панфилова нельзя отмечать за стаканом чая. Популярный генерал и его 28 сынов – это символ настоящего, не книжного массового героизма и нерушимого воинского братства. Поэтому вопрос этот нужно обдумать как следует.

– Для этого я и пришел к тебе.

Ата снова замолчал на некоторое время.

– Это ни в коем случае не должно быть дежурным мероприятием, а то зарпортовались совсем. Какую подготовительную работу ведете к 30-летию Великой Победы?

– Официального постановления по этому вопросу еще не было...

– Сейчас для вас нет постановления, а потом не будет времени. Когда думаете все успеть?

– Ты прав. Но ведь идет последний год пятилетки, и еще мы заняты подготовкой к 20-летию освоения целины.

– И чем это, интересно, помешает хорошей подготовке к 30-летию Победы и юбилею Ивана Васильевича?

– Ну, чем... Отвлекать будет, не разорваться же.

– До юбилея Победы есть еще пятнадцать месяцев. Если давать хотя бы раз в неделю в газетах по сто строк материала под рубриками “Огненные годы”, “Имена героев”, “Память огненных лет”, публиковать в месяц по од-

ной горячей статье на военно-патриотическую тему, то разрываться на куски вам не придется, обещаю. Понимаешь, нужно суметь увязать все наши трудовые победы с победой над фашизмом. Нельзя забывать, надо рассказывать молодым, вот им, – показал ата на меня, – какой ценой завоеван мир, что благодаря невероятным усилиям нашего народа в войну стало возможным выращивать миллиардо-пудовые целинные караваны. Мне твоя позиция непонятна. Почему мы должны разделять свою историю на мир и войну? Разве не один и тот же народ победил врага и побеждает пустоши?

– Все, что ты говоришь, очень правильно. Но мы не можем заниматься самоуправством, ведь постановления еще нет...

Ата вдруг резко замахнулся на друга, будто собираясь ударить. Это был один из полушутливых приемов обращения со старыми друзьями.

– В свое время будут тебе указания, не бойся. Мы собираемся делать общепартийное, общенародное дело. Мы выполняем свой гражданский и человеческий долг, – отчетливо, с ударением произнес ата. – Разве для этого нужны инструкции? Неужели вы и шагу ступить не можете без специальных распоряжений? У директивных органов масса других забот, на их плечах, не на наших с тобой, – огромная республика. В большом деле нужно помогать, не дожидаясь циркуляров. Или ты не уверен, что действуешь правильно, по совести коммуниста? – Отец постучал мундштуком по пепельнице, как это делал всегда, когда был чем-то недоволен.

К моему великому сожалению, окончания разговора я не услышала. В другой комнате проснулся Ержан и стал звать меня, кричать на всю квартиру: “Мама, мама!”

– Иди к ребенку! – холодно велел ата.

Пока я одевала и умывала Момышулы третьего, Акай-ата собрался уходить.

– Ладно, Бауке, тогда жду от тебя известий, – сказал он, прощаясь.

Когда гость ушел, Ержан по своей привычке побежал в кабинет к деду и принялся увлеченно рассказывать ему свой очередной сон, в котором он летал, как птица или даже самолет. Настроение у ата было несколько подавленным, однако он терпеливо выслушал внука и серьезно подытожил:

– Очень хороший сон. А теперь я хочу тебе сказать одну вещь. Сейчас я буду работать, писать на бумаге. А ты никого ко мне, пока я не позову,

не пускай. Отец твой и мама могут послушаться, пробраться сюда и помешать мне, не подчинившись дисциплине. Так ты проследи, чтобы был порядок, ладно?

– Ладно, ата, я никого к тебе не пропущу, даже таракана! И сам тоже мешать не буду, – с готовностью отозвался малыш.

Ребенок есть ребенок. Если бы ему категорически запретили входить в кабинет, он мог бы обидеться, раскричаться, зареветь. А дед оказал ему доверие и, конечно, нашел самый верный путь к сердцу внука. Было удивительно, что мальчик, который обычно и полчаса не мог сидеть спокойно, бегал и кричал, получив “приказ” дедушки, стал тихо, как мышь, играть в своей комнате. И сам не шумел, и бдительно следил за нами. А когда зазвонил телефон, раньше всех успел к аппарату, зашипел в трубку: “Тише вы! Дедушка работает!” – и бросил ее на рычаг. Человек, звонивший нам, ничего не понял и тут же перезвонил. Я опередила Ержана и все ему объяснила.

Три дня ата ел и пил без всякого режима. Он торопливо глотал то, что я ему подавала, не отрываясь от бумаг. Его обескровленные пальцы немели, белели кончики пальцев, крепко сжимающие карандаш. К вечеру третьего дня он позвал меня:

- Балашка, зайди ко мне! Я бросилась в кабинет.
- Баха сейчас свободен? – спросил он.
- Свободен. Валяется на диване, читает журнал.
- Позови его.

Я не успела выйти, как он сам появился. Услышав наши голоса, понял, что отец закончил работу. И Ержан прибежал. Они толкались в дверях, препираясь, кто первый войдет в кабинет.

– Папа, вот этот твой щегленок нас просто измучил, пикнуть не давал. Нашел же ты себе верного стража! Чертенки! – И он легонько стукнул сына костяшками пальцев по макушке.

- Большой такой, а еще дерешься! – возмущенно закричал Ержан.

Ата засмеялся, но строго сказал:

– Вы Ержана не трогайте. Он выполнял очень важное поручение, почти боевое задание. Товарищ Момышулы Третий, я объявляю вам благодарность! – повернулся он к внуку.

- Ладно, – махнул рукой Ержан, как бы говоря: “Чего уж там, не впервой”.

– Когда объявляют благодарность, надо отвечать: “Служу Советскому Союзу!” – поправил его дед.

– Работаю в Советском Союзе! – отдавая честь, отчеканил внук. И добавил: – А чтобы служить, у меня шляпы нет.

Ата рассмеялся: он был очень доволен своим несмышленишом. Притянул ребенка к себе, с нежностью понюхал вихрастую голову.

– Баха, – обратился он к сыну – у тебя есть время? Перепечатай, пожалуйста, это, – протянул он рукопись.

– О чем речь, отец, – обрадованно сказал Бахытжан. – Конечно, отпечатаю сейчас же, не откладывая.

Ата и сам печатает на машинке, но не так быстро, как это делает сын. А Бахыт научился этому делу у своей мамы, апапы, она-то была в машинописи настоящим асом. К тому же ата лежал, а так много не напечатает.

Это были тезисы доклада, планы мероприятий и списки будущих статей, посвященных 30-летию Победы и 80-летию Панфилова. После перепечатки получилось сорок пять страниц. Ата отложил их на два дня, чтобы “остыли”, а после перечитал “свежим глазом”, внес кое-какие поправки.

Второго января за этими бумагами пришел Акай-ата. Он был очень тронут: уходя, он крепко прижимал к груди стопку бумаг, и на его лицо отчего-то было больно смотреть.

* * *

Когда я вошла, ата спал, полулежа на подложенных под поясницу высоких подушках. Боясь его разбудить ненароком, на цыпочках направилась к двери, но тут мне в спину ударил густой волной голос:

– Ты мне не мешаешь.

Я вздрогнула от неожиданности. Удивительный человек. Кажется, он и во сне умеет видеть все, что происходит наяву. Он подмечает те незначительные мелочи, которым мы, как правило, не придаем значения. От него ничего скрыть невозможно. Трудно не удивиться, когда однажды он вдруг посмотрит тебе в глаза и прямо выскажет все, что ты думаешь. Особенно трудно скрыть от него малейшие отклонения в настроении. Иногда он говорил о тебе такие вещи, о которых ты сам в тот момент не подозревал, и часто его слова оказывались пророческими. Это его свойство порой даже пугало. Однажды

за утренним чаем, когда я, как обычно, подала ему чашку, он внимательно посмотрел на меня и неожиданно сказал:

– Доченька, ты собираешься заболеть.

– Да нет, ата, я здорова, – искренне изумилась я. Никакого недомогания я не чувствовала, нигде ничего не болело – я даже бодрость ощущала во всем теле. Но к вечеру того же дня у меня вдруг затруднилось дыхание, начался сильный жар. До сих пор при воспоминании о том случае удивляюсь, как ата заранее распознал мой недуг...

– У тебя такой испуганный вид, словно у зайца, увидевшего волка. Подойди ближе, садись вот сюда, – он двинул подбородком, указав на кресло рядом.

И сейчас ата успел определить мое состояние – беспокойное и немного подавленное.

– Ничего со мной не случилось, – сказала я как ни в чем не бывало.

– Ничего, говоришь? А что тогда Бахыт мечется, места себе не находит?

– Понятия не имею.

– Может, у него что-то с работой не получается? Это, наверное, и мучает.

– Не видела, чтобы он что-то писал. Вчера зачем-то звонил профессору Ерзаковичу. О чем они говорили, я толком не разобрала, дела были на кухне. Словом, о музыке шла речь.

– Борису Григорьевичу Ерзаковичу? Нахал! Какое Бахытжан имеет отношение к музыке и что он в ней понимает, чтобы отнимать время у профессора?

– А сегодня звонил композитору Балдырган Байкадамовой, – добавила я со вздохом.

– Валюшиной дочери? (Тетя Валя – дочь генерала И. В. Панфилова).

– Он с ней тоже говорил о нотах, о народной музыке, а потом стал звонить Булату Каракулову.

– Сыну академика Ишанбая? Он что, тоже композитор? – удивился ата.

– Нет, исследователь музыки... Не знаю, что-то вокруг музыки затевается. Бахытжан журналами специальными обложился.

– С Булатом они, кажется, с детства дружат?

– Чаше спорят, – рассмеялась я. – Булат подарил нам автореферат: “Ладовые особенности казахского песенного мелоса”.

Отец рассмеялся и пожал плечами:

– Булат? Разве он стал специалистом по народной музыке?

– Он говорит, что музыкальный язык чище и одновременно консервативней разговорного, а это хорошо, чтобы понять душу народа.

– Ну-у, для этого нужно иметь одну с народом душу – покачал головой ата. – А почему музыка заинтересовала Бахытжана?

– Не знаю, загорелся вдруг. Вот и консультируется.

Тут к нам ворвался сам виновник разговора:

– Папа, извини. У тебя есть время?

– Садись.

– Зейнепка, останься, может, и ты тоже сможешь помочь.

Я молча села обратно в свое кресло.

– Даже не знаю, как начать, – замялся Бахытжан. – В общем, понимаете, у меня вдруг появилось предчувствие, что у казахов в древности были ноты.

– Ты сначала сядь, сынок, а потом рассказывай, – повторил ата. – Ну, что ты там еще придумал?

– Не придумал, а предложил. Только вы меня выслушайте внимательно, ладно?

Мы приготовились.

– Видишь ли, – нерешительно начал Бахытжан, – Борька сказал...

– Какой Борька?

– Булат, конечно, не Ерзакович же... Так вот, хронологически диапазон существования музыкального искусства очень велик. Об этом говорит хотя бы то, что на территории Казахстана и Средней Азии музыкальная культура корнями уходит в каменный век. Об этом свидетельствуют выбитые в камне изображения танцующих и музицирующих человечков. Но особенно много памятников материальной музыкальной культуры оставили Хорезм и Согдиана, Бактрия и Парфия. В основном это многочисленные изображения музыкальных инструментов тех времен, – завелся Бахытжан, как заправский лектор. Ему, видимо, льстило иметь ата в качестве слушателя.

– При чем же здесь ноты? – раздраженно зашевелился ата.

– Не спеши, – и солидно продолжил: – Это все знаки, забытые или дошедшие до нас. Корни их неизвестны. В сборниках Александра Затаевича с

достаточной полнотой отражена казахская музыкальная культура начала XX века. Но сам собиратель говорил о симфоническом начале наших кюев.

– Я вижу, ты подготовился, – усмехнулся ата. – Ишь как запел.

Бахытжан покраснел.

– Я подумал, может ли фольклор нести такую огромную нагрузку, как письменная музыкальная культура, которая может веками ждать исполнителя, не боясь искажений, неизбежных при заучивании и передаче ученикам? В Отраре была вторая в мире по богатству библиотека. Может, в ней хранились и ноты? Ведь каждый завоеватель стремился прежде всего уничтожить чужую веру и культуру, вырезая в первую голову носителей знаний. Тем более, образованных людей было мало. Это факт бесспорный. “Иссыкскому письму”, интереснейшей загадке эпиграфики Востока, приблизительно 2 300 лет. А если было письмо, то, возможно, были и ноты, которые просто забыты. Великие композиторы древности не могли не позаботиться о том, чтобы оставить свои творения потомкам в материальном виде, а это возможно только при наличии нот.

– Бездоказательный бред! – рассердился ата.

– Пусть бред, но это же интересно. Произведение, по каким-то причинам не получившее признания современников, дорого творцу – уверенному, что оно стоящее. Разве не станет он думать о том, чтобы его, в чистоте и первозданности, получили потомки? Ты же тоже не для себя пишешь.

– Это совсем другое дело. Я вооружен грамотой.

– А разве предки не были вооружены? Я не верю. В высококультурном Фарабе должны были быть ноты. Знаешь, что еще натолкнуло меня на эту мысль? Комитас расшифровал древние ноты армянского народа, но с его смертью ключ к ним снова потерян, и теперь ученые Армении заняты новым исследованием этой проблемы. Недавно в журнале “Знание – Сила” мне попала на глаза заметка “Музыке – 3700 лет”. В ней говорилось, что после пятнадцати лет упорной работы в университете Беркли американские ученые прочитали финикийскую таблицу содержащую своеобразные ноты. Один из профессоров исполнил расшифрованную мелодию на копии шумерийской лиры. Корреспондент “Таймс” пишет, что это напомнило ему нежную колыбельную песню. О том, чтобы придать матери-

альность звукам, не могли не думать образованные люди древности. Чтобы уберечь их от врага и сохранить для народа, ноты могли закодировать хотя бы в узорах национального орнамента.

– В этом есть смысл, – теперь согласился ата. – В детстве, помню, к нам приехал гость. Бабушка перед этим кончила ткать баскур – ленточный ковер, который опоясывает жилье изнутри. Конак сразу обратил внимание на этот ковер, беспокойно повертел головой и вдруг запел, не сводя взгляда с узоров. И допел до конечных семи поперечных оранжевых полос. А потом сказал: “Хороший баскур, звонкий!”

– В самом деле? – недоверчиво посмотрел на отца Бахытжан.

– Я хорошо помню, – нахмурился ата, – четкая симметрия, не случайные цвета – восходящие и нисходящие тона, как будто звучит музыка. Ты не музыковед и еще далеко не писатель, а замахнулся на целую концепцию. Так смел бывает невежда. Ты, я вижу, обращался к каким-то источникам, чтобы подтвердить свою фантазию, потому надергал отовсюду всего понемногу. Мне, сынок, неясна твоя позиция. Если это нужно тебе только для того, чтобы чванливо заявить миру о своем “открытии”, тут я тебе не попутчик. История о баскуре, кстати, не нуждается в том, чтобы ты обогащал ее ложной выдумкой. Об общечеловеческой культурной сокровищнице ты не думаешь, ты хочешь сказать всего лишь, что и мы-де, казахи, тоже не лыком шиты. Как будто без тебя об этом не знают. На лыко хочешь липу ободрать? Так, выходит? Из-за глупой позиции у тебя и цель измельчала. Самый дурной патриот – это кумысный, запомни. Писать об этом будешь, что ли?

– Да вот, подумываю...

– Засомневался? – уточнил ата. – И правильно. Сначала думай, для чего это нужно и что оно даст. Потом подумай, хорошо ли знаешь предмет. Ты же у меня не историк и не музыковед. Как же намереваешься осуществить свой замысел? Ведь это даже еще не гипотеза.

– Не знаю, – уныло протянул Бахытжан.

– У тебя пока есть только куча информации, и ее надо за уши притянуть к твоей догадке. Так? А я снайпер, уважаю точность и держусь правил: “Не вижу – не стреляю”, “Не знаю – не пишу”. Твои пули часто летят мимо цели, потому что ты еще не созрел как гражданин. Да-да, не спорь, – остановил он открывшего было рот сына. – Потому и на литературу ты

смотришь как на игру занимательную, сложную, но игру. Ответственности за слово у тебя пока кот наплакал. Искусство – оружие, а им не балуются. Вот займешь верный окоп, тогда и приступай к писанию... пусть даже про эти мифические ноты.

– Ну-у, папа, я эту идею месяц вынашивал, а ты за минуту все перечеркнул, – обиделся Бахытжан.

– Подожди, сынок. Ты не хочешь правильно понять одну простую...

– Что делать, раз я такой невоспитанный.

– Не препирайся с отцом, а выслушай. Твоя идея не имеет корней в земле, она искусственна, понимаешь?

– Понимаю. Прямо как из газетной рецензии, – ехидно заметил новоиспеченный оппонент.

– Тыфу, ты будешь слушать, наконец, или не будешь? – не выдержав, закричал ата. Всякий бы на его месте не выдержал. Вот и я, изловчившись, незаметно, но больно щипаю супруга за бок: не нарывайся, мол.

– Прости, папа, – вовремя спохватился Бахытжан. Но ата махнул рукой:

– Я все сказал, – и повернулся ко мне. – Зейнеп, а у тебя что глаза разгорелись? Тоже хочешь авторитетно высказаться?

– Нет, ата, просто мне нравится все это про музыку и узоры. Когда вы рассказывали о госте, пропевшем узоры баскура, я вспомнила про одну старушку, нашу близкую родственницу, которая была мастерицей по узорам, – заторопилась я, смущаясь под внимательным взглядом ата и ироническим – мужа. – Когда она работала над ковром, то всегда что-то напевала. Очень приятный был голос. Но если у нее обрывалась нить, то прекращалась и песня. Устранит порыв и начинает петь именно с того места, на котором остановилась. Вот это меня всегда удивляло. Я, ата, подумала: не связано ли это каким-то образом с поведением вашего гостя?

– Вот видите, узоры и мелодия тесно переплетены между собой. Я от темы не отступлюсь, – упрямо заявил Бахытжан.

– Очень может быть, но не спеши. Послушай лучше стихи:

Что такое кружева узоров, как не песня?

Что такое звон молота и гул горна, как не песня?

– Меч хочешь выковать, не зная молота, сын мой. Песню хочешь сложить, не зная цену слову.

– Это ты сейчас придумал, – снова нахохлился сын.

– Ну и что? Я пытаюсь втолковать тебе, что эту задачу не решить дилетанту, ты просто за отблеск мысли ухватился: обрадовался, как дикарь погремушке, и хочешь выдать свою заумь за что-то ценное. Не обманывай читателя. Давай лучше сделай из этой задумки сказку. Простую красивую сказку. А, сынок? Ты лезешь к абсолюту, в то время, когда даже научный прогноз – вероятностный. Я, например, имея личный боевой опыт, кое-какие знания, не взялся бы предсказывать исход даже локального боя, а не то что стратегической операции. А ты лезешь в совершенно чуждую тебе область, руководствуясь одной лишь интуицией и благими намерениями. Вот просидишь лет десять над теорией и историей музыки, тогда приходи – я тебя с удовольствием выслушаю, если жив буду. А пока напиши детям сказку про подвиги наших дедов – ведь благодаря им сохранились и книги, и музыка, и эпические сказания, и кюи. Пусть это будет маленькая сказка о большой душе народа.

* * *

Дом теплеет, когда в него входит человек. У нас всегда любили и ждали гостей, ради них откладывались самые неотложные дела. А люди шли самые разные, и приводили их к нам причины тоже самые неожиданные. Но в основном – чтобы познакомиться с отцом, услышать голос батыра, поговорить с ним. Были такие, что несли с надеждой свою первую рукопись, шли с болью или обидой на чью-то несправедливость.

Однажды, когда я раскатывала тесто на бешбармак в своем “кабинете”, раздался неуверенный звонок. Видно, кто-то впервые пришел к ата. Его гостей нельзя было заставлять ждать, и я пошла к двери, вытирая руки о кухонное полотенце.

За порогом стоял невысокий рыжеватый человек с впалыми худыми щеками.

– Здесь проживает Момышулы? – несмело спросил он.

– Да, проходите, пожалуйста, – посторонилась я, впуская гостя.

– Кто меня ищет, пусть идет сюда! – загремел голос ата из глубины кабинета.

У нас принято угощать всех, кто приходит в дом. По законам векового

народного гостеприимства, хоть пиалу чая должен был выпить за нашим столом человек и съесть хоть кусочек хлеба. У меня это с младенческих лет в крови.

Когда к готовому угощению приходит гость, я всегда вспоминаю свою покойную маму. Интересный она была человек. Когда невестки начинали варить обед, она всякий раз не уставала напоминать им, чтобы они обязательно положили в казан долю гостя. А о том, появится ли вообще сегодня гость, она и сама не знала, это было для нее неважно, главное – отдать дань уважения гостю, его “доля” всегда должна быть в казане. А когда случайный человек действительно появлялся на пороге, она радовалась, будто ее сноха родила сына.

...Вдруг раздался неожиданно сердитый, громкий голос ата. “Наверное, он досадует на меня за то, что задержалась с чаем”, – испугалась я и бегом бросилась к нему сказать, что чай будет готов сию минуту. И замерла, наткнувшись на застывшее, посеревшее лицо ата.

– Твой сын, перед тем как совершить преступление, советовался со мной? – с видимым спокойствием поинтересовался он у гостя.

Каждое слово падало, как ледяная градина.

– Н-н-нет.

– А если нет, что ты здесь тогда болтаешь?! – уже с трудом сдерживался ата.

– Все-таки мальчик – сын казаха, и вы тоже... – начал было робко объяснять посетитель, но ата резко, как саблей, взмахнул рукой, будто воздух разрубил.

– Он твой сын, но не народа! Запомни это! – закричал он. – Кто тебе сказал, что Момышулы станет вмешиваться в грязные дела?

А пришедший – воистину бедолага: знал бы, где споткнешься, соломы бы подстелил, – допустил еще одну промашку на свою голову:

– Ага мой! Я приехал не с пустыми руками и готов отдать все, что ни попросите, – растерянно пролепетал он.

Ата почернел от оскорбления.

– Турчанка! Что ты стоишь, вытираешь глаза? Укажи этому подлецу, где находится дверь!

– Ага! – вскочил тот. – Все отдам!

– Вон, непропеченное тесто!

Гость торопливо засеменил к выходу, втянув голову в плечи. Я и сама так испугалась, что проводила этого горе-просителя не только до двери, но и до самого лифта.

– Япыр-ай, – убитым голосом обронил он. – Ну и характер! Говорили ведь мне, что он буйный, но говорили еще, что за казахов он готов душу отдать... А тут...

– Он за правду, за справедливость не только душу – жизнь отдаст, – горячо поправила я его.

Да, этому человеку не выпало преломить лепешку в нашем доме. Что ж, были и такие гости, что приносили с собой холод, причиняли ата боль, пачкали наш порог. Часто бывало так, что после их ухода в комнатах долго еще держался сумрак, как после тяжелой, изнурительной болезни. Но таких было мало – хороших больше. Двери нашего дома до сих пор готовы открыться на любой стук, чтобы впустить человека.

* * *

Смеркалось. Природа бережно баюкала усталость беспокойного трудолюбивого города. Я люблю эту предвечернюю тишину – наконец-то закончилась суетливая беготня и можно оглянуться назад, прислушаться к сердцу. В такие минуты моя маленькая семья, не сговариваясь, собиралась у ата. Трудно забыть ту особенную, душевную атмосферу нашего общения возле ата.

...Бахытжан ушел к отцу. Ержан играет, шумит в своем уголке сам по себе. Я покончила со своими домашними делами и тоже направилась в кабинет. Завидев это, Ержан наперегонки со мной бросился к деду, а опередив, торжествующе оглянулся, довольный: я первый! Потом подскочил к ата и выпалил:

– Ата, а я стихотворение сочинил!

Таково невинное “хобби” нашего маленького члена семьи.

– Какое стихотворение? – живо откликнулся ата.

– Хорошее!

– Ну прочти нам тогда.

– Я еще читать не умею, я устно сочинил. Как я прочту? Лучше я прокричу, ладно?

– Не-е-ет, кричать не надо, – покачал головой ата. – Со стихами нельзя так обращаться. Расскажи свое стихотворение негромко, но с выражением.

– А как это – с выражением? – не понял Ержан.

– Это значит: то, что говоришь, – понимать и представлять надо. И еще важно слышать собственный голос, понятно? – постарался объяснить ребенку ата.

– А-а, ну ладно, понятно, – махнул рукой Ержан и с готовностью принял подобающую, по его разумению, в таких случаях позу: руки скрестил на груди, ноги расставил широко в стороны, голову важно склонил набок. Затем широко открыл рот и решительно выдохнул:

Раз и два, не учись на два.

Если двойку получишь, то заплачешь.

Если четверку получишь, то заскачешь.

Если тройку схватишь, то запищишь.

Если пять получишь, то закричишь.

Бахытжан прыснул, а моя душа возносилась на небеса от гордости за четырехлетнего сына: ребенок какие-никакие, а стихи сложил.

– Эй, Черновик, ты чего смеешься? – нарочито грозно одернул сына ата. – Очень хорошие стихи. Мне такие никогда не написать. Только зачем кричать-то, не пойму?

– Ну как же? – искренне изумился Ержан. – От радости, что пятерку получил!

– А-а, – понимающе протянул ата. – И то верно. Через два года Ержан в школу пойдет, и эти стихи для него – программа. Молодец, Ержик, иди ко мне! – ата притянул внука к себе, погладил по головке, нежно прижался щекой к пухлому детскому лицу.

Он редко целовал детей, но с его лаской нельзя было сравнить ничего на свете. Обрадованный похвалой дедушки, Ержан захвастал:

– Я и загадку придумал. Маленький росточек есть, золотые руки тоже. Что это?

– Да ведь это просто самородок, настоящий творческий клад! – в тон ему воскликнул ата. – Мастер! Ему бы чуточку скромности – цены бы не

было! Ну ладно, попробуем отгадать. Значит, рост маленький, руки золотые? – задумался он.

– Капуста, – брякнул мой супруг.

– Откуда руки у капусты? – возразила я.

– Голодной курице просо снится, – усмехнулся ата. – Что ты знаешь, кроме капусты?

– Это не капуста, это мама! – не вытерпев, завопил Ержан.

– Я был близок к истине, – вставил Бахытжан, – от загадки кухней папахивало.

– Помолчи, – поморщился ата. – Почему капуста... то есть почему мама? Не может быть!

– Потому что мама ростом меньше папы, и все руками делает, – выпалил мой мальчик.

– А другие что, ногами все делают? – резонно поинтересовался ата.

– А вы яблочные пироги не умеете делать, и обед готовить, и вязать, и пол мыть.

– Это истинно, у твоей мамы действительно золотые руки. Хорошая загадка. Сдаюсь! – поднял обе руки вверх довольный дед.

Неожиданно увлекшись игрой, он предложил нам свою загадку:

– Есть у меня двенадцать кобылиц. Шесть из них жеребые, а шесть – яловые. Две – солнцем облитые. Две – с дырявыми легкими. Ну?

– Это обычный год, – уверенно заявил Бахытжан.

– Поясни.

– У тебя двенадцать кобылиц. Это год. Шесть месяцев лета и осени являются урожайными, то есть жеребыми, а зимние и весенние месяцы проходят бесплодными, значит, яловыми. Что там было еще? Два месяца самых жарких и есть облитые солнцем, а те месяцы, когда все grip-пуют, выходит, с дырявыми легкими.

– Bravo! Только неверно. Ты просто лихо подогнал ответ, как плохой ученик, который подсматривает его в конце задачника. Но выкрутился, за что и хвалю.

– Двенадцать кобылиц – это, наверное, пальцы и уши, – несмело предложила я, но дружный хохот “знатоков” отбил всякую охоту продолжать.

– Не нашли? Тогда слушайте. У овцы есть двенадцать суставов. Шесть

жеребых – это кости с мозгом. Шесть яловых – это кости без признаков жира и мозга. Две бабки, два асыка. С дырявыми легкими – это бедренные кости, а солнцем облитые – это лопатки. Это вам двенадцать частей.

– Ну, папа, ты даешь! Да нам вовек такого не разгадать! Берцовые, предплечья всякие. Тут анатомию заново изучать нужно, чтобы в твоих премудрых загадках разобраться.

– Мясо есть любишь, сорпу пьешь, а мозгами пошевелить не хочешь, – упрекнул ата. – Неужели по стилю не понял? Это очень старая загадка. Твой народ чем занимался? Кочевал, воевал, скот пас. И скотину он хорошо знал, ибо первым в мире оседлал коня. Греки Македонского переняли у нас седла, узду и стремяна... Да что с тобой говорить? О каждой косточке и шерстинке твой предок-номад мог песню сложить. А вы только потребляете, знать же ничего не желаете.

– Горожане мы, – смиренно ответил сын. – Молоко добывается от веселых коров, кефир – от грустных.

Ата невольно рассмеялся, но покачал головой.

– Загадайте нам еще что-нибудь, – попросила я.

– Ладно. Вот вам еще.

Хлю-хлюп, серопылье.
В серопылье – красный трон.
А на троне – три ноги.
Они держат впадину,
А в ней сливки сладкие.
В сливках – зеркало гладкое,
А в зеркале – холостяк.

Бахытжан только рукой махнул тоскливо. Мне и подавно не подступиться.

– Сказать, почему не можете найти отгадку? – обратился к нам ата. – Вы не умеете видеть, наблюдать и запоминать. У вас отсутствует ассоциативное мышление. Ведь загадка – это не просто забава. Это одна из лучших гимнастик для ума, которая помогает человеку выработать умение думать и абстрагировать.

– Ата, я буду думать, научи меня! – закричал Ержан.

– Ты умеешь думать лучше всех, – похвалил ребенка дед.

Обычно ата очень не любил, когда его перебивают, резко и строго обрывал таких: “Невоспитанный человек!” Но внуку он терпеливо сказал:

– Ержик, нужно иметь терпение выслушать человека до конца, только тогда его можно понять правильно. Я понимаю, тебе хочется поделиться своими мыслями, но дождись своей очереди – а за это время еще раз продумай свои слова. Чтобы не сказать глупости, понимаешь? Теперь иди ко мне, подай сюда бумагу и карандаш. Смотри, сейчас я нарисую вам отгадку.

Ата очень хорошо рисовал и чертил. У нас сохранились оригинальные рисунки и военные карты, вычерченные его рукой.

Я с интересом следила за тем, как из-под карандаша проступают контуры знакомых предметов. Ата работал споро и сосредоточенно. Каждую деталь вырисовывал тщательно, чтобы было понятно ребенку, тогда как обычно крупными резкими штрихами обозначал самую суть образа. На рисунке, предназначенном для малыша, была выписана зола костра, догорающее пламя, тренога, на которой висел казанок. В нем что-то кипело, торчала поварешка.

...До сих пор Ержан предлагает эту загадку нашим знакомым учителям в школе, товарищам, обязательно добавляя, что это “дедушкина загадка”. С годами не прошла и его страсть к придумыванию загадок. Одна из них посвящена деду:

Он был высок, как Алатау,
Неистов, как гроза.
Но мягкими умели быть суровые глаза.

* * *

Однажды утром Бахытжан, едва умывшись, прошел к отцу. Он был чем-то явно взбудоражен, глаза искрились радостью.

– Доброе утро, папа. Ержик всегда к тебе ходит, чтобы свои сны рассказывать. А мне можно обратиться к тебе с просьбой растолковать мой сон? Ты же у нас неплохой толкователь. Я сон видел удивительный. Правда, не многосерийный, как Ержановы, – обыкновенный, короткометражный, но зато широкоэкранный и цветной, – похвастался он.

– Ну вот, гадалку-вещунью из меня сделал, – вздохнул ата. – Может, тебе лучше сонник приобрести где-нибудь?

– А где его достанешь?

– И то верно. Ну что ж, давай послушаем, что там тебе привиделось.

– Не знаю даже, с чего начать. В общем, приснилось мне весеннее утро, солнце в полнеба. Яркая зелень покрывала все окрестные холмы, свежие алые цветы. И вершина Коктюбе вся в цветах, и не стояло там ни ресторанных юрт, ни телевышки. Огромный и зеленый холм, и я беседую с кем-то высоким, крупным, в просторном чапане из верблюжьей шерсти. Гигант держит меня за руку и куда-то ведет. Я поднимаю глаза и вижу, что рядом со мной идет сам Абай-ата, – торжествующе оглядывает нас Бахытжан. – Лицо у него очень серьезное и озабоченное. Он говорит со мной о долге и делится какими-то тайнами, которые я силюсь запомнить. Кажется, он вот-вот произнесет в мой адрес драгоценный совет, но только какая-то дума гнетет его. Не помню, что он говорил, голос как будто издалека, но слышится отчетливо. Я беру его за руку и чувствую, как наливаюсь силой. Великий Абай говорит глухим, но сильным голосом, и я постигаю удивительные секреты бытия и поэзии. Мы долго ходим по зеленому холму, а когда я бросаю взгляд вниз, то вижу у подножия тьму народа, головы у всех задраны кверху, взоры устремлены на Абая-ата, ждут. И еще множество машин, похожих на красных, синих, черных и желтых жуков. Абай погружен в свои думы – он считает очень важным передать их мне. Среди ожидающих я узнаю многих писателей, различаю их лица. И ты там тоже есть среди них. Что бы это значило, а? – придвинулся Бахытжан поближе к отцу.

– Ну ты и нахал, Черновик! – густо произнес ата после недолгой паузы, поднял указательный палец, легонько ткнул им в грудь Бахытжана. – Видишь, дочка, какой он! Ты все слышала? – и укоризненно покачал головой. Но Бахытжана это ничуть не смутило: вряд ли его могут остановить иронический тон и жесты отца. Лицо его пылает, глаза светятся таким удовольствием, словно он не во сне, а наяву лично встретился с великим поэтом и мыслителем.

– Да, сон у тебя получился вполне классический, – уважительно произнес ата, и непонятно было, шутит он или говорит серьезно.

– Сон рядовой, это ясно. Приснился он мне не случайно, ведь и у Абая, и у меня родственники по матери, нагаши, – каракесеки!

При этих словах ата в немом изумлении схватился за воротник своей рубашки.

– Астапыралла! Ну и чудеса! Оказывается, этот дурак знает, что его нагаши – каракесеки!

Я, не удержавшись, как всегда некстати прыснула. А ата, не обращая на меня внимания, продолжал:

– С каких это пор, дорогой, ты стал чтить свою родословную? Сколько ни заставлял я тебя усвоить шежире, картину семи колен предков, в ответ слышал одно: “Оставь, папа, не знаю никаких колен-молен, и без того мозги пухнут. Сам казах, род – алма-атинский, и баста”. А? – грозно вопрошал он. – Или не так?

Бахытжан не ожидал такого поворота, растерялся, заморгал глазами и обернулся ко мне за поддержкой.

– Это он специально узнал про нагаши, узнал, чтобы мы поняли разницу: он ведь Абаю родственник, а мы – нет, – добавила я.

– Э-э-э, – понимающе протянул ата. – Ну, родственников не выбирают, что делать. Значит, ты у нас теперь настоящий кумысный патриот, понимающий родовое знамя, когда ему выгодно? Вот это славно!

– Ну ладно уж, ладно, – досадливо махнул рукой Бахытжан.

Видно было, что он обиделся. Между бровями пролегла характерная вертикальная полоска – очень сердитая. Надо сказать, она появляется нечасто. По обыкновению, у него мягкий, открытый взгляд, теплое доброжелательное выражение лица. Но в редкие минуты он становится поразительно похожим на своего отца – вплоть до малейшей интонации, – и я всегда теряюсь, глядя на обоих. Та же суровость взора, тот же демонстративный отказ от всяких компромиссов, та же обескураживающая, обезоруживающая порой прямота. Оглушит и не дрогнет. На ата, понятно, не могли не сказаться многие годы жесткой военной дисциплины, годы напряженной работы, когда невероятно трудно было быть мягким даже с самим собой, а у сына откуда?

В такие опасные минуты во мне разумно просыпается инстинкт самосохранения: отмолчусь себе, а там, глядишь, и опять мир. Ох и интересная же вещь эта натура (не зря говорят, что она же и дура). Не приведи аллах попасться им обоим под горячую руку... Древние говорили: “Хороший наездник своего коня ждет”. Вот и ата почуял, видно, большой пожар.

– Ты, сынок, не обижайся, – неожиданно мягко завернул он и как будто студеной воды в закипающий казан подлил. – Понимать стремись, зерно в моих словах отыскивай. Давай теперь твой сон хорошенько разберем. Ты, сынок, Абая – настоящего, великого Абая плохо знаешь, ведь по верхам

его книг проскакал. Так? Мекемтас всю жизнь занимается исследованием жизни и творчества великого поэта, сделал много важных и крупных открытий, но и он не говорит, что знает Абая. От твоих похвальбишек о том, что Абай вышел из казахов, в его мире ничего не убудет и не прибудет. А ты попробуй честно окунуться в этот мир. Он ведь холодного согреет, горячего остудит, падшего на ноги поставит, всю накипь с человека снимет.

А если ты только о своей непутевой голове будешь печься – оставь великого в покое. Тут он тебе не советчик и не помощник.

– Ну-ка, вспомни, разве не о том же говорил тебе во сне Абай? Уважай свой язык, люби свой народ, для него живи и работай. Об этом? Та-а-ак. А то, что я чудом оказался у подножия горы, на которую взошел великий Абай, – этим я буду до самой смерти гордиться.

И переживать из-за того, что некий молодой человек оказался на вершухе, а я нет, – не буду. Ведь на горе с Абаем был не мой сын, а наше будущее, и, наверное, писатели, смотревшие на вас, тоже видели рядом с Абаем новое поколение, дочерей и сыновей народа, а не какого-то начинающего писаку и переводчика Бахытжана ибн Бауржана. Вот так и понимай свой замечательный сон.

Находиться рядом с Абаем – значит учиться: пониманию жизни, искусства, истинного и наносного в жизни. Личность Абая настолько богата и щедра, что свет ее не мог не коснуться и тебя, убогого, у которого половина мозгов на айране замешана. Да-да, не морщись. Вот ты и пошел частить – я да Абай, да мы с Абаем...

Если человек не хозяин себе, если он размазня, а не личность, то никакие каракесеки тут не помогут.

Видел, как рыба, когда ее волной выбросит, мается? И елозит, несчастная, и мордой в мокрый песок тычется, а в воду скользнуть не догадается, хоть и рядом вода, чуть в сторонке. Так и обделенный мудростью человек, куда податься, не знает. Ну что, понял что-нибудь?

– Спасибо, папа. Этот свой сон и твое объяснение буду, как редкий подарок, беречь и вечно помнить буду, – тихо сказал Бахытжан. В его голосе теперь было больше смущения и даже немного подавленности.

– Хорошо, что ты понимаешь меня, – сказал ата. – Но не нужно себя грызть. Гораздо полезней, не откладывая в долгий ящик, взяться

за книги высокого разума и духа, за книги очищения. Возьми с полки томик Абая, раскрой на тридцать девятой странице. Следи по тексту.

Только тот, кто сердце и разум скует
Непреклонной волей, достигнет высот.
Эти свойства не стоят врозь ни гроша,
И любое из них тебя не спасет...

Отец читал, Бахытжан следил по книге, я слушала, а в комнату медленно входил Абай, заполняя каждый уголок разноцветным костром своей поэзии.

Принято думать, что сны – это итог дневных переживаний, каких-то, может, особенно ярких впечатлений, и вообще нечто иррациональное. Пусть так, но мы никогда не забудем отцовский урок “вещания”. С того далекого 1973 года минуло десять лет. А Бахытжан помнит свой разговор с отцом до мелочей и часто вечерами вновь и вновь, гордясь, пересказывает его нам с Ержаном. Слушали и многие наши знакомые. Вначале посмеиваясь, потом невольно втягиваясь, задумываясь и, по-видимому, поражаясь тому, какой урок высокого нравственного отношения к своему наследию преподавал нам ата на примере одного случайного сновидения.

* * *

Тот, кто собрался посетить наш дом впервые, как правило, изрядно плутает, прежде чем отыщет нужный номер. Квартира была расположена в конце длинного темного коридора, куда вообще не попадало солнце. Мало того – лампочка там горела только после шести вечера зимой и после девяти – летом: экономили электроэнергию. А до этого времени нашу квартиру можно было найти сугубо на ощупь, подслепогато вглядываясь в цифры на дверях. Потом возникает проблема обнаружить кнопку звонка. Проще постучать в дверь, что обычно и делает утомленный поисками посетитель. Заслышав стук, первым делом я бегу к вешалке в прихожей, за которой прячется выключатель, а то в сплошной темноте ни он меня, ни я его ни за что не разглядим.

По заведенному в доме негласному порядку встречаю гостей я, но в этот раз меня опередил Бахытжан.

– Здравия желаем, товарищ полковник! – раздалось многоголосое дружное приветствие.

– Не он, не он! – заслышав испуганный голос мужа, я поспешила в прихожую. И в первый момент, не сдержавшись, воскликнула: “О-о!” В ярком электрическом свете, вытянувшись в стройную шеренгу, стояли четверо маленьких офицеров. Оправившись от изумления, присмотрелась повнимательней: дети как дети, лет одиннадцати-двенадцати, по случаю посещения “батыра”, по-видимому, вырядились в “выходную” офицерскую форму. И все такие красивые да ладные.

Засмотревшись на гостей, мы с Бахытжаном не заметили, как затянули паузу: стоим, раскрывши рты, а мальчишки уже и неловкость чувствуют, глазами часто-часто хлопают. Бахыт спохватился первым.

– Входите, орлы! – бодро пригласил он их.

Дети, не спеша и не толкаясь, один за другим вошли в дом. Заметна была не свойственная их возрасту степенность. Тот, что побойчей, светлый крепыш – а может, он был “командиром отряда”, – принялся деловито излагать суть своего “официального визита”. Они пришли, если возможно, повидаться и отдать пионерский салют прославленному панфиловцу гвардии полковнику Бауржану Момышулы. Вдохновенная и обрадованная столь яркой и необычной картиной, я побежала в кабинет, к ата. Он читал газету.

– Что случилось, дочка? Почему шум? – взглянул он на меня поверх очков.

– Пришли четверо маленьких офицеров, – сообщила я с довольным видом.

– Вьетнамцы?

– Нет, – засмеялась я, – дети.

Три дня назад мы с ата ходили в музей военного округа и видели вьетнамцев: издали все равно что дети, а присмотришься – настоящие офицеры.

– Объясни толком, ничего не пойму, – ата в сердцах отбросил газету.

В это время открылась дверь и Бахыт торжественно ввел гостей.

– Прошу, господа, – иронически-шутливо произнес он.

– Здравствуйте, товарищи. Прошу садиться, – ата широким жестом пригласил их к журнальному столику, одновременно окатив нас ледяным взглядом: мы тут же заторопились к выходу.

– Кто это? – спросила я Бахыта за дверью.

– Не знаю, – буркнул он недовольно.

Всего минуту назад был в прекрасном расположении духа, и вот, пожалуй, уже мрачнее тучи. Что тут придумаешь?.. “Промолчу-ка я лучше, может, у него своя, важная, на то причина”, – подумала я и продолжала заниматься своими делами.

Бахытжан не шелохнулся, пока не выкурил сигарету.

Между бровями пролегла тяжелая вертикальная складка.

– Мы с тобой некрасиво поступили, – помолчав, выговорил он.

– Почему? – опешила я.

– Папа принял детей как равных, а мы на них как на клоунов в цирке усталились, рты до ушей растянули. Как же – зрелище! Поэтому он нас и выпроводил взглядом. Поняла теперь?

Я действительно первый раз в жизни увидела детей, одетых в такую яркую, почти настоящую офицерскую форму. Вот уж воистину: знал бы, где споткнешься, соломку бы подстелил... И я, как пустой стебель на ветру, развеселилась, и Бахыт со своими “господами”.

– Как же мы теперь?

– Теперь посмотрим, – хмуро отвечивал мой супруг и скрылся в своей комнате.

А у меня все из рук валится, толком ничего делать не могу. И в кабинет зайти не смею. Ну, как выпроводит при ребятах, скажет холодно: “Я тебя не приглашал”, – совсем неудобно будет. Но скоро в коридоре мелькнули полы домашнего чапана ата, а вот и он сам пришел в кухню. Я вскочила со стула и, набравшись смелости, взглянула ему прямо в лицо.

– Мальчики из школы с военно-патриотическим уклоном, – сказал ата спокойно. – Ровно через двадцать минут приготовь нам чай. Дастархан накрой на низком столике в кабинете. Далее: как бы они ни были одеты – все равно дети, так что разных сладостей побольше разложи, – не дожидаясь ответа, круто развернулся и вышел.

Получив конкретное задание, я немного приободрилась и с головой погружилась в приятные хлопоты. Казахи издревле хранят хорошее угощение для гостей, и у меня на этот случай было кое-что припрятано. Обычно ата никогда не напоминает, что ставить на дастархан – тут, как видно, случай

совершенно особый, – и я с радостью принялась чистить свои “закрома”.

Неслышно ступая, пришел Бахытжан.

– Здесь, кажется, папа недавно был?

В отместку за то, что он недавно меня так расстроил своим наблюдением, я промолчала.

– Ну говори же, что он сказал? – начал терять терпение муж.

– Не бойся, у него прекрасное настроение, попросил приготовить чай.

– Нашла мне тоже пугливого! Думаешь, все, как ты, любого шороха боится? – сразу осмелел он и как ни в чем не бывало ушел.

Он был сейчас неискренен – я это наверно знаю. Он обычно заводится таким образом только тогда, когда виноват. Уж сколько раз так было: заварит кашу, подставит меня под первый, самый горячий удар, а сам после того, как все тучи улягутся и буря утихнет, является. Да так оно, если вдуматься, много лучше, а то ведь если столкнутся два одинаковой силы темперамента, такие искры посыплются, что мне же больше всех и достанется. Выходит, мудро поступает мой муж, когда меня один на один с гневом ата оставляет.

...Гости не обратили на меня никакого внимания, зная, разговор очень интересный. Глаза горят, каждое слово “батыра” ловят. Я уже говорила о том, какой великолепный рассказчик наш ата, как непринужденно и вместе с тем мастерски умел он расположить к себе слушателя.

– Героем никто не рождается. Скажем, река берет начало в каком-то чистом источнике – так и человек растет, закаляется в труде, в братстве, под влиянием родителей, школы, общества. Я не случайно сказал “в братстве”. Широкое значение этого слова – дружба между народами, интернационализм. Героизм невозможен без чувства братства, мужество не падает с неба подарком, а рождается от любви к Родине. Любовь к Родине – это и любовь к отцу-матери, к своему дому, своему маленькому аулу, своему народу... Да-а, человек начинается с любви...

Ата редко говорил о таких “громких” вещах, как Родина, народ – и так уж обезличили их бесконечным склонением на собраниях и митингах, но, слушая его, трудно было не проникнуться истинным, высоким смыслом этих слов, настолько тесно переплелись его личная судьба и судьба Родины.

– У нас любят писать: такой-то повторил подвиг такого-то. Это глубокое заблуждение. Подвиг нельзя повторить как бы по рецепту. Подвиг не повто-

ряется, а совершается в конкретной обстановке боя, в конкретных условиях. Подвиг всегда индивидуален, потому что ни одна боевая ситуация не повторяет другую, тут много разных факторов. Солдат никогда его не планирует, он просто воюет, выполняет свой долг, выносит из-под огня раненых товарищей. В бою он не думает о славе.

Я слушаю ата и тут же повторяю про себя все его слова, чтобы не забыть для дневника. Хотела было выйти на минутку, записать быстренько и вернуться, да как дастархан и гостей оставишь?

– Ну, дорогие мои, пейте чай, не стесняйтесь, – прервал он сам себя, видя, что ребята, пока он говорил, не притронулись ни к чему на столе.

Я тем более не посмела вмешаться, проявить гостеприимство – предложить сладости и чай.

– Жалко, что вас мой внук не видел, – заметил немного погодя ата.

– У вас большой внук? – спросил тот же светлый крепыш, их “командир”.

– Большой – пяти лет, зовут Ержан. Равнодушно на военных смотреть не может, а от вас его, наверное, вообще не оторвать. У меня внук такой общительный и большой выдумщик, разные истории из него так и сыплются. Я в них обычно за главного героя схожу. Ну и себя, конечно, не забывает: мы с ним вдвоем и семиглавых драконов, и коварных ведьм – жезтырнак – запросто одолеваем, – и ата рассказал два-три занимательных сюжета из Ержановых сказок. Ребята совсем развеселились, смеялись и шутили вместе с “грозным батыром”.

Думаю, не потому привел он здесь эти забавные детские выдумки, чтобы похвалить внука. Это нужно было затем, чтобы мальчики быстрее освоились, не чувствовали неизбежной в подобных случаях скованности. Наши маленькие гости увидели, что человек, чье имя при жизни стало легендой, такой же, как и многие другие, простой, добрый аксакал. И он тоже, как и все люди, любит шутку и смех.

– Ата... – блестя глазами, живо начал белолицый пригожий мальчик и тут же осекся. Зажав ладонью рот, виновато взглянул на хозяина дома.

– Простите... товарищ полковник, – беспомощно прошептал он и залился краской.

Верно, уже сейчас ребята приучены к строгой, армейской дисциплине обращения. Товарищи посмотрели на провинившегося с нескрываемым осуж-

дением – ведь оказалась задетой честь их мундира. Все как один нахмурились, строго потупились. Мне стало смешно – офицеры! Но, с другой стороны, могу ли я, человек сугубо гражданский, верно оценить ситуацию? Скорее всего, нет. “Так что твоя ирония здесь неуместна”, – одернула я сама себя.

– А я для вас и есть самый настоящий ата, – мягко, очень по-доброму произнес он. – Что ты хотел сказать, сынок? Не стесняйся, говори, пожалуйста.

Мальчишки снова заулыбались, подняли головы – как будто подснежники проклюнулись из-под снега.

– Вам на войне страшно было?

– Да. Хотя я не из породы трусливых, но было страшно.

Мальчишки забеспокоились: как же так, батыр признается в такой совершенно, казалось бы, не свойственной ему слабости. И я бы на их месте тоже не поверила бы. “Один против танков, и мокрое место от них в секунду оставил”, – вот это, наверное, с ребячьей точки зрения, больше похоже на правду батыра.

– Только глупые хвастунишки могут заявить, что им на войне было “море по колено”, – продолжил ата. – Ведь живой человек находится в перекрестном огне, а не кукла. Все мы не из железа сделаны, и у меня, и у вас внутри сердце, душа, кровь. Другое дело – как страх победить. Врага ты не одолеешь до тех пор, пока свой собственный страх не убьешь. И тогда приходит на помощь гордость. Это великая вещь – человеческая гордость. У тебя за спиной отец, мать, твой народ, Родина. Как же ты можешь допустить, что все это останется под черным сапогом врага?

Это придает силы, зажигает огонь в сердце. Советские солдаты оправдали молоко матери и любовь родной земли.

Но были среди солдат и такие, что думали не о том, как выиграть бой, – о том, как спасти собственную шкуру. Народ не зря издавна называет их “тухлое яйцо”, – последние слова ата произнес жестким, холодным голосом.

Мальчишек задела столь категоричная, неприязненная оценка. Они, по-видимому, прониклись отношением ата к “шкурникам” – на их лицах была написана крайняя решимость борьбы с ними и искреннее осуждение.

– Дочка, принеси четыре экземпляра “Генерала Панфилова”. Сначала дастархан уברי.

...Бахытжан проводил гостей. Те ушли донельзя довольные – ата попрощался с ними крепким мужским пожатием и наговорил много добрых напутствий.

– Знаешь, – многозначительно взглянув на отца, начал Бахытжан, – ребята меня в потемках сначала за тебя приняли – честь отдали, так приветствовали громко. А я сразу не сообразил: надо было хоть недолго в твоей роли полковником побыть, в лучах твоей славы покупаться.

Бахытжан на всякий случай пытался обезопасить ситуацию, смягчить удар, если он вдруг последует за наш с ним недавний конфуз. Но ата не подхватил его шутку. Вытянув вперед указательный палец, он строго сказал:

– В жизни у каждого своя роль. Чужая, заемная еще никого не украшала и никому не приходилась впору. Запомни это, сынок.

“Сынок” покачал головой, удивленно поцокал языком.

– Силен старик. Как всегда, бьет в десятку, – резонно заметил, помолчав.

...С того 1974 года прошло немало лет. Много стирается в буднях, забывается в текучке. А эти маленькие офицеры вспоминаются часто. Что с ними сейчас, какими выросли, какую дорогу выбрали? Может статься, в эту минуту, когда вы, мой дорогой читатель, торопливо пробегаете эти строки, один из них вдали от дома тоскует по родине. И заново сердцем переживает большой смысл слова “братство”.

Как бы то ни было – пусть они будут здоровы и счастливы. Таково мое горячее желание, хотя так же думают все матери на свете. И я почему-то верю, что они стали хорошими, порядочными людьми – ведь они общались с ата, и ата дал мальчишкам свое светлое благословение, искренние слова напутствия в честную, чистую жизнь.

* * *

Около дома, в котором мы жили, есть магазин, где продают тысячу разных мелочей. Как-то раз, влекомая своими бесконечными мелкими хозяйственными нуждами, я зашла в этот магазин и прямо у входа, под стеклом, увидела великолепное разнообразие мундштуков. А ата, как ни посмотришь, всегда мундштук сосет – такая привычка. Папиросу, как все люди, не выкурит, обязательно в деревяшку затолкать надо. Часто ее теряет, а потом всем

домом по углам шарим. Дай-ка, думаю, возьму штук пять-семь, хоть и не бог весть какие, да в трудную минуту пригодятся.

Дома Бахытжан вслух громко читал ата письмо. Я молча прошла в комнату и тихонько присела на стульчик в ногах у папы и тоже обратилась в слух. В такие минуты достаточно было пошевелиться или, еще хуже, зашебуршить чем-нибудь неподходящим, чтобы быть беспощадно изгнанным за пределы комнаты, а то и квартиры.

Писал давний корреспондент отца из Дивногорска майор в отставке Александр Олимпиевич Шарыпов. Он был в гвардейской дивизии ата командиром батальона. Александр Олимпиевич не раз спрашивал в письмах о том, почему папа много писал о восьмой гвардейской и ничего о девятой, о боях на Балтийском побережье. И в этом письме содержалась та же старая просьба.

Бахытжан закончил читать восьмистраничное письмо. Некоторое время папа молчал, полуприкрыв глаза. Мы сидели каждый на своих местах, ждали. Наконец он степенно и глуховато сказал:

– Среди моих многочисленных долгов этот – первый. Материала хватает, только вот меня на него все не хватает. Но надо. Кто знает, сколько мне еще осталось по этой земле топать, успею ли... Вот здоровье немного поправлю и возьмусь. Но ведь что интересно: Александр Олимпиевич и сам о тех боях на Балтике не хуже моего написать может. Более того, он имеет полное право написать об этом. Это был такой комбат, честный, смелый, добрый, за спины солдат не прятался, зря под пули их не подставлял. Свой паек со всеми делил, хоть и молодой был тогда, а за солдатом как родной отец ходил, жалел человека, – и ата протянул руку к сигарете. Тут я и предложила свой подарок.

Сдержанно поблагодарив, папа положил их в картонную коробку, в которой обычно хранились его аккуратно отточенные карандаши, прикрыл крышкой и отодвинул коробку на место. Все это время Бахытжан внимательно следил за руками отца. В лице его в эту минуту ясно прочитывалось трепетное почтение и сыновняя преданность.

– Я сижу и жду, когда он мне подарит хоть один мундштук, а он и не думает, – принялся клянчить Баке, – дал бы один ничтожный мундштучок, а то я всю жизнь без своей доли: вроде пасынка тебе или живой сироты. Олжасу из Чехословакии мундштук привез – длинный, вроде него самого. Будь я

на его месте, давно бы написал стихи “Мундштук, подаренный мне Момышулы”.

– А ты напиши стихи “Мундштук, не подаренный Момышулы”. Или лучше рассказ сочини – стихи тебе не под силу. Все равно будут подражательными и, разумеется, ниже по уровню, чем у Олжаса. Его поэзия и твоё рифмоплетство все равно, что Алатау и лысая кочка.

– Как бы не так! – в притворном гневѣ вскричал Бахытжан. – Неподаренный мундштук не вдохновляет, но я все равно напишу стихи, которые твоему Олжасу и не снились.

– Ну-ну, – с интересом посмотрел на сына отец. – Попробуй.

Бахыт на минуту задумался, потом оживился и занял:

Отец не дарит мне мундштук,
Хоть у него их десять штук.
И это даже не ужасно,
А просто, знаете, Олжасно!

Ата расхохотался, я его от души поддержала, испытывая даже нечто вроде гордости за своего талантливоего благоверного.

– Ладно, – сказал, отсмеявшись, ата. – Мундштук возьми, а про стихи забудь.

– А что мне делать? – спросил Бахытжан. – Обхожусь подножным кормом, раз Олжас мне, читателю, давно ничего не дает.

– Ты уж извини его, – попросил отец. – Он сам из-за этого сильно мучается и всегда при встречах спрашивает: “Как там Бахытжан, не отощал без моих стихов?”.

– Брось иронизировать, – сказал сын. – Я вправе требовать от любимого поэта новые стихи. И чем лучше, тем больше. От того, что он секретарь Союза писателей, мне ни жарко, ни холодно. А то, что он оставляет меня без стихов, обидно.

– Верно, но где ты слышал о том, что поэта можно насильно заставить писать стихи?

– А разве читательское ожидание не главный заказ? И еще: разве вправе он обеднять ранее написанное?

– Эй-эй, осторожней! – приподнялся отец.

– Я не собираюсь его обижать. У меня кто-то спер его книгу “Солнечные ночи”, с которой я почти никогда не расставался, а в “Повторяя в полдень” не могу найти былую, полюбившуюся мне музыку. Он, который так тонко чувствует мелодию слова, взял и обкорнал “Чем порадовать сердце”. Чем мне теперь сердце радовать?

– За что ты на него обозлился? – спокойно поинтересовался ата.

– Нет, не обозлился. Ты же знаешь, я его очень люблю. В самые темные времена он приходил ко мне и согревал, поэтому я и требователен к нему.

– Объясни, – потребовал отец.

– Хорошо, только книгу принесу, – поднялся Бахыт. Вернувшись, долго устраивал поудобней ногу и наконец раскрыл книгу.

– Вот эта поэма, на пятьдесят второй странице. Здесь даже название усечено: “Чем порадовать...” – и все, а где “сердце”? Начинается вот так: “История наша – несколько вспышек в ночной степи... Я сын города, мне воевать со степью. Старики, я хочу знать, как погибли мои города”. А дальше нет той музыки, что была раньше, сразу после увертюры.

Отец внимательно следил по тексту, брови его шевелились:

– А что именно было дальше?

– “Из монгольских степей шли веселые пьяные гунны. К низким седлам пришиты колчаны тяжелых стрел. В городах Семиречья горели дома уйсуней. В низких черных котлах маслянистый огонь кипел. Тридцать огненных лун по туманным глухим перевалам гнал хрипящих коней небольшой молчаливый отряд. Реже, реже и реже короткие сны привалов. За хвостами коней города Семиречья горят”.

Мы слушали, и казалось, что-то странное вливалось в комнату, очарованную полной музыки поэзией. Ата прерывисто вздохнул.

– Возьми мундштук, сядь ближе. Поначалу твой тон меня насторожил, и я рад, сын, что ошибся. Поэт, который умеет радоваться успехам других своих собратьев, это настоящий поэт. Олжас мне кажется таким, очень щедрым. Я ругал одного поэта, который не хотел признавать Сулейменова казахским акыном. Тот поэт все гребет к себе с дастархана поэзии, заявляя: “Кумыс мой, скакуны мои, аулы тоже мои, горы мои”. И Олжас говорит: “Это мое!”, но тут же добавляет: “Но это и ваше тоже! Вот берите и пейте

кумыс, и пусть он принесет вам здоровье и долголетие! Входите в мою юрту гостем, выходите братом!” Улавливаешь разницу?

– Это позиция, – согласился Бахытжан.

– “Вблизи Чингисских гор его могила” – это один из лучших памятников Абаю. Это благодарность и понимание истинной цены настоящего в искусстве и места поэта в сердце народа. Спасибо Олжасу за это. К этому памятнику идет больше народа, чем к бронзовому. Олжас – художник, который умеет видеть то, мимо чего многие проходят равнодушно. Его трудно переводить на казахский язык, ибо он не подчиняется тем канонам казахской поэзии, к которым привыкли мы. Для казахской литературы он сделал много, и свершил это без посредников, то бишь переводчиков. Он открыл перед русскоязычным читателем такие глубины души своего народа, которые стали откровением для многих. Очень созвучен ему голос Фаризы. Она – великолепный акын нашего времени и тоже не вмещается в привычные рамки. Фариза честный художник, но, мне кажется, ей не очень везет с переводчиками. Олжаса нельзя вычеркивать из списка казахских поэтов за то, что он пишет на русском языке. Даже я, двуязычный писатель, слышу в его стихах истинно народные мотивы, ощущаю родные запахи степи, вижу такие мощные и близкие мне картины, что сердце переполняется радостью. Его голос я уже не спутаю ни с чьим другим. Домбра не всегда воспроизводит то, что есть у него. Возьми-ка народную песню “Елим-ай” и сравни с Олжасовым скрытым плачем “Кочует с Черных гор аул на запад”. О, об этом стихотворении нужно уметь не только думать – слышать. В нем много богатейших народных мелодий, пропетых на русском языке казахским голосом. И есть в нем еще незащищенность поэтов и батыров, которую он скрывает – да потом вдруг зарывает в “телеграмму” слезами Багрицкого. Он умеет искренне плакать, потому что высокие поэты плачут по-высокому. Нельзя скрыть сердце, если оно огромное. Ты любишь его без снисхождения: не видишь нежности, петлей перехватывающей горло. Эта снисходительность ни для кого из нас не обидна. Защищай поэтов, когда их ранят. Береги поэтов, сын. Это дети, чистые и высокие, дети народа. Всмотрись, как дрожат его губы, когда он пишет: “Он, как вдова, голосит под окнами!” Когда-нибудь мой мундштук, прикушенный его зубами, наполнит его сердце такой же горечью, и он выплеснет ее по-русски за всех казахов. А ты вот будешь обожжен сознанием того,

что был якобы жертвой отцовского произвола, я не уверен, сумеешь ли ты подняться над собой... Ты скорее всего будешь оплакивать не отца – чапан, который я у тебя отнял.

– За что ты так? Не торопись с выводами, отец. Я уже сумел перешагнуть через себя. Главным образом из-за того, чтобы завтра не перешагивать через других. На мне нет твоего чапана, но есть твоя шкура, которую никто не снимет – разве что вместе с душой. И еще у меня твоя фамилия...

– Которую ты у меня украл. Только я имею право называться Момышулы, то есть сын Момыша, деда твоего: тебе положено быть Бауржанулы.

– Ну да-а-а! Какой же дурак по доброй воле от такой фамилии откажется? Нас-то всего трое Момышулы в Казахстане, а значит, в Союзе и во всем мире.

– Тоже мне – редкий металл. Мой сын от скромности не умрет. Так знай же: пока я жив, это только моя фамилия, а ты просто пишешься Момышулы. Чтобы она стала и твоей тоже, ты должен очень много сделать для людей.

– Понимаю, отец. Каждый должен делать свое имя сам.

– Не в имени, собственно, дело, в добром имени, – устало подытожил ата. – Идиёт ты все-таки еще.

Слово “идиот” ата выговаривал на свой манер.

– Забери свой мундштук!

– И все-таки твой Олжас недодал мне стихи, – упрямо сказал, поднимаясь, Бахыт.

– Не бойся, он в долгу не останется. Дай срок, сполна все заплатит. Плещеев шесть лет не мог стихи писать...

– Если ты первым его увидишь, спроси, над чем он работает, ладно?

– Обязательно. Сын мой, скажу, интересуется, отчего не слышно копыт его аргамака. Вообще, скажи уж от меня, я устал.

– Дочка, – повернулся он ко мне, – забери его, пожалуйста.

– Я и сам уйду. Спасибо за мундштук, отдыхай.

Мы потихоньку вышли. Бахыт ушел к себе, а я присела на диван, листая книгу Олжаса, и видела его другим. Вникала в стихи, слышала горький запах полыни, гладила ковыльные волосы ребенка и смотрела на молчаливые угрюмые курганы, над которыми кружили могучие гордые орлы.

* * *

– Дочка, сюда иди, пожалуйста, – раздался голос ата. – В нижнем ящике стола найди папку с надписью “А. Бек”.

Ержан в это время по своему обыкновению играл возле кровати в ногах у ата, из пустых спичечных коробков выстраивал какое-то сложное сооружение. Надо сказать, мой сын давно отвоевал себе это “теплое место”.

Когда я рылась в ящике, он подбежал с просьбой:

– Мама, можно, я один цветок из вазы возьму?

– Не надо, так он быстро завянет, а в воде долго еще красивым будет, – ответила я и спокойно продолжала поиски.

Через некоторое время послышался грохот разбиваемой посуды. Воскликнув непроизвольно “Суюнши!”, прибегаю туда с папкой и вижу лужу воды на полу, разбросанные гвоздики, осколки вазы и Ержана посреди всего этого великолепия – панически таращущего глазенки, сияющего что-то вымолвить в свое оправдание. Прежде чем взяться за уборку, я отнесла материалы ата. Вернулась, а мой мальчик как стоял, так и стоит на одном месте с понуро опущенной головой. Вышел ата, и в его глазах мелькнуло глубокое сострадание к внуку.

– Ничего страшного, ты ведь не нарочно, – постаралась успокоить я Ержана. И ата протянул ему руку:

– Пойдем пока на балкон, пусть мама тут уберет. Тот уже с радостью повернулся, чтобы уйти, но потом, будто вспомнив что-то, подошел ближе и повинулся, прижав правую руку к груди:

– Извини меня, мамочка.

Я подивилась этому жесту – более чем патриархальному для ребенка, – но только сказала как можно мягче:

– Ладно, иди, ничего.

Ержан убежал вслед за дедом на балкон, я направилась за метелкой и в дверях столкнулась с ата.

– Это ты правильно поступила, – убежденно прошептал ата, наклонившись, чтобы не услышал виновник происшествия. – Очень хороший обычай.

Какой там обычай! Просто привычка. Мама покойница, если в доме билась посуда, всякий раз при этом непременно восклицала “Суюнши!”, что означает подарок к радостному известию; если проливалось что-нибудь нена-

роком – “Шашу!” Этот возглас сопровождает народную традицию осыпать молодоженов, например, сладостями и деньгами, чаще серебряными монетами, чтобы жизнь молодых была такой же сладкой и протекала в достатке.

Осколки посуды, разбитое зеркало и тому подобное издавна у многих народов считалось дурной приметой. И таким образом казахи старались как бы отвести беду хорошим, ясным словом. Эта традиция впиталась в меня с детства, и до сих пор при случае я скрашиваю подобные домашние “стихийные бедствия” восклицаниями типа “суюнши” или “шашу”. У меня, думаю, это просто привычка.

Куда более пристрастные почитатели народных обычаев – гости моего ата. Кто его ношеную рубашку выпросит, кто оброненный мундштук к рукам приберет, кто носовой платок под шумок себе припрятет. Разные у людей причуды. Ата, например, уезжает куда-нибудь с полным чемоданом, а возвращается с пустым – на месте или по дороге народ всякую его мелочь дорожную или из одежды что-нибудь на память, на добрый знак растаскивает.

“И что за человек, – думаю я иногда с тихим укором, – ни вещей приличных, ни одежды, ничего более-менее материально осязаемое в этих руках не держится: все как песок сквозь пальцы...” А однажды без задней мысли ляпнула:

– Многие обычаем прикрываются, а на самом деле хотят за счет других поживиться.

Ата изумленно вскинул брови и осуждающе покачал головой.

– Хороший обычай только от хороших устремлений рождается. В человеке неистребима потребность в добром, светлом, он верой и надеждой на свете живет – так что же в том плохого, если он по-своему к светлому тянется... Не мне и не тебе одним махом эту ниточку рубить. Вот это будет кощунственно, бесчеловечно.

Тем более, что большинство народных традиций, если вдуматься, глубоко безобидны и по-детски беззащитны: ведь аргументов нет, а есть только надежда. Глупо от обычая бежать, если он не противоречит принципам человека и не приносит ему зла.

Народ знает, какие традиции хранить.

К примеру, “шилдехана” (праздник новорожденного), “тусау кесер” (ребенку, который учится ходить, торжественно разрезают импровизированные пути), “кыркынан шыгару” (отмечают сорок дней со дня рождения человека

– до этого срока его предпочитают не показывать окружающим). У истока этих народных праздников – чистое, искреннее начало.

Подумай: мой брат делится со мной на таких тоях своей радостью, счастьем. Разве я или ты можем отказать ему в этом праве? Нет.

Хорошее есть хорошее: не дело, дочка, выискивать ржавчину там, где ее нет.

Я крепко-накрепко завязала в сердце узелок мудрости из уроков ата: материальное, вещи ничто по сравнению с искренними, добрыми человеческими отношениями – пусть и на такой неосязаемой, зыбкой почве.

Расскажу про один из памятных мне визитов.

...Зазвенела веселая трель звонка.

На пороге, прижимая к груди ребенка, стоял средних лет мужчина, за ним – приятная большеглазая женщина примерно того же возраста. Ясно, что это к ата. Проводив гостей в зал, прошу их подождать и иду в кабинет. Примет их ата или нет, неизвестно. Полчаса назад приходил какой-то парень, высокий, солидный, с толстым портфелем – сказал, что “из академии”. О чем они говорили, не знаю, но только через десять минут беседы с ата тот выскочил из кабинета и почти убежал. Так торопился, что даже со мной не попрощался. “Верно, натворил что-то”, – решила я и, захватив пиалу чая, отправилась к ата разузнать подробности.

А он чернее тучи, лучше не рисковать. Я тихонько поставила пиалу на стол и ушла.

Бывает такое, что человек места себе не находит – расстроен, а тут еще гости не ко времени: вдруг попадут под горячую руку и тоже расстроятся ни за что ни про что.

– Ата, к вам гости.

– Никого не надо, – хмуро отмахнулся он. Все еще сердится.

– С ними маленький ребенок, – не отставала я.

– А-а, ребенок? Пусть зайдут, – неожиданно быстро согласился он.

Гости поздоровались, сели. Ата молчал, пытливо и остро смотрел на супругов. Те смутились, опустили головы.

– Как зовут этого большого человека? – серьезно спросил он чуть погодя. В этом тоже проявился глубокий – не напоказ – человеческий такт нашего ата: люди впервые у нас, и без того чувствуют себя неловко,

и спрашивать их в упор о том, кто они, зачем пришли, по какому делу, согласитесь, неуместно.

– Ее зовут Жулдыз, – радостно подхватил ага. – Долгие годы она была для нас недостижимой звездой на небосклоне, потому и называли так. Жулдыз пришла, чтобы засвидетельствовать вам свое уважение, – голос ага окреп, он чувствовал себя много увереннее прежнего.

– Вот как? Ну давай знакомиться ближе, – и ата протянул руки к девочке. А она, кажется понимая, что речь идет о ней, тоже подалась вперед и вопросительно захлопала ягодками-глазками. Дети вообще, как я успела заметить, и совершенно незнакомые в том числе, не боялись ата, его жестких усов и нарочито грубоватого порой голоса. Вот и Жулдыз преспокойно устроилась на коленях “батыра”, к вящему его удовольствию.

– Она все понимает и чувствует, – довольно вставил отец девочки. Его жена сияла белозубой улыбкой и молча кивала, как бы целиком выражая свое согласие с мужем.

Мне показалось неприличным более торчать в гостиной, к тому же надо было накрывать на стол. Я уже почти управилась с кухонными делами, как подошла апай с ребенком. Взглянула ей в лицо и обмерла: сама улыбается, а на щеках светлые дорожки слез. Одной рукой ребенка к себе прижимает, а другой слезы вытирает. У меня сердце сжалось – не могу спокойно наблюдать, как взрослый человек плачет. Взяла девочку, пусть мать в себя придет. Апай сполоснула лицо, поправила платок на голове.

– Не осуждай меня, айналайын, от радости это. – А у меня и в мыслях не было осуждать эту приятную женщину. – Мы уже и не надеялись ни на что, половину жизни прожили, как это дитя на свет появилось. Пришли получить благословение батыра. Чтобы быть мне прахом у его ног! Как полагается, обернул дочку своей рубашкой, благословил ее самыми светлыми словами. Уважил нас, простых людей...

Я слушала ее взволнованную, сбивчивую речь и как будто вместе с ней переживала позднее, долгожданное счастье материнства. Какие чувства должна испытывать женщина, впервые поцеловавшая свое дитя после сорока своих лет – после двадцати долгих лет надежды и ожидания?..

Гости посидели около часа – за дастарханом и разговором время быстро пролетело – и засобирались домой. Ата посмотрел на меня, показалось, со значением и с ударением на первом слове сказал:

– Дочка, не отпускай свою сестренку Жулдыз с пустыми руками.

Казахи говорят: “К приходу хорошего человека мука в доме кончается”. Так и я: заметалась по комнате – хоть бы безделушку какую новую для дитяти найти. И то нехорошо, и это как будто слишком вычурно. Уже расстроилась было – стыдно перед ата и перед гостями, да и не принято у нас так, без подарка, маленьких гостей отправлять. Слышу, а гости уж у порога шумят, скоро уйдут. Тут я вовсе пришла в отчаяние. Но вдруг открывается дверь и в проеме ее показывается голова ата. Он молча касается руками мочек ушей и, ни слова не говоря, исчезает. “Что бы это значило? – стала напрягаться я. – Может, у меня с ушами что-то не в порядке?” Трогаю себя за мочки ушей и обнаруживаю серьги. Вот что имел в виду ата! Я так обрадовалась, что почти галопом устремилась в прихожую. Хорошо, что они еще не ушли: плащи надевают.

– Апай, это для Жулдызжан, – протянула я маленькие, круглой формы серьги с рубином.

– Спасибо тебе большое, айналайын, пусть обойдут тебя все болезни, оставь себе.

– Что ты, милая, мы и без того неслыханной чести удостоились, – растроганно добавил ага.

– Бери! – прикрикнул ата. – Теперь-то они не должны отказываться. – Моя дочка – неплохой человек! От чистого сердца дарит. Бери.

Невозможно описать, как мне было приятно услышать из уст ата, что я “неплохой человек”...

К сожалению, не узнала имен и фамилии тех людей – не думала, что буду описывать нашу встречу. Девочке тогда было не больше трех-четырех месяцев. А с того далекого 26 ноября 1973 года минуло немало месяцев и событий.

...Бахытжан вышел, когда супруги с ребенком ушли. Он, по своему обыкновению, коротко с ними поздоровался и скрылся в комнате. Пока мы общались, оттуда доносился непрерывный стук пишущей машинки. Когда он так стучит, никто из нас не смеет отвлекать его на постороннее. Кроме того, Бахытжан вообще трудно сходитесь с гостями ата – и то сказать, ведь их очень много, – за исключением самых близких, давних его друзей.

Не остывшая еще от недавних впечатлений, окрыленная похвалой ата, я вдохновенно рассказала мужу о подробностях этого визита. Он же, к моему скорбному недоумению, стал почему-то хохотать.

– Вот будет славно, если девчонка после ваших напутствий окажется похожей лицом на тебя, а характером – на твоего свекра. То-то народ перепугается!

– Думаешь, о чем болтаешь! – резко оборвал его ата. – Ни прелести моего характера, ни внешность Зейнеп тут ни при чем. Они унесли с собой нашу общую веру в счастье ребенка, и пусть тебя не волнует форма – чем сопровождалось рождение этой веры, это не главное. Я бы перестал уважать себя, если бы оттолкнул людей – ведь это все равно, что в протянутую руку голодного плюнуть. Понимаешь? Зимой 1944 года мы с твоей мамой носили тебя, если хочешь знать, к престарелому Джамбулу, и он, великий, заворачивал тебя в полу своей рубахи и дал тебе, неучу, свое святое благословение.

Подумай, каково бы мне было, если бы он тогда от нас отвернулся? Я ведь тогда, как и эти люди, шел к аксакалу со своей единственной хрупкой надеждой – чтобы свет его личности и мудрости коснулся и тебя, моего сына. Чтобы частичка его величия, пусть самая крохотная, перешла к тебе, моему сыну.

Ты ведь не так глуп, чтобы не понять всего этого. Знаю, прикидываешься, как дите неразумное – отца дразнишь. Запомни, сын: в один из дней и меня не будет, а обычаи людей, дух народа останется.

Сегодня ата нет среди нас. Но порой возникает ощущение, что он жив, что через минуту он подойдет, заговорит грубовато и ласково, вразумит и утешит. К нам в дом не перестают ходить его друзья, искренние и неискренние его почитатели, и веревочка, связывающая нас с ата и окружающими, не обрывается.

Люди хотят посмотреть на сына и внука любимого батыра. Мы, как и прежде, продолжаем соблюдать принятые у нашего народа традиции: каждый, кто входит в дом гостем, обязательно должен отведать хоть маленький кусочек хлеба с нашего дастархана.

Я с пониманием наблюдаю за тем, как взрослые люди с каким-то почти детским трепетом садятся в кресло, где сидел ата, гладят поверхность его рабочего стола. Они верили в его большую честную душу, он был для них не бог – реальный живой человек, как и все мы, сотканный из убеждений, ошибок и страданий сильный человек. Сердце мое переполняется благодарностью к этим людям: за то, что они так трогательно суеверны и вместе с тем столь последовательны, постоянны в своей привязанности к ата.

Наш ата и после смерти продолжает вселять в людей веру в жизнь.

Конь заржал где-то в глубине столовой, простучал копытами мимо кухни, завертелся смерчем в передней, выскочил в кухню к газовой плите – разругавшиеся щеки, блестящие глаза, – дрыгнул ногой и стремительно помчался вдаль, в сторону дедушкиного кабинета.

“Ребенок растет, ему нужны простор и движение”, – только успела умиленно подумать я, как из кабинета ата донесся грохот, сопровождаемый истошным воплем. Я побросала все вилки и ложки, которые вытирала, и, не помня себя, с колотящимся сердцем бросилась на крик сына.

– А-а-а! – ревел Ержан на полу, подняв залитое слезами лицо кверху.

– Встать! – прогремел с кровати такой грозный и суровый голос, что я сама вздрогнула и непроизвольно отшатнулась.

Продолжая орать, но уже на тон ниже, ребенок подтянул колени к подбородку и нехотя поднялся.

– Не смей плакать, – эти слова прозвучали как приказ, не подлежащий обсуждению. Плач прекратился как оборванный. Завидев меня, хотел спастись бегством, но на грозный крик “Не двигаться с места!” остановился на полдороге как вкопанный. И только тер крохотным кулачком глаза и глотал слезы, не в силах проронить ни слова.

Сердце у меня разрывалось на части: подойти к своему ребенку, чтобы успокоить, боюсь и уйти не смею. Так и осталась на пороге, прислонившись спиной к косяку двери.

– Подойди сюда, – сказал ата Ержану. Уже не так грозно, но все еще холодно.

Мальчик опасливо, боком, подошел ближе.

– Я думал, что у меня внук – будущий солдат. А солдат разве плачет? Во время боевых учений солдат сотни раз падает и сотни раз поднимается. Представь, если бы он всякий раз при падении ревел? А? Зачем нашей армии нужны плаксы-солдаты? – Затем, выдержав внушительную паузу, продолжал: – Тебя разве толкнул кто-то? А? Или ударил? Нет! Сам упал, сам и реवेशь белугой.

– А я маленький, – сердито буркнул Ержан, топнув при этом ножкой. Сам-то с муху, а тоже – характер!

– Ну и что? Падать умеешь, а подниматься не научился? И не болит

у тебя ничего давно, ну и чего реветь тогда? Ждешь, когда тебя пожалеют, приласкают да конфеткой утешат?

– Конфет не надо, у меня зубы болят, – так же хмуро отвечивал Ержан.

– Ну не конфету, так поцелуй в щечку, – махнул рукой папа. – Все равно стыдно. Будущий солдат расквасился как лягушонок. Упал, помощи не жди, сам поднимайся, как бы тяжело ни было – ведь ты мужчина.

– Но ведь я сильно пузом ударился, – просяще оправдывался Ержан, шагнув чуть ближе к своему дедушке.

– Знаю, что больно. Надо было силы не на это тратить, а на то, чтобы встать поскорее, как солдаты делают. Больно, а ты терпи, не подавай виду и не обращай внимания – тогда быстро пройдет. А то ведь это такая хитрая штука, боль: чем больше с ней носишься, тем сильнее она разыгрывается. Поэтому, случись тебе упасть, побыстрее вскакивай, не тяни, понял?

– Понял.

– Это хорошо, что понял. Ну-ка, садись вот сюда на кровать, к деду поближе, и расскажи, почему ты по дому бегал, или гонялся за кем?

– Не-е-ет, я же ханшу из заколдованного дворца спасал, мы с ней вдвоем на одном коне скакали, – я, не сдержавшись, прыснула. Мельком взглянув на меня, ата укоризненно покачал головой, нахмурил брови и махнул рукой: иди, мол.

– А зачем тебе ханша?

– Как зачем? – искренне изумился сын. – Я на ней женюсь. Будем в кубики вместе играть, и дети наши с нами тоже будут играть в кубики, – обескураженный недогадливостью дедушки, пояснил он.

– Э-э-э, значит, целовать мне скоро правнуков. Ну что ж, это дело. Но ты учти, ханские дочери белоручки, к полезному труду не приучены, толком ничего не умеют: ни сварить, ни постирать, ни убрать. А я в грязном доме жить не буду, придется тебе без меня жить.

– Ата, я сам все делать буду. У меня дворец засверкает.

– Вот как? Значит, ты с классовым врагом во дворце жить собрался, когда людям жилья не хватает? Один, без нас?

– Не-е-ет же, там все люди будут жить, дворец же большой, я и тебе одну комнату выделю.

– Спасибо. Только я тебе все самому делать не советую, ханшу ставляй.

– Вы же сказали, она ничего не умеет.

– Научим. Перевоспитаем, чтоб не хуже других была, – уверенно сказал ата.

Настроение у Ержана стало совсем приподнятым.

– Ата, можно, я еще раз во дворец съезжу? – попросил он.

– Зачем? – удивился дед.

– Там казна царская осталась, золото, серебро, хрусталь – всего видимо-невидимо. Съезжу и привезу сюда.

– Настоящие мужчины на твою казну даже смотреть не захотят. И еще рисковать ради нее не хватало. Это, знаешь ли, не доблесть, а жадность. Кому богатство нужно? Мне не нужно. Маме твоей тоже не нужно. Вообще настоящим людям всей этой мишуры не надо для жизни. Они на все это золото и смотреть не станут. Знаешь, внук, не стоит ради этого золота и другого богатства головой рисковать попусту да время убивать. Это не храбрость, а алчность. Жизнь мне дорога, но если нужно отдать ее за народ, за Отчизну, тогда я ее не пожалею. А за золото ее отдавать не стоит, ерунда все это. Нашим людям дармовое золото не нужно. Они его честным трудом сами зарабатывают. К тому же у нас нет бедных. Попрошайки разные есть, но они просто работать не хотят, ленятся. Дармоеды, одним словом, понял?

Люди не примут твою подачку! Получать незаслуженные блага – это оскорбительно. Надо пролить пот, натрудить руки, тогда хлеб вкусен. Нашим людям нечестного не нужно. Это золото твой хан нажил на крови и слезах бедняков. У нас никого не прельщает легкая нажива, а тот, кто поддается, тот не наш, не советский. И в нашей стране нет нищих, никто с голода не умирает и не протягивает руку за оскорбительной милостыней. Есть еще такие, кто не хочет работать, обедает других, крадет у больных и у детей, обворовывает государство, ищет легкой и сладкой жизни, но таких мало, и все их презирают. Это лентяи, паразиты и тунеядцы. Понял?

– Понял. Ханша тоже ничего не делает, и я ее презираю и не женюсь на ней.

– Вот это да! Да ты, оказывается, непостоянный парень.

– Ханская дочь ест много сладкого. Лучше я на Жанатке поженюсь.

– Убей меня аллах, если я хоть что-нибудь понимаю! – развел руками ата.

– Что тут непонятного? Вчера Славкин брат приехал на машине с лентами и куклами. Из машины вышла тетя-невеста с белой ватой на голове. Он ее схватил на руки, как будто она еще не умеет ходить, и понес на четвертый этаж. Все стали петь и смеяться, а у него лицо было красное и жилы на шее вздулись. Ты не слышал, как он сопел?

– Нет, этого я не слышал. Только у невест на голове бывает не вата, а фата. Выходит, Славкин брат жену привез? Но какое это к тебе имеет отношение?

– А как же, ата? Славкин брат такой большой, но и то замучился с этой тетей, пока тащил ее наверх. А мне же ханскую дочь не до четвертого, а до седьмого этажа нести придется. А если я ее уроню или упаду сам? Это же трудно?

– Да, нелегко. Но ты уже сейчас копи силу для ответственного часа. От царевны не отказывайся, сделаем из нее человека. Ты пока занимайся гимнастикой, закаляйся, умывайся холодной водой, сам свою постель застилай, приучай себя к будущим трудностям. Не ленись, вставай по утрам сразу, как только мама разбудит. Уши мой и зубы чисть. А потом с веселым лицом садись есть кашу и не капризничай.

– Но ведь ты сам мало ешь, – недоверчиво посмотрел на него внук.

– Я уже не расту, а ты растешь, и тебе нужно много каши. Принцессу ты уже презирал. Хотя с ней сразу каши не сваришь, но заварить можно. Расхлебывать тоже не хочешь. Подруг себе нужно выбирать не по весу, а по мысли и по духу. А ты уже опечален тем, что тебе ее придется нести на руках до седьмого этажа. А этого тоже мало, внук. Надо уметь всю жизнь пронести на руках любимого человека. Я этого не смог. Не всем это удастся, – печально вздохнул ата. – Не по весу выбирай, это же не корова – человек.

* * *

Я выскочила из комнаты Бахытжана и в два шага оказалась в кабинете ата. Стараясь казаться как можно более спокойной, юркнула в кресло и замерла там, чуть дыша. Ата лежа читал. Взглянув на меня поверх очков, как ни в чем не бывало спросил:

– Выгнал?

– Да.

От этого человека ничего не скроешь.

– Гм-м, – только и произнес ата и снова углубился в чтение.

Даже не поинтересовался, почему выгнал. Впрочем, он, как правило, предпочитал не вмешиваться в наши сугубо обоюдные конфликты. Если спор касался литературы, музыки или еще какой-либо сферы искусства, ата умел корректно разрешить его, высказав при этом свою точку зрения – выразив свою, незаемную позицию. Но если конфликт почему-то вспыхивал вокруг семейно-кухонных, “сермяжных” вопросов, он даже бровью не шевелил. И это удивительным образом остужало наш пыл.

Сейчас ата тоже, по-видимому, подумал, что у меня с его сыном произошел традиционный внутрисемейный конфликт. Чтобы ненароком не ввести ата в заблуждение, решаю подробно изложить суть возникшего спора.

– Ата, Бахыт написал рассказ, прочел его мне. Главная героиня – женщина. На первый взгляд, и умна, и хороша собой, но говорит-то как! Слишком заумная, усложненная речь, и слова все какие-то гладкие. И не похожа она оказалась на живую женщину, признаться, больше на самого Бахыта тянет, особенно когда он собственным красноречием упивается, а я, недалекая, у него в слушателях. Высказала ему свое мнение, а он мне бумаги с рассказом в лицо швырнул, сказал, что я ничего не понимаю, и что, “раз такая всезнающая”, сама бы писала. Пусть пока остынет, я там мельтешить не стану, а у вас пока посижу.

– Полагаешь, мой кабинет безопаснее? Но ведь он и сюда сейчас придет, – с каким-то намеком изрек ата.

Я растерялась. То ли уйти, то ли остаться. Везет же мне на такие ситуации!

И верно: открывается дверь, и в комнату угрожающе медленно входит Бахыт. В руках ворох бумаг.

– Успела наябедничать? – первым делом поинтересовался он.

– Она не ябедничала, рассказывала, – вступился за меня ата.

– Сама писать не умеет, а еще других учит, – горячо начал мой супруг. – В пух и прах меня раскритиковала, критик великий нашелся. Пусть сама напишет, а я посмотрю, что из этого выйдет. Все, я больше ручку не возьму. Чем так мучиться, пот проливать, а потом оскорбительные замечания

переваривать, я лучше это дело совсем завяжу, – разошелся Бахыт. – Лучше я в теплой шубе ночным сторожем буду. Ата усмехнулся уголками губ.

– Где уж тебе ночным сторожем.

– Это почему? – вскинулся Бахытжан.

– Первое: ты засоня и ленивый. В первую же ночь не то что содержимого склада, который охранять поручат, но и тулупа с ружьем лишишься.

Второе: каждый хорош на своем месте. К тому же вряд ли тебя сторожевая вакансия ждет-дожидается. Третье: не уподобляйся мотыльку, не порхай, чуть тебя тронут, с места на место.

Смотрю – наш возмутитель спокойствия задумался, поостыл. Но то, что я посмела его – его! – критиковать, все еще никак не укладывается у него в сознании.

– Возможно, ты прав, – гнул Бахыт свою линию, – но откуда ей знать психологию моих героев?! Я их создаю, я в них душу вкладываю – значит, какими хочу, такими и изображаю. Какое ей дело, я – автор. Может, я их на себя похожими сделать хочу, а Зейнепка свой курносый нос презрительно задирает.

– Вот как? – ата сорвал укрепленные на макушке очки. – В боги метишь? Вот тебе герои и мстят. А если они не хотят на тебя быть похожими? Загнал их, подобно стаду овец, в тесный сарай своего воображения – думаешь, им там сладко? Ты же не для себя пишешь, для читателя. Зейнеп твой первый читатель и первый критик, объективный, кстати: тебе как раз бесполезно ее послушать.

Почувствовав в лице ата столь авторитетную поддержку, я осмелела.

– У твоей героини ни слова, ни поступки на женские не похожи. Я женщина, мне виднее.

Тут мой супруг как огонь вспыхнул.

– Охо-хо! Какая глубокая оценка! Ты не женщина, а отпрыск шайтана.

Я мельком взглянула на ата. Один вздернутый кверху ус подрагивал в сдерживаемом смехе. Наверно, боится меня обидеть. Пусть смеется, я и не подумаю обижаться: Бахыт сгоряча ляпнет, потом сам же переживает – я знаю. Так что “отпрыск шайтана” в этой ситуации вполне за “айналайын” сойдет, и я лучше промолчу. Ну а с другой стороны, как ему не волноваться и не выступать: ведь свое произведение – как дитя родное, за него, плохое ли оно или хорошее, не грех оскорбиться.

– Я твой великий рассказ не читал, – протянул ата руку к папиросе. – О чем он, не ведаю. Но то, что женщина лучше понимает женщину, верно. У них там такие психологические выверты, сам черт ногу сломит, не то что мы с тобой. Поверь мне на слово, не раз и не два на этом деле горел, – и ата, шутя, испуганно оглянулся.

– Например, – так же, в шутливо-солидном тоне, продолжал он, – можешь ли ты утверждать, что до конца представляешь себе технологию замешивания теста для бешбармака? Нет. Ни один “самый – самый” мужчина не сделает это так, как женщина. Или еще: сколько бы ты с Ержигом ни носился, материнских чувств, ее материнского счастья тебе никогда не испытать. Сколько бы вы, мужчины-писатели, ни пихали в текст междометия и восклицания типа “ох” и “ах”, изобразить полнокровное материнское чувство вам не под силу. Поэтому никогда не мешало бы тебе, сын, обращаться за помощью к своей половине. Держу пари – только выиграешь.

– Упаси аллах! У твоей снохи если одно слово спросишь, под словесным селем свои дни кончишь. Я поражаюсь, как в такой маленькой голове вмещается столько чепухи! – с патетикой в голосе заключил Бахытжан.

– Да-а, уж чего-чего, а болтать ты мастер, – задумчиво произнес ата после недолгой, но впечатляющей паузы, чем ошеломил настроенного на активную дискуссию сына.

– Знаешь, папа, – обидчиво подытожил он, – нехорошо ее моим противником делать.

От меня отстал, теперь за отца взялся.

Тут ата не выдержал, рассмеялся в голос. Потом, решив, видно, покончить с нашими препирательствами, протянул руку за многострадальным, изрядно помятым рассказом.

– Давай свое творение, посмотрю.

Бахытжан с готовностью вручил свой ворох бумаг отцу и взглядом подтолкнул меня к выходу. Мы плотно прикрыли за собой дверь и, стараясь не шуметь, разошлись по своим углам.

Позже вышел в свет роман Бахыта “Когда ты рядом”. Главный герой – женщина. Скажу не без гордости, что в создании ее образа участвовала и я.

Хоть и маленькую долю труда, но внесла. Помня наказ ата, Бахыт все-таки обращался ко мне, советовался, хоть и скрежетал при этом зубами. Он пережил это “унижение”, а совет ата сыграл свою добрую роль.

* * *

В кабинете ата на видном месте висит портрет Мухтара Ауэзова. Хорошая, мягкая улыбка, понимающие лучистые глаза. Встречаешь его взгляд, и на сердце теплеет, словно с хорошим человеком поговорил. Я замечала, ата частенько задерживал взгляд на портрете. В нем, в этом взгляде, прочитывались вопрос и особое, как мне казалось, сугубо личное отношение. Почему вопрос? Быть может, он делится с изображением какими-то глубокими переживаниями, сокровенными мыслями, которые не смог донести до великого собеседника в короткой, как искра, жизни?

Портрет подарили ата к шестидесятилетию артисты и режиссеры театра драмы имени Ауэзова. С тех пор он прописан в кабинете ата, и входящий сюда первым делом встречается взглядом с писателем-классиком, как бы здоровается сначала с ним, а потом с поодаль лежащим на кровати ата.

...В тот день мы с ата вдвоем разбирали, приводили в порядок письма. Сначала мы не думали этим заниматься – ата искал одно письмо от академика Алькея Маргулана, замечательного ученого, и, не обнаружив его в столе, попросил меня порыться в сундучке, где хранилась его давняя многочисленная корреспонденция. Как обычно бывает, только копни, а там с головой залезешь. Так и я: все перерыла, создала хаотический беспорядок, сделала себе дополнительную работу – теперь опять нужно в порядок приводить. Я раскладывала письма по алфавиту, ата руководил. Ержан рядом возился с игрушками. Тихо сопел себе в две дырочки и вдруг неожиданно спросил:

– Ата, а этот дяденька ваш папа, да? – и показал на портрет Ауэзова.

В комнате Бахытжана висят портреты его родителей, на них он неоднократно обращал внимание сына – вот сын и решил, по-видимому, что стены должны украшаться изображениями родителей.

Ата изумленно полуобернулся и, увидев, что торчащий пальчик малыша указывает на портрет писателя, рассмеялся.

– Это великий сын народа. Большой писатель, который... – начал было пояснять ата, но Ержан его обрадованно перебил:

– А-а, он тоже, оказывается, Момышулы.

– Почему? – несколько ошарашенно выговорил ата, брови его полезли вверх.

Оправившись от смущения, торопливо и строго, с редким для него нахмурением в голосе сказал:

– Это никакой не Момышулы. Это – Мухтар Ауэзов.

– Вы же сами сказали, что он сын (“улы” по-казахски “сын” и “великий”). Значит, и он тоже Момышулы, – не унимался Ержан.

– Ереке, – серьезно, после непродолжительной немой сцены, приступил ата к “разъяснительной работе”. – Во-первых, стыдно дожить до таких лет и не знать имени знаменитого писателя. Но тут больше твои непросвещенные родители виноваты. Во-вторых, должен напомнить тебе, что Момышулы означает буквально сын Момыша. Что касается слова “улы” по отношению к Ауэзову, то тут оно означает буквально великий, очень умный, мудрый, исключительный, широкий, притягательный, излучающий свет, словно солнце.

Переведя дыхание, ата пытливо всмотрелся в лицо внуку – дошло ли что-нибудь до пятилетнего гражданина? А тот похлопал глазами и ближе придвинулся к дедушке, напряженно-внимательно всматриваясь в его лицо. Как это – два одинаково звучащих слова имеют разный смысл. И где уж такому набору эпитетов уместиться в маленькой голове.

– А почему два одинаковых “улы” разные? – с пристрастием продолжал допрашивать внук.

– Ты, оказывается, неисправимый похвальбишка. Я же только что тебе все объяснил, а ты опять за свое – все, что получше, к себе поближе тащишь, – упрекнул мальчишку ата.

– Я не похвальбишка, – обиженно надулся Ержан. – Я вправду не знал. Зато теперь знаю: Мухтар-ага очень хороший, никого не обижает, сам умный и не обзывается.

– И на том спасибо, – кротко заметил ата, конспирируя свою обиду на критику в подтексте. – Вырастешь, будешь лучше понимать деда.

– Ладно, ата, обязательно буду, – горячо пообещал мальчик, в свою очередь не уловив дедовского подтекста.

И с чувством исполненного долга вернулся к своим игрушкам.

– Какие проблемы решаете? – подошел Бахытжан. У меня, признать-

ся, чесался язык, но ата, как всегда полнее и красочнее, описал свой маленький инцидент с внуком, чем немало развеселил сына.

— А ведь Ержан в какой-то степени бесспорно прав. Я действительно воспринимаю Мухтара-ага как духовного отца и с таким чувством жил все годы. Правда, об этом я не кричал на каждом перекрестке — ну, да у каждого есть свои заповедные уголки в душе, — бросив на нас исполненный скрытого смысла взгляд, ата потянулся к сигарете.

Бахыт заинтересованно насторожился — опыт его диалогов с отцом подсказывал, что рассказ предстоит не из рядовых. Меня ждали многочисленные нескончаемые дела на кухне, но я махнула на них рукой: лучше потом недосплю, чем сейчас недослушаю. Ведь из Бахыта, как известно, после ничего не вытянешь.

— До войны я знал Мухана заочно, — начал ата. — А на фронте, на передовой получил вдруг от него первый том “Абая”. И знаете, это было тогда для меня не только признаком проявления внимания известного писателя, но теплая, родная до боли восточка с родины. Моя душа пела — строки романа звучали домброй, кюем. Вам сейчас трудно понять мое тогдашнее состояние: закрою глаза — а вокруг ни солдат, ни разрывов, только степь, зной, скакун над горизонтом, аксакал рядом что-то негромко мне рассказывает. Мне чудились пряные запахи родной степи и клекот степного орла в поднебесье. Волны тоски по родине затопили сердце, в душе властно зазвучал рокот домбры. Возможно, вам будут не совсем понятны мои потрясенные чувства, но помните, что я находился в постоянном разрушительном огне, от которого месть спеклась в сердце, глаза застыли от ненависти к врагу, и каждый день, каждый час мои боевые друзья закрывали глаза, уходили от меня навеки, завещая мне то, что не успели сделать. Но сердце человека даже на войне, в боях, в крови не может всегда оставаться каменным. Вот почему так всколыхнулись мои чувства. Вы можете не понять, но это правда. Мне вдруг остро, до боли захотелось посидеть в мирной тиши, где не свистят пули, не рвутся бомбы и снаряды, не горят города и деревни, не плачут женщины и дети, послушать у мирного очага мудрые речи наших старцев.

Я затосковал по аулу. Как мне хотелось ласково гладить натруженные, сморщенные руки бабушки в белом, как кипень, кимешеке. Не однажды возникало почти физическое ощущение того, что я сижу с ней в юрте у очага,

глажу ее темную морщинистую руку, смотрю на ее доброе лицо. Нет, эта книга нисколько не отвлекла меня от воинского долга перед Родиной, не расслабила меня. Наоборот, она придала мне сил, еще больше закалила сердце, к решимости прибавила решимость, сделав еще более глубокой ненависть к врагу. Фашисты стерли радость с наших лиц, затоптали простое человеческое счастье, вынудили взяться за оружие. Они лишили меня возможности быть со своим народом.

Ата внимательно посмотрел на кончик потухшей сигареты, потом на нас. Бахыт со смиренным выражением на лице сидел на подлокотнике кресла. Помолчав, ата продолжил:

– Я написал ему длинное письмо. Но, конечно, не о своих чувствах, красот разных не описывал, а прямо-таки деловую, конкретную и очень самонадеянную рецензию дал. Вскоре получил ответ. Так завязалась переписка. Увиделись мы в конце декабря 1943 года. Я вышел из госпиталя, приехал на отдых в Алма-Ату. Мука встретил меня по-братски, крепким объятием.

Потом еще больше сблизились. После первой встречи мы вскоре уже почувствовали друг к другу такое доверие, что начали делиться самым сокровенным. Я намеревался, воспользовавшись отпуском, привести в порядок все свои разрозненные тетради, отрывочные записи, которые делал на фронте между боями. Ох, нелегко же это далось! Пришлось заново переживать два с половиной года войны, снова эти долгие напряженные дни, окружение, страх за солдат – все пропустить через сердце. Товарищи из Центрального Комитета мне на этот случай отдельный кабинет выделили – работай. И вот однажды приходит ко мне Мука. Я завален бумагами, тетрадями, картами. На полу расстелены две большие, как скатерти, схемы.

– Это ты сам чертил? – поинтересовался он.

– Да, рабочие карты я для себя сам рисую (ата был на редкость замечательным картографом. У нас дома хранится кипа созданных его рукою военных карт).

– Япыр-ай, а? – только и восклицал он время от времени, покачивая головой: не верит.

Тогда я взял карандаш и со словами “Мука, смотрите сюда” вывел две три обозначительные линии. Если человек, решивший без помощи линейки провести четкую прямую линию, начнет вести ее медленно и старательно,

высунув язык, то его линия непременно станет корявой и извилистой, как кривая стрела. Такая стрела никогда не полетит прямо, умчится куда-нибудь в сторону и ни за что не попадет в цель. Другое дело, если человек решительно проведет свою черту, смело, вот так! – с этими словами, пользуясь локтем, как циркулем, я стремительно провел карандашом еще одну черту. Сразу вслед за этой линией я провел вторую, которая легла строго параллельно первой.

– Это замечательно ровно, – показал писатель на прямую линию. – На твой характер похожа, вот так же напополам и разрежет.

Мы оба смеемся: я воин, он писатель. Затем я рассказываю по картам о некоторых боях под Москвой, о путях-дорогах Панфиловской дивизии. Потом он спросил, когда думаю закончить работу. Велико же было мое изумление, когда он снова пришел через неделю – к назначенному мной сроку.

– Ты извини, что без разрешения я о твоих схемах Канышу Сатпаеву рассказал. Понимаешь, мы о войне знаем одну девятую часть, а ты девяносто девять. Надо, чтобы ты рассказал нам подробно о войне, восстановил по картам живые бои. Это будет документально и подлинно. Соглашайся. Все мы – писатели, деятели искусств, ученые – хотим узнать побольше о войне. Значение услышанного от тебя о тех боях, которые ты видел, в которых принимал участие, которыми руководил, для нас чрезвычайно велико. Тем, кто пытается писать о войне, твои рассказы дадут особенно ценные факты. Каныш тоже просит тебя об этом.

Я согласился. Через два дня в конференц-зале Академии наук собрались слушатели. Сатпаев вначале меня представил, пояснил цель встречи. Я прочел всего тридцать шесть лекций по свежей памяти и по картам. Хорошо помню самое первое свое выступление. Надо сказать, в первом бою не так страшно было, как тогда, перед десятками устремленных на тебя цепких глаз.

После вступительного слова Каныша я, набравшись храбрости, встал:

– Расскажу о планах и задачах нашей совместной работы. Прежде всего, предстоящие лекции нужны лишь тем, кто пишет о войне. Вольнослушатели потеряют много времени. Во-вторых, прошу соблюдать строгую дисциплину – вовремя приходить и выслушивать до конца. Наша работа рассчитана на длительное время, но тем не менее надо посещать каждую из лекций. Без этого представление о данном отрезке войны будет эпизодическим, отрывочным, и я обязательно стану фиксировать “прогульщиков”, чтобы затем от-

странить их вовсе. Начало лекций в двенадцать ноль-ноль, конец – в семнадцать ноль-ноль.

Со своей стороны не гарантирую литературно грамотную, ласкающую слух речь. Предупреждаю: иногда будут проскальзывать блиндажные обороты. У меня нет также конспектов – только прошедшие через бои схемы. Не ругайте, если вдруг увлекусь и скажу что-нибудь лишнее.

План занятий был таков: первое – “Бой и его психология”, затем – “Волоколамское направление”, третье – “Зимняя кампания 1942 года”, четвертое – “Комплектование войска”, пятое – “Заключение”.

Я собралась уточнять, как будет по-казахски “Зимняя кампания”, но ата увлеченно погрузился в воспоминания, и не хотелось его прерывать.

– Аудитория моя состояла сплошь из знакомых разве что понаслышке имен. Ученые, писатели, деятели разных видов искусства. Чувствую, как они меня словно под микроскопом профессионально оценивают. Пусть, думаю, не враг же. Перед фашистом куда как неуютней.

Первый опыт нашего общения прошел далеко не гладко. Это я виноват: то кричу, как в атаке, то, как в разведке, голос приглушаю. А то еще и солдатский фольклор проскальзывает – это не ласкало слух воспитанной и культурной публики. Вижу, Мука мой волнуется, тишину налаживает. А тут еще – и получаса не прошло – с верхнего этажа звуки, будто конница по каменистой улице во весь опор скачет. Там ремонт затеяли. Тогда я выдвинул ультиматум.

– Товарищ президент, – строго обратился я к Сатпаеву. – Вы мне давали слово или тем, кто наверху стучит? Пока они там не прекратят шуметь, я не стану продолжать занятие.

Сказал и вышел.

Скоро в аудитории установилась такая тишина, словно на передовой перед большим боем. Продолжаю. А слушатели мои, оказывается, кроме моих слов еще и оттенки моей психологии фиксировали – видно, занятой показалась. Мука с Канышем стенографисток пригласили, те строчат, не поднимая носов. Сейчас те два тома моих рассказов в архивах академии бережно пылятся. На другой день среди слушателей обнаруживаю двоих неизвестных. Снова обращаюсь к Сатпаеву:

– Товарищ президент! Тут двоих вчера не было. По условиям, они не

имеют права находиться здесь далее: только от начала и до конца. Повторяю: мне случайные вольнослушатели не нужны. Занятие начну только тогда, когда эти товарищи покинут зал, – сказал, как отрезал, и вышел.

Стою в коридоре, курю, подходит Мука.

– Пойдем, Бауржан, тебя ждем. Те двое – один профессор, другой тоже известный деятель в сфере искусства, – и называет мне их фамилии, имена, отчества.

– А мне все равно, – говорю, – кто бы они ни были. Дисциплина одна для всех.

– Знаешь, ты очень хорошо начал, многим понравилось. Но будь добр, не придирайся ты к мелочам, – с убедительностью в голосе попросил Ауэзов.

– Хорошо. Но молчать как рыба, если что, не обещаю.

Дальше наше общение с почетной аудиторией наладилось. Были два-три мелких конфликта, но мы о них вскоре дружно забыли. С лекций каждый день возвращаемся с Мухтаром вместе. Какой он умный, тонкий, корректный собеседник! Иногда я принимал его замечания не без некоторого внутреннего сопротивления, но правоту его признавал и на следующий день старался исходить из интересов большинства. Но Мука между тем ни к чему меня не принуждал, не прищипывал. От всего сердца он старался быть ненавязчивым наставником. Он совершенно незаметно подвел меня к тому, чтобы проводить занятия по принципу “обратной связи”, то есть чтобы слушатели не стали пассивными потребителями, а умели сами выходить на глубокие вопросы, тогда, разумеется, усвоение плотного материала много лучше. Так что неплохим результатом этого дела я обязан прежде всего Ауэзову – он был моим вдохновителем и наставником, – тут ата как бы подвел мысленную черту, задумался.

– Дочка, – неожиданно, словно вспомнив о чем-то, обратился он ко мне. – Ты со всеми своими делами управилась, или за разговорами все недосуг?

Что же это я, в самом деле, расселась у самого тора, словно других забот нет? А ведь наши бабушки говорили так: “Невестка дальше всех сидит, да раньше всех встает”.

Прихватив с собой сундучок с письмами – надо навести в нем окончательный порядок, – я молча кинулась вон из кабинета.

У ата есть папка, названная им “Люди и встречи”. В ней несколько тетрадей с надписями “Ильяс Омаров”, “Бельгибай акын”, “Куляш” и “Мухтар Ауэзов”. С того дня, как я узнала о существовании этой папки, решила при удобном случае о Мухтаре-ата подробнее порасспросить.

Удобный случай представился в тот же день вечером. Уложила Ержана, выхожу и слышу голос Бахыта из кабинета. Как это я не заметила, когда он успел мимо меня туда проникнуть. Жалуется: “Устал, устал”.

Три дня назад муж завершил перевод книги, отдал его автору и теперь на бумагу смотреть не хочет: традиционная аллергия. На свое у него почему-то аллергии не бывает, строчит так, что будь здоров – про еду забывает, а с переводами вот так мучается. И то сказать: ведь нелегко, наверное, пережить, осмыслить и заново выразить на другом языке чувства и мысли чужого человека.

– Усталость от бумаги – это одно, и это не страшно, – говорил ата сыну, когда я вышла. – Бывает, чистый белый лист такой страх и сомнения на человека нагоняет, что похуже пытки будет. Ответственная тема, серьезный образ должны поэтому сначала в голове и в сердце поспеть и вызреть, а потом доверяться бумаге. А если твое слово не выстрадано, кровь у него холодная, мысль сырая, то и белый лист останется равнодушным.

– Да, папа, разумеется, – подхватил Бахытжан, – но иногда бывает так, что только возьмешь ручку в руки, и не заметишь, как втянулся – пишешь и пишешь, за своими же мыслями едва поспеваешь. И никакого тебе вызревания, и никакого сопротивления бумаги. По-моему, творческий процесс всегда противоречив и непредсказуем.

Ата согласно покивал головой и раскурил сигарету.

– Ата, – улучив минутку, обратилась я, – вы об Ауэзове будете писать? Некоторое время он молчал, прикусив кончик сигареты.

– Честно говоря, я кое-что набросал. Но пока материал мне что-то не поддается. Голые факты – половина дела, их надо еще уметь подать. К тому же, признаться, задумался, имею ли моральное право писать о таком человеке? Так ли для этого чисты моя душа и помыслы? Это одно. Другое: соответствуешь ли ты – думаю я о себе – высоким идеям и глубоким чувствам великого человека, по силам ли тебе этот масштаб? Нашел честный ответ на эти вопросы, тогда начинай. Но и здесь ты обязан о большом писать

крупно, о великом – высоко. Надо отбросить все наносное, мелкое, хоть оно и не пристает к великим.

Народу не нужны описания твоих случайных посиделок с ним у кого-то в гостях, то, например, как вы выпили по рюмке коньяка и закусили казыкарта. Не нагромождай обыденность, не смакуй простительные человеческие слабости, не злорадствуй по поводу недостатков, а если глаза твои умеют видеть только такое, то лучше молчи – не пиши вообще. Иначе это выльется в пустую “хлестаковщину” – самое недостойное занятие, я считаю. Душу иных людей терзает тщеславие, желание “выбиться”. Но поскольку своих сил и таланта для этого не хватает, то они не прочь погреться хотя бы в лучах чужой славы, надеясь, что отсвет большого огня падет и на них. Из всех сил они пытаются убедить окружающих, что именно они были-де самыми близкими, самыми любимыми и самыми доверенными людьми гения. Они самозабвенно описывают себя на фоне великого человека, наполняясь самодовольством и спесью, а в собственных глазах перерастают не только себя, но и того, кто признан народом. Не умея заметить того, что их мысли и наблюдения несоизмеримо ниже уровня того, о котором они взялись писать, они все равно тужатся и лезут из шкуры вон. Не понимая, бедолаги, что выглядят смешными и нелепыми в своих потугах.

Самое горькое: такие люди своим непрошеным вторжением тащат высокого человека с почетного места к порогу. В угоду своим мелким корыстным страстишкам пытаются втиснуть исполинский образ в обывательское узкое прокрустово ложе. Низкие чувства не могут исторгнуть честную речь, лживый взгляд увидит лысый холм там, где стоит целующаяся с солнцем поднебесная гора. Не дело примерять свои тесные одежды на человека, много больше и выше тебя.

Некоторые, выпустив многозначительный опус, бьют себя в грудь: я правду писал! Но ведь и правда бывает разная. Нужная поколениям после тебя, выстраданная, большая правда – она ведь не всем, кто знал Ауэзова, по силам. А мало ли современников знало его – ведь Мука был очень прост в общении. Кому нужна жидкая правда о повседневных хлопотах, хворях и бытовых мелочах – та, что никогда не поднимется до великой правды, которая останется потомкам, как мудрый завет, как вечное наследство? Мысль о том, что если написать о великом, то и сам станешь большим и значитель-

ным, – тщета глупца. Мало ли кто с кем в этой жизни встречается и сидит за одним столом – так неужели все это нужно тщательно перечислять? Нет, этого отнюдь не требуется.

Никто не может запретить писать, но белая бумага не все терпит. Ох, как много надо продумать и взвесить, прежде чем за перо взяться! Читатель, народ не простит тебе фальши.

С какой стороны ты думаешь подойти к образу, какие новые грани открыть для людей, какие стороны нрава желаешь объяснить, о каких достоинствах, которым следует поучиться, хочешь рассказать – вот это все надо взвесить и тщательно отобрать. Если ты сумеешь поднять обычный факт до высот истинного гражданского звучания, честь тебе и хвала. Если же начнешь низводить героя до своего уровня, а не подниматься к нему, успокаивая себя еще и тем, что он ушел из жизни, кто же опровергнет, история тебя не простит. Да, оскорбить память о человеке бывает еще больней, потому что она уже принадлежит народу, а кто пытается унижить народную любовь и память, тот преступен, подл и жалок, понятно?! – последние слова ата произнес так, словно мы перед ним были преступники и он расстрелял бы нас сейчас на месте, будь его воля.

А я подумала, что понадобится время, чтобы усвоить эти слова ата.

– Я не однажды перечитывал Мухтара Ауэзова. И всякий раз делал открытия. И всякий раз убеждался, что он неисчерпаем – постигнуть этого человека трудно. Для себя решил, что в своих воспоминаниях смогу описать лишь одну, наиболее близкую и доступную мне грань его образа.

– Знаю-знаю, как ты мучаешь и изводишь себя в таких случаях, – воспользовавшись паузой, вставил Бахытжан.

– Когда это я себя изводил? – удивился ата.

– Сейчас напомним. В шестьдесят первом году в конце апреля ты срочно вызвал меня к себе в дом отдыха. Я взял такси и помчался к тебе в горы. Как раз прошел дождь, природа была будто умытая. В стороне от дымного города, где воздух был чистый и свежий, после дождя все вокруг стало еще более душистым и прозрачным. Отдыхающие с видимым удовольствием гуляли по аллеям. Отыскал твой номер, зашел и с порога окунулся в густой туман табачного дыма.

Стол завален книгами, книги на полу и на серванте, а ты в изнеможении

сидишь на диване с полузакрытыми глазами. Я тут же принялся спасать дорогого папочку от угара: открыл дверь балкона, все окна, проветрил номер. Выясняю, в чем дело. Трудно было понять, что тебя заставило безвылазно сидеть в удушливой, синей от табачного дыма комнате. Оказывается, тебе было поручено написать доклад к торжественному собранию, посвященному столетию со дня рождения Рабиндраната Тагора. И ради десяти страниц машинописного текста мой отец честно, от корки до корки, перечитал двадцать две книги. Невероятно!

– А что же тут невероятного? – искренне изумился ата. – А как ты хотел? Надергать из двух-трех источников скудной информации “о жизни и деятельности зари Востока”, использовать предисловия к его книгам, вкратце рассказывающие о его творчестве, и состряпать подобие доклада, который не дал бы ничего моему уму и сердцу и не затронул бы души слушателей, потому что был бы сух и холоден, как и всякая ремесленная и недобросовестная поделка. До этого я успел прочесть всего лишь несколько рассказов Тагора, но в достаточно полном объеме с его творчеством знаком не был. Готовя тот доклад, я будто заново открыл для себя мудрого мыслителя и великого писателя, высокого и благородного сына великой Индии, который занимает одно из ведущих мест в мировой литературе. Я понял все ступени роста его творчества, все этапы восхождения к совершенству его души, всю мощь его любви к родине. Он оставил великое духовное наследство миллионам людей и тем обессмертил свое имя в благодарной памяти человечества. Мне удалось получить некоторое представление о философии и характере Тагора, о том направлении, которому он следовал. Но освоить все в одинаковой мере глубоко и широко было невозможно, потому что многие положения требовали отдельных трактовок. Для этого необходимо иметь достаточно обширные сведения о традициях, обычаях, психологии народа Тагора, его истории и многом другом, что и обозначить-то нелегко. И все же сейчас я могу без стыда сказать, что знаю о Тагоре все. Я ведь раньше, можно сказать, почти не знал поэта: так, читал кое-что. Зато после этой работы открыл для себя целый мир. Узнал не только Тагора, но и саму великую Индию. Нет, вернее, так: стихи Тагора приоткрыли завесу над тайной его поэзии и культуры его родины. Спасибо Мухтару Ауэзову – не будь его, какого богатства я мог лишиться: Мука попросил меня тогда выступить – в то время я был членом

Советско-индийского общества. Поначалу я заупрямился. Нет, не заупрямился – надо быть честным, – струсил:

– Мука, мне этот груз не по силам.

– По силам, вполне по силам, – успокоил он. – Я в тебя верю, поэтому прошу.

Меня подкупило, наверное, то, что он верил в мои силы. Взял в охапку двадцать две книги и отправился в горы, сказав на прощание:

– Благодарю за доверие, постараюсь его оправдать. Около месяца я затратил на внимательное и целенаправленное чтение всех этих трудов и лишь потом стал записывать на бумаге свои мысли и впечатления. Наконец наступил час, когда я решил, что теперь мне есть что сказать людям.

Торжественное собрание в большом зале академии открыл сам Мука. Я выступал двадцать пять минут – судя по температуре зала, слушали внимательно. Но что скажет Мухтар-ага? И вот наконец после собрания, перед началом встречи он сам подошел ко мне.

– Ты оправдал мои надежды, Бауке. Спасибо! – и обнял. У меня повлажнели глаза – все-таки меня, недостойного, сам Ауэзов от сердца благодарит.

– Я считаю себя обязанным выполнять поручения Мухтара Ауэзова! – отчеканил я, встав по стойке “смирно”.

Таким вот образом, пролив семь потов, я удостоился чести быть похваленным самим Ауэзовым.

И ата с гордостью посмотрел по сторонам, словно надеясь увидеть вокруг толпы почитателей. Тогда, помню, я подумала с улыбкой о том, что так радуется, наверное, аульный мальчишка, который выиграл байгу. Меня задело за живое такое, по-детски трогательное, проявление любви к писателю. В ту минуту в его лице было что-то беззащитное, хоть оно и светилось гордостью, и это, на первый взгляд, не вязалось с его обычной суровостью. Но, как и все люди с большой чистой душой, наш ата был по-детски восприимчив к плохому и хорошему, отзывчив на добро. На истинно высокое он умел смотреть снизу вверх – с благоговением взирая на обожаемую величину. И совершенно, как это нередко бывает, не забывая о том, чтобы возвыситься, сопоставить эту величину с собой. Мой ата был высок именно тем, что мог склониться и перед ребенком, но никогда не считал для

себя унижением склонить свою гордую голову перед истинной высотой.

Даже в одном этом было присущее только ата благородное величие. Не зря говорят в народе: “Плодоносная яблоня низко клонится”.

* * *

В детстве я могла часами просиживать у зимнего окна, разрисованного затейливым морозным узором. Детский ум необыкновенно восприимчив, воображение ребенка стремительно, как тулпар, мечтает его сказочно и добра. В причудливых узорах мороза малыш, кажется, умеет прочесть свою судьбу. Уж, во всяком случае, в запутанном орнаменте ледового этюда он непременно увидит мир чарующий, таинственный и изумительный. Каждая линия рисунка неповторима и своеобразна, и ни один рисунок не похож на другой. Я помню, как изо всех сил старалась во что бы то ни стало перенести хоть один нарисованный стужей цветок на бумагу, но ничего, даже близко похожего, на листе не выходило. Узоры этого волшебного кружева, переходя под моим карандашом на бумагу, становились некрасивыми – неуклюжими и грубыми, теряли всякое очарование. Только теперь, спустя годы и годы, я поняла, что даже зрелым мастерам очень трудно бывает передать воздушную, прозрачную красоту природы.

Только мысль и душа художника одухотворяют клочок неба, лес или горы в раме.

...Поставив все нужное для чая на поднос, я вошла к ата. На столике рядом увидела тонкий народный орнамент, вырезанный из обычного тетрадного листка в клеточку. Узоры наискось пересекала какая-то запись, но взять это кружево в руки без разрешения отца я не решилась.

— Ата, мне очень хочется посмотреть на узор, но там что-то написано...
— сказала я, помня о том, как однажды была наказана за любопытство.

— Да это просто забава, отвлекает от ненужных дум в часы бессонницы, — рассеянно отмахнулся ата, подвинув тетрадь к краю журнального столика, поближе ко мне.

Я взяла в руки листок. В глаза бросились написанные под орнаментом стихи.

Все прожитое вспоминая,
Я в прошлое вонзаю взор.

В тиши бессонницы страдая,
Я вырезаю свой узор...

Когда тяжелой черной думой
Я дна никак не достаю,
С лицом усталым и угрюмым
Я в руки ножницы беру.

У меня сердце сжалось. Как много одиночества! Ночами оно вязким туманом обступает больного ата. А может, он всю жизнь вот так одинок? Сын вырос вдали от него, но ведь ата сам говорил, что для того, кто с народом, не существует одиночества. Выходит, разные формы принимает это ужасное состояние. Я задумалась и не заметила, когда подкрался Бахытжан.

– Что это вы так увлеченно рассматриваете? Могли бы и меня позвать.

В то время он был увлечен переводом книги своего друга, уйгурского писателя Шаима Шаваева для московского издательства “Советский писатель”, редко выходил из своей комнаты, больше все стучал на машинке, изредка обнаруживаясь, чтобы поругать своего автора, и, конечно, оставался в стороне от многих наших с ата разговоров.

– Погляди, – протянула я ему тетрадь. Бахытжан рассмотрел рисунок и с восторгом сказал:

– Папа! Да ведь это золотое дно! А почему ты не хочешь взять патент и стать самым знаменитым мастером на сувенирной фабрике “Тускииз”?

– Только этой славы мне не доставало, – усмехнулся ата. – Допустим, мы так и поступили. Какая людям польза от этого? Я не говорю о тебе, конечно, – ата принял шутку сына.

– А мы и так богаты, – рассмеялся Бахытжан. – Ты же сам говорил, что самый богатый тот, у кого нет долгов. Отдельным людям мы ничего не должны, а народу долг жизнью выплачивают. Так что пока жить можно. Но у вас, я вижу, свои секреты. Никто не хочет сказать, что здесь по-арабски написано?

Ата нахмурился на минуту, задумался. Потом стал перебирать длинными худыми пальцами воздух – подражая игре на домбровых ладах, а другой кистью будто по струнам забил. Хрипловатым, низким басом затянул:

Э-э-эй!

Я не кто иной, как Бауржан, внук Жартыбая!

В стихоплетстве мне подвластна мысль любая!

Я во всем немного лучше, чем Бахыт и чем Зейнеп.

Ну а дальше подберите рифму сами, чтоб запеть!

Мы не смогли удержаться от смеха и хохотали до слез. Я не знаю точно, кто такой был Жартыбай, но о нем, как о бездарном и глупом виршеплете и плодовитом графомане, в народе ходит много легенд. И ата, когда забавляется подобным сочинительством, называет свои творения жартыбаевскими.

На счастье или на беду нашу, узоры, вырезанные дедом, увидел Ержан. С того дня деду от него покоя не стало. Стоило мальчишке найти на полу какую-нибудь мятую-пермятую бумажку, как он тут же нес ее дедушке, чтобы тот вырезал ему орнамент.

Видно, все это изрядно надоело ата, потому что однажды он сказал малышу:

– Ереке, ты стал мне мешать, тревожишь по пустякам. Давай мы с тобой договоримся: как выкурю пачку сигарет и останется красивая золотистая или серебристая бумажка, на ней я с удовольствием вырежу для тебя любой узор. А ты собирай эти вырезки в отдельный альбом. Если же я все время буду заниматься только твоими заказами, то кто же за меня будет читать книги и писать нужные вещи? Согласен? – сказал ата внуку, а сам посмотрел при этом на меня.

Я незаметно кивнула, дала понять, что все прекрасно поняла, но все-таки не удержалась от пожелания:

– Ата, а я попросила бы вас на каждом таком листке с орнаментом ставить дату.

С тех пор прошло немало дней. Большой коричневый альбом наполнился узорами, вырезанными исхудалыми, но сильными руками ата. Ни один орнамент не повторяется в этих миниатюрных произведениях: все они – в каждом случае – новые и красивые, простые и сложные, как узоры на морозном окне. Ата никогда не ориентируется на предыдущую свою работу, просто споро, быстро вырезает новый орнамент. Теплые руки ата создавали эти волшебные узоры для своего внука. До сих пор мы храним их, считая эти резные образы наследством, которому нет цены.

Женщина любит, когда все, приготовленное ее руками, поглощается с удовольствием и радостью. Потому и старается, чтобы блюда получались изысканными. Ну если не изысканными, то просто вкусными – у кого как достанет умения. Если пища остается нетронутой или едят неохотно, то женщина начинает винить в этом только себя. Бывает, что казнится так, словно провалила мероприятие государственной важности – вот как близко лежит к сердцу женщины столь немудреное дело. И стыдно, и обидно до слез, что все старания оказались напрасными.

Естественно, немалые страдания мне причиняло то обстоятельство, что ата вообще почти ничего не ел. Раньше, когда мы жили отдельно и мы лишь изредка навещали его, я не замечала его “голодной” диеты. И тем летом в Бериккаре, за два месяца у огня, кастрюль и казанов, ухаживая за потоком прибывающих и отбывающих гостей, я тоже не сумела заметить, что у нашего ата “птичье горлышко”.

Сама я, можно сказать, с трепетным суеверием, накопленным веками многотрудной жизни моего народа, отношусь ко всему, что говорится о пище. “Там, где еда, не бывает беда”, “Пища хранит человека”, “Хлеб превыше всего, и нет никого выше его”...

Ата, видя, как я расстраиваюсь, сам же не раз меня утешал:

– Доченька, бывают люди, которые вообще мало едят, это от природы, и пусть тебя не огорчает. Понимаешь, мой организм издавна привык довольствоваться малой долей пищи.

Но я не понимала. В первое время я даже украдкой плакала.

Однажды пришел Мекемтас-ага, я не выдержала и пожаловалась:

– Агатай, ата ничего не ест, что ни готовлю.

– Ну, на это не серчай. Бауке всегда такой малоежка. Заметила, наверное, что всему прочему твой ата предпочитает жидкие супы и молочные каши, удели им побольше внимания.

Ага долго был рядом с ата, успел изучить многие грани его характера, знал немало его секретов и привычек. Мекемтас-ага был для него одним из немногих самых близких не только по крови, но и по духу.

Я начала приглядываться и заметила, что ата и в самом деле отдает предпочтение домашней лапше, рисовому супу, борщу и русским щам. Однако

руки привычно тянулись готовить плов, лагман, тушпару, самсу, чебуреки, манты, манпар, бешбармак... И все же для ата я отдельно варила супы и кашу. Сначала подавала острые восточные блюда, и если он опять ничего не ел, несла суп.

– Ну чего ты так беспокоишься, дочка, – бурчал он. – Вот же стоит все. Я просто не выспался, ночь провел беспокойную, потому и аппетита нет.

Или отговаривался иначе:

– Видишь, у меня сигарета дымит? Я, знаешь, когда курю, не ем.

Ата ни разу не сказал, что то или иное блюдо ему не понравилось, ни разу не упрекнул меня и не потребовал, чтобы я приготовила ему какое-нибудь любимое им лакомство.

К пище он был крайне равнодушен и на редкость неприхотлив.

Но я все-таки сумела постепенно приучить ата есть. И в том числе блюда, которые любила готовить с детства. Это мой секрет, который известен только Бахытжану.

Маленькие дети часто капризничают за столом. И Ержан не был исключением. Перед едой он начинал препротивно хныкать, крошил хлеб на скатерть, ворошил в тарелке, все время вертелся, ерзал, искал повод улизнуть. В общем, мой сын был достойной парой своему дедушке. Оба ничего толком не едят, сама я тоже хороша; глядя на нас, и у Бахытжана аппетит пропадает. Правда, ата часто выкручивался тем, что, сядя за стол, начинал интересный рассказ и растягивал его на все время обеда.

И вот однажды, чтобы заставить Ержика с его дедом поесть хоть немного, я пошла на хитрость.

– Солдаты должны хорошо кушать. Вот Ержан сейчас раньше дедушки съест всю тарелку лапши.

Ата внимательно посмотрел на внука, который болтал ногами со скучающим и несчастным видом, решительно пододвинул к себе свою чашку и сказал:

– А это мы сейчас увидим! Я легко не поддамся. – Желая показать Ержану, как едят солдаты, ата и сам не заметил, как опорожнил свою чашку. И внук за ним. Дед был доволен тем, что малыш все съел, а мы больше тем, что отец хорошо покушал. С того дня подобные веселые состязания за столом стали привычной и полезной игрой. Оба стали довольно сносно справляться со своими порциями.

– А Ержан, кажется, стал лучше есть, – обрадованно сказал однажды ата.

Таким образом, наш зоркий и наблюдательный ата, умеющий слышать шорох мышки в глубокой ночи, не сумел распознать нашу простую хитрость. В народе говорят, что “батыр всегда простодушен”, и это истинная правда. Батыр доверчив, как ребенок, потому что у него большое сердце. Это доверчивость беркута, зоркого, сильного и бдительного. И простодушие смелого, сильного и доброго... Особенно трогательно наблюдать эту детскую чистоту в таких незаурядных, сильных людях, как наш ата, это является показателем их благородства и честности.

* * *

В самую лютую пору зимы на моем сапоге сломался замок-молния. Я и так поковырялась, и этак – ничего не получается. Пришлось облачиться в осенние туфли и таким легкомысленным образом шагать в мастерскую. На улице люди бросали на меня недвусмысленные взгляды, под которыми я ежилась, пожалуй, больше, чем от холода. В крайнем смущении, чувствуя себя едва ли не промерзшим на стылом ветру маленьким щенком, приползла домой. В коридоре стоит ата, разговаривает по телефону.

– Что это за мода такая, дочка? – недоуменно посмотрел он на мои ноги.

– Замок на сапоге сломался... вот я и того...

– А-а, не мода, значит, – расхлябанность. Знаешь такую притчу? В пору летнего пекла зима голос подает: “Передайте мой привет тем, у кого шубы нет, а к тем, кто без сапог, я и сама ходок”?

До сих пор, случись вдруг вспомнить эти слова, сказанные со свойственной ата скрытой доброжелательностью – в минуту ли усталости или беспричинной грусти, – как на душе становится весело и легко. У ата это особенно хорошо получалось. Скажет вроде бы мимоходом, да так складно и умно, что надолго запомнишь.

* * *

Возвращаясь откуда-нибудь, ата обязательно привозил нам подарки. Бакхытжану – книги, Ержану – значки и красочные календарики, мне – блокнот и ручку. В силу этой устойчивой привычки ата обязательно прихватывал приятные безделушки и находясь в городе, если случалось ему проходить мимо

любого киоска. Поначалу это казалось забавным, если не странным, потом приучилась и даже взяла моду смотреть – только ата на порог – ему на руки. Раньше я на значки только как на лишнюю помеху смотрела: вещь – не вещь, так, знак внимания, и потеряется – не жалко. Потом благодаря ата стала с интересом следить за выпуском юбилейных значков, посвященных крупным датам и великим людям. Училась воспринимать эти “безделушки” так, как надо, я, к своему стыду, вместе с Ержаном. Ата никогда не ленился подробно разъяснять внуку значения символов, изображенных в календарях или на значках, сам увлекаясь, рассказывал предысторию любого, часто малоприметного, казалось бы, факта. К тому же ата не имел привычки просто, одним щедрым жестом, высыпать перед ребенком подарки – есть в этом, как ни судите, элемент показушно-снихождительного, эгоистического отношения взрослого к маленькому: смотрите, мол, какой я широкий. Он как раз умел дарить скромно, но старался при этом вызвать у мальчика максимальный познавательный интерес к вещи.

Поначалу значки собирались в коробку. Когда их стало очень много, ата красиво пристегнул их к полотну и велел повесить его у изголовья Ержановой кровати. Взглянешь на разноцветный металлический коврик, и будто энциклопедию листаешь. Позже, когда сын чуточку подрос, он сам стал пополнять страницы этой своеобразной книги знаний. Календарей перевалило за тысячу, значки перекочевали на ковер. У Ержана это далеко не простое любительское коллекционирование, а память о дедушке. Вот и я тоже всматриваюсь иногда в пестроту сувениров, и сердце ни с того ни с сего щемит от дорогих воспоминаний. В нашем доме почитается еще одна, собранная заботливой рукой ата, коллекция. О ней немного подробнее.

...Сегодня ата проснулся как никогда бодрый. Прошла неделя, как мы перестали пользоваться мазями для заживления открывшихся на ногах старых ран. Обычно, особенно по утрам, он ступал с заметным усилием: видно было, что ата преодолагает боль, хоть и старается скрыть это от нас, домашних. Сегодня мы вздохнули с облегчением, будто тяжелый камень с плеч свалился. Ата ходил по квартире как раньше, по-молодому стремительно и легко. И я, как чувствительный к переменам погоды термометр, с благодарной радостью впитывала разлившееся в доме тепло и, конечно, запорхала не хуже согревшейся под солнцем малой птахи.

Коридор огласился мотивом из популярной мелодии. Громко напевая

“Ра-ра-ра”, ата весело направлялся в ванную, но около большого зеркала, наткнувшись на собственное отражение, остановился. Покачал головой, удивленно приговаривая “пах, пах”, задумчиво потрогал себя за усы и бороду.

– До чая пригласить? – спросила я, догадавшись, о чем он подумал.

– Пригласи, а то совсем что-то одичал.

Ата редко когда сам бреется, а услуги Бахытжана отвергает. Отшучивается: “Я не так глуп, чтобы доверить тебе свое открытое, как ладонь, лицо”. Потому всю текущую зиму я приглашала мастера на дом. Благо, далеко ходить не надо – прямо под нами располагалась хорошая парикмахерская. И парикмахеры все к нам привыкли – только покажусь, и кто-нибудь из них без лишних расспросов уж “инструменты” складывает.

Мастер Коля пришел и ушел, ата умылся и, не дожидаясь, пока проснетесь Бахытжан, мы сели пить чай.

– Убереешь дастархан, приготовь мне костюм – надо в Союз писателей сходить, давно не был, к тому же к Жобсу дело есть, он, должно быть, теперь на месте, – сказал ата, поднимаясь из-за стола.

“Кто такой этот Жобс? Что-то раньше этой фамилии не слышно было”, – подумала я и тут же забыла: “Ну да ладно, мне ли всех знать”.

Мы уже собрались уходить, как из своей комнаты появился Бахытжан. И с порога, увидев отца бодрым и посвежевшим – после двух месяцев изнурительного постельного режима, – воззрился на нас с неподдающейся описанию крайней степенью изумления.

– Ого, вот это да! Вот это вы даете! Вас хоть через игольное ушко пропускать! Куда собрались?

– В Союз. К Жобсу дело есть, – коротко ответил ата.

– А кто это? Жовтис, наверное, но он в КазГУ работает, в Союз только иногда заходит. Ты что-то путаешь, наверное, папа.

– Не знаю твоего Жовтиса, он мне не нужен, – отмахнулся ата, – я к Жобсу иду.

– Интересно. Разве такое имя бывает? – пожал плечами Бахыт.

– Еще как бывает. По-русски персек (первый секретарь правления Союза писателей – З. А.), а по-казахски Жобс (аббревиатура казахского аналога – Жазушылар одағынын биринши секретари – З. А.).

Мы смеялись, как дети.

Но мой супруг все же и здесь умудрился немного обидеться.

– Ты, папа, скажешь тоже – не сразу и в голову придет такое.

– Тебе разрешаю говорить первое, что придет в голову, – отвечивал ата.

И мне:

– Возьми по книге Ильяс, Энвера и Олжаса (соответственно: Ильяс Есенберлина, Ануара Алимжанова, Олжаса Сулейменова – З. А.).

Знать бы раньше, конечно, приготовила бы, а тут с порога – обратно, да поди попробуй с ходу найди среди сотни пестрых корешков три книжки. Подбирать самые яркие издания этих авторов времени нет, ата уже вышел, и машина внизу ждет. Схватив первые попавшиеся названия книг уважаемых писателей, бегу следом.

В Союзе нас встретили по-разному. Кто настороженно-внимательно, с плохо скрытым любопытством на лице: “Что он еще выкинет”. Кто с искренней, бурно выражаемой радостью: “Батыр жив-здоров, он снова среди нас!” И ата, умеющий обычно одним словом или жестом отметить недвусмысленные взгляды и комментарии, сегодня был как-то празднично приподнят над будничной житейской суетой.

Перед тем как зайти к Ильяс Есенберлину, работавшему в ту пору вторым секретарем Союза писателей Казахстана, ата взял у меня его “Золотую птицу”. Минут через 10–15 вышел, вернул мне книгу. Затем направились к Жобсу – Ануару Алимжанову. У него ата сидел долго, часа полтора. И опять с авторским экземпляром, “Джемшидовой чашей”. А у Олжаса ата пробыл совсем недолго.

Вы, наверное, догадались, что ата собирал автографы уважаемых им людей – для внука Ержана.

Дома, усадив перед собой Бахытжана, он произнес такую неторопливую речь:

– У меня были дела к секретарям, заодно и Ержану на память их автографы проставил. Продолжайте собирать хорошие книги: внук подрастет, и библиотека умная подберется, будет ему к кому в трудную минуту обратиться. Сейчас у нас книг, конечно, хватает, не в количестве дело. Сомневаюсь, вдруг он за европейской и всемирной литературой свою, казахскую, мимо пропустит. Не секрет, что это свойственно многим городским отпрыскам. А книгу с

адресованной ему лично надписью мальчик прочтет обязательно. Здесь важно не то, чтобы литература всех поколений была представлена полностью – пусть частью книг хороших писателей, – но зато по ним мой внук будет знать характерные приметы того или иного отрезка времени; какие темы были популярны; как от рассказа к рассказу рос его соплеменник; какой высоты мастерства достиг. Потом незаметно пространство родной литературы, родное слово втянет мальчика; он начнет задумываться: “А что было до них? Кто мои деды и прадеды?” И станет воспринимать историю народа как свою кровную историю. “Клеточная память” – это очень реальная вещь.

Поэты и писатели материал для своих произведений не с небес хватают, а берут из жизни народа. То, что не сказал один, скажет другой, что не успел показать один, покажет его собрат. Люди единством сильны.

Так живет и растет литература, а с ней и память. Не знающий своих корней никогда не станет личностью. Почему? Потому что себя можно познать лишь в контексте знаний о своем народе, искренних, выстраданных чувств к нему.

Человек без корней не способен оценить и принять другую культуру. Чтобы понять наследие веков, великие произведения – достояние всех живущих на Земле наций и народностей, – надо сначала суметь с честью перешагнуть свой родной порог. Думаю, мой внук научится отличать злаки от сорняков.

Ата и раньше собирал для Ержана книги с автографами, но я, честно сказать, и не подозревала, какой глубокий смысл он вкладывает в эту внешне безобидную традицию. На многих книгах рукой ата написано: “Личная библиотека Ержана Момышулы”, “Ержану Б., Бахытжани”, “В библиотеку единственного внука Бауржана Момышулы – Ержана”. Обычно эти отмеченные неповторимым почерком ата книги стояли вместе со всеми другими, но после вышеописанного разговора я с благоговейным трепетом отвела им отдельное, особое место. Сейчас таких книг в доме собрался целый шкаф, теперь уже сам Ержан продолжает традицию своего ата. Понятно, не для ложного престижа – все эти издания им прочитаны от корки до корки: так завещал ата.

Слова, написанные от чистого сердца, все связаны с именем батыра. Приведу лишь малую часть надписей.

“Сыну моему Ержану, напоминающему мне моего Бауржана, такому же как Бахытжан. Твой старый отец Абдильда Тажибаев”.

“Айналайын Ержан! Желаю тебе быть похожим на своего ата – стать таким же, как он, батыром из батыров, достойным сыном своего народа. Чтобы вся незаурядность его личности стала бы твоей незаурядностью.

Абдижамил Нурпеисов”.

“Дорогому сыну моему Ержану! Будь достоин своего любимого народом ата.

ага Ильяс Есенберлин”.

“Ержану Момышулы!

Желаю тебе прославить свой народ так же, как сделал это твой ата.

Гафу Каирбеков”

“Поклоняясь памяти дорогого человека, желаю Ержану, его надежде и опоре, чтобы удача сопутствовала ему во всех добрых начинаниях.

Абиш Кекильбаев”.

“Третьему Момышулы Ержану, пока мал и не велик,

Олжас-ага”.

...Снова и снова перечитываю слова посвящений. Слова редкие и чистые, как жемчужины со дна моря. Слова, адресованные мальчику, звучат как признание гражданских и человеческих качеств его дедушки. Может статься, теплота и искренность пожеланий коснутся и моего ребенка, благодатно повлияют на его судьбу...

Так хочется верить в то, что Ержан не свернет с прямой дороги, проторенной его ата, окажется достойным его высокого имени.

* * *

Кто может сказать, что он накрыл ладонью солнечный луч? Кто похвастается тем, что поймал за голубое крыло утренний ветер? Кто скажет, что удержал арканом уходящую ночь? Кто заверит, что разгладил рукой волну или повернул взглядом реку? Никто! Точно так же никто не может сказать, что он знает нашего ата. И я не могу сказать, что узнала его полностью. Что привыкла к его непредсказуемым словам и поступкам и могла предвидеть, что он сделает в следующий раз. Природа щедро наделила ата всеми, присущими ей самой, яркими чертами – со всеми неожиданностями и противоречиями его нрава. И метель, и зной, и ливень, и суховей, и грозу, и солнечное весеннее утро, и напряженное затишье перед бурей, и добрую

щедрую теплоту она дала ему в самых густых сочетаниях. Живя под одной крышей, постоянно общаясь, все это время я не переставала удивляться тому, сколько крайних противоречий вместились в сердце одного человека. И не переставала каждый день открывать в нем для себя все новое и новое. И еще было удивительно то, что все самые неожиданные выходки ата были ему, как ни странно, к лицу. Но только ему одному. Прямота, резкость и даже необъяснимая порой с первого взгляда жестокость и грубость. В тех нередких случаях, когда решение его было внезапным и как всегда совершенно безоговорочным, я не без гордости думала: “Да, только мой ата способен на такое – другому это не по плечу. Только ата мог решиться на подобное сумасбродство – другому это не по зубам”.

В первую зиму нашей жизни одной семьей он почти не вставал с постели, зато здоровье его заметно поправилось. И вот весна согрела землю, первая зелень вспыхнула огоньками на бугорках, а ата собрался и уехал в свой аул. В считанные минуты я с великим трудом успела собрать его носильные вещи, туалетные принадлежности. На душе было очень плохо. Почему он вдруг разом сорвался с места? Рыдания сами собой подступали к горлу, грудь сжималась от сомнений и обид, давило непонятое чувство вины, ведь при всем желании не могла я тогда припомнить ни одной своей промашки. Я была тут ни при чем, но, собирая его в дорогу, чувствовала себя серьезно провинившейся и все время смотрела в лицо ата вопрошающе и жалко.

Может, всю эту долгую зиму он только мирился с моим присутствием? Может, тяготился моими заботами? Вполне возможно, что я не все делала так, как надо, не смогла угодить... Плечи мои от таких невеселых мыслей совсем опустились. А спросить о причине внезапного отъезда не решалась – боялась, что мои подозрения в отношении собственной вины оправдаются. Тогда моя беспомощность станет явной...

Я проводила ата на вокзал. Вокзал был схож с муравейником. Множество людей с чемоданами, узлами, сумками – как муравьи со своим мусором – снуют туда-сюда, все спешат. Давным-давно один аульный человек впервые за много лет выехал за пределы родного аула. В городе, на вокзале, удивленно озираясь, сказал: “Я, например, к сыну в институт еду – а этот весь люд куда?” Так и я, оттого ли, что редко выхожу из дома, вдруг совсем простодушно подумала: “Неужто все, как и я, не работают? Иначе когда же разъезжать?”.

Картины суетливого веселого вокзала немного отвлекли, развеяли грусть расставания. Но чем ближе минута отхода поезда, тем явственнее саднит где-то глубоко внутри. Вдобавок ата мог уехать молча, не сказав ни одного ободряющего слова на прощание. На глаза сами собой предательски навернулись слезы.

– Сейчас же перестань, от людей стыдно! – строго прикрикнул на меня ата.

Слезы закапали еще чаще.

– Не смей плакать! – на этот раз голос звучал помягче, я с выражением безысходности на лице стала ковырять носком туфли привокзальный гравий. Уже возле самой двери вагона он пристально посмотрел на меня и почему-то засмеялся. Тут я сразу словно выздоравливать начала – мир в одно мгновение стал светлей, и дышать стало легче. О ата! Он тонко умел наблюдать и чувствовать малейшие движения чужой души, читал мысли на расстоянии. Выходит, он давно знал все о сомнениях и мучениях своей снохи.

– Дитя мое, – задумчиво начал он. – Зима была трудной для тебя. За эти долгие месяцы ты устала, борясь за мир в доме, за его теплоту. Чтобы не прервался тонкий дымок нашего очага, ты несла на своих плечах заботы о двух больных мужчинах и о растущем ребенке. Найти подход к такому привередливому старику, как я, нравом схожим с ртутью, трудно, я знаю, не перебивай. Это не могло не измучить. Да и муж у тебя далеко не подарок...

– Ой, да что вы такое говорите, ата, – попыталась горячо протестовать я, но он отмахнулся:

– Все равно не поверю, что не устала. Это твое доброе терпение заставляет тебя сейчас говорить неправду. Но если кого-то ты и сможешь обмануть, в чем я сильно сомневаюсь, – то меня обвести вокруг пальца тебе не удастся. Лучше уж смирись с моим отъездом и до моего возвращения отдохни как следует, – и ата с редким для него выражением искренней признательности приобнял меня за плечи. А у меня от этого сердце укололо еще большее сознание вины.

С одной стороны, в словах ата как будто была доля правды. Первый год нашей общей жизни под одной крышей выдался нелегким для всех нас, и особенно, я думаю, для меня. Но я не собиралась отчаиваться и отступать,

даже в мыслях была далека от подобного малодушия, готова была свой любимый, хоть и тяжелый крест нести без жалоб.

Справедливо ли было бы считать мой удел несчастливым? Каждый час общения с ата был поистине радостным и ценным. Он преподавал мне уроки жизни, которые больше ни у кого в этой жизни я бы получить не смогла. Вернулась домой. Страшный беспорядок – словно не городская квартира, а аул при откочевке. Собственные руки показались вялыми, ноги – ватными. Безразличным взглядом окинула я наше жилье и почему-то поежилась от холода и ощущения безнадежности. Показалось, что из каждого угла бездонными глазами на меня смотрит ужасающее запустение. Как будто за час моего отсутствия противный серый паук сумел заткать все вокруг липкой паутиной. Приглядевшись, безучастно отметила, что особого беспорядка нет, в комнатах все как обычно. Только тут я поняла, что наш дом лишился своей золотой подпорки, очаг потерял жаркий огонь, влитый в него солнцем, – уехал ата.

Я обессиленно присела на стул в прихожей. Долго не могла расстегнуть пуговицу на вороте плаща. Снова тяжелый туман стал обволакивать сердце, снова стала терзать какая-то смутная вина. Словно это из-за моей, только из-за моей нерасторопности уехал ата и увез с собой тепло, свет и покой дома. “Гусь срывает зло на цапле”, – говорят в народе. Так и я вдруг ощутила непонятное раздражение против Бахыта, который с поразительно умиротворенным видом вышел из кабинета с журналом в руке. Спросил с недоумением:

– А ты чего здесь сидишь? Раздевайся.

– Журнальчик почитываешь в тепле? – не выдержала я. – А отец уехал. Из-за твоего равнодушия, между прочим. Ты ведь можешь такое ляпнуть человеку, не считаясь ни с возрастом, ни с сединой, что просто диву даешься. Хамство за прямоту выдаешь, грубость – за честность. Когда ты наконец научишься следить за своими словами и отдавать отчет своим поступкам? Надо же хоть немного бороться со своей распушенностью, думать не только о себе. А ты вечно свои обиды на других перекладываешь, свое дурное настроение людям навязываешь. Вот сегодня ата уехал. Только вчера еще спокойно лежал, никуда не собирался. Ни о какой поездке и речи не было. Значит, ты сказал ему что-то такое, после чего ему стало невыно-

симо оставаться дома. Иначе почему он сорвался, как камень с кручи? А?

Бахытжан изумленно посмотрел на меня и как ни в чем не бывало рассмеялся:

– Нашла козла отпущения! Чтобы понять характер отца, тебе еще придется немало пота и слез пролить. Скажи спасибо хоть за то, что он зиму выдержал. Вылежал, как медведь в берлоге, а ведь он шатун. Ты сама не знаешь, какую победу над ним одержала, продержав столько месяцев взаперти в четырех стенах. Удивляюсь, как он был послушен тебе. Он целую зиму покоя нам подарил, как ты этого не понимаешь? Ему же здесь тесно! Ему тесно в обычных рамках поведения обычного человека, ибо в этом человеке всего с излишком и с избытком. Всего ему отпущено сверх меры. Нам с тобой тем более не завернуть его ни в какую упаковку, не удержать на одном месте, как не остановить смерч. Ему простор нужен, а не лежка в берлоге, даже такой благоустроенной, как наша.

Твоему ата все время кажется, что где-то без него происходит самое важное, и что если его не будет, то непременно свершится какое-нибудь черное дело, что если он сию минуту не вмешается, случится беда, восторжествует несправедливость. Что где-то в нем очень нуждаются, а он здесь отлеживается, что где-то бурно кипит жизнь, а он может от нее безнадежно отстать, в то время как именно он должен быть там, где решаются судьбы людей и земли. Разве удержат его твои пельмени, полированные дрова и убаюкивающий свет ночника?

Он тулпар по природе. Ты не замечала разве в его глазах беспокойство застоявшегося скакуна? Это не вода спокойных прудов, а бурная горная река, бешено бросающаяся на крутые каменные бока ущелья, – с патетикой в голосе говорил Бахытжан, словно перед ним не я сидела, замученная и несчастная, а целая аудитория жаждущих эмоций, энергичных молодых людей. – Течение ее стремительно и могуче. Она расшвыривает пену и “дробит скалы”. А ты хотела его уложить в ванну да воду подзеленить хвойным экстрактом?! И еще запомни: ему нужен хоть глоток родного ветра раз в году.

К тому же, какой бы примерной келин ты ни была, каким бы “ярким пламенем ни горела и золой при этом благодарно ни оборачивалась”, ты не ровесница-старушка, с которой можно уютно вспомнить молодые годы, дорогое сердцу время. То, что отец сказал бы ей, он никогда не скажет тебе.

Сдержится, не выкричит боль свою, как это сделал бы перед своей старухой. А у него всю жизнь семьи не было, я ему говорил об этом, и он соглашался со мной. Так что его отъезд – это не укор нам. С нами ему, как ни крути, одиноко. И ко мне не цепляйся, и себя не мучай – все, что ты делаешь, ты делаешь правильно, а больше мне нечего тебе сказать, – решительно подытожил Бахытжан и с чувством исполненного долга скрылся в своей комнатке-крепости. Ата приехал через два с половиной месяца и тут же опять слег. Мой супруг не преминул обвинить меня в этом: – Ты плакала, провожая, вот и накаркала, – твердил он с такой убежденностью, что можно было подумать, будь на моем месте другая, он был бы несказанно рад этому обстоятельству.

* * *

В один из последних дней ноября 1973 года утром зазвенел телефон. Некто назвался сыном давнего друга ата Карима Мынбаева и попросил разрешения прийти. Я не могла ответить утвердительно, так как сегодня, проснувшись, ата велел мне к десяти часам вызвать машину, собиравшийся ехать в издательство. Чтобы ненароком самовольно не нарушить планы ата, отнесла телефон в кабинет.

– Кто? – спросил он.

– Говорит сын Карима Мынбаева.

– А-а-а! – обрадованно протянул ата и поспешно взял у меня трубку.

– Слушаю. Да, да, Тимур? Жив-здоров, айналайын! Приходи, приходи, конечно, я дома. Адрес знаешь? Ну вот и замечательно. Ну, до встречи.

Видно было, что ата рад звонку. Обычно строгий и внимательный взгляд черных глаз стал рассеяннo-мягким.

– Машину уже вызвала? – спохватился он.

– Да я подумала, рано еще...

– Не нужно, не вызывай. Сегодня никуда не пойду, придет гость.

Я уже выходила из кабинета, приволакивая за собой длинный телефонный шнур, как ата знаком попросил вернуться.

– Дочка, знаешь, кто такой Карим Мынбаев?

– Нет.

Ата мгновенно переменялся в лице – похоже, он был неприятно удивлен моим ответом.

– Правда не знаешь? – не веря, переспросил он.

Я не посмела повторить “нет” и молча уставилась себе под ноги, в душе, уж в который раз, проклиная свою неразумную голову. Ата понял мое состояние: по-видимому, моя натужно покрасневшая физиономия выдавала, какие страшные казни мысленно проделывала я над собой. И как человек глубоко, принципиально гуманный по своей природе, простил мою необразованность.

– А вот это стыдно, дочка. Можно подумать, до сих пор ты свиней пасла, а не в университете училась. Ты же на земле живешь, не на облаках.

Что тут скажешь? Если действительно не знаешь, то ничего большего не придумаешь.

– Карим Мынбаев – первый среди казахов выдающийся ученый-биолог. Понятно? – с укором спросил он.

Я немного воспрянула духом: я ведь не имею отношения к биологии и вполне могу не знать Мынбаева.

– Ата, я не биолог, филолог, – чуть осмелев, вставила я.

– Ты наданолог! – отрубил мой ата (“надан” по-казахски “невежда”).

Этот замечательный термин вы не найдете ни в одном толковом словаре, подобные “жемчужины” возможно услышать только от нашего ата. Но ни радоваться открыто этой лингвистической находке, ни обижаться на столь нелестное обозначение уровня моих знаний сейчас неуместно. Молчать-то я молчу, но и на жгучий негодующий взгляд ата внешне не реагирую: видимо, такие “испытания” значительно закалили кожу моего лица – часто в критических ситуациях вместо лица у меня непроизвольно складывается непроницаемая “пуленепробиваемая” маска.

– Доброе утро, папа! – в кабинет заглянул Бахытжан. Свежему жизне-радостному голосу мужа я обрадовалась, как утопающий соломинке, и в замешательстве, опередив ата, униженно пролепетала.

– Доброе утро.

Ата благосклонно кивнул сыну, а мне, выставив указательный палец, по слогам, жестко сказал:

– Если бы не Бахытжан, ты бы меня никогда не увидела.

И, развернувшись, вышел.

Бахыт непонимающе похлопал вслед отцу глазами, пожал плечами и направился в ванную.

Слова ата поразили меня. В душе за какое-то мгновение не осталось места ни обиде, ни сомнению, только одна всепоглощающая пропасть пустоты. Инстинктивно, в страхе я подалась вперед – к Бахыту, к ата, к сыну – только бы не остаться одной. Все тело и мысли охватило знакомое состояние безысходности, безнадежности всех моих попыток и усилий.

– Дочка, поди сюда! – раздался из столовой голос ата.

В чем дело? Неужели уже не сердится? Едва переставляя ноги, всей душой чувствуя в груди тяжелый камень обиды, я как на аркане поплелась в столовую. Какие еще открытия мне предстоит услышать?

– Осенью 1948 года, – сразу начал ата, – я приехал из Калинина в Алма-Ату. Бахыт должен был пойти в первый класс. Какое-то время я отдыхал в родных стенах, радовался первым ученическим успехам своего большого человека. Когда пришла пора возвращаться, позвонил Карим и предложил лететь вместе. “В Алма-Ате пообщаться нам времени не хватило, давай хоть по дороге в Москву поговорим”, – сказал он.

Тогда в Москву добирались куда сложнее, чем теперь, с посадками, транзитами, разными пересадками, без спутника это было утомительно.

Но тут неожиданно заболел Бахытжан – скарлатина. Ой-бо-о-ой, как тяжело протекала болезнь! Наш мальчик горел день и ночь, температура не падала ниже сорока градусов, он то и дело терял сознание. Разумеется, оставить его в таком состоянии я не мог, до поездки ли мне было, когда жизни единственного сына угрожала опасность?

Созвонился с Каримом, объяснил.

На следующий день город переживал страшное известие: самолет, в котором улетел Карим, потерпел аварию, все пассажиры и экипаж погибли. Я ничем не лучше любого из этих пассажиров, тем более – дорогого мне Карима, лишь случай сохранил мне жизнь.

Теперь ты поняла, почему я сказал: “Если бы не Бахытжан, ты бы меня никогда не увидела”?

Едва взяв в руки мундштук, ата обеспокоенно привстал с места:

– Кто-то стучит, наверное, Тимур не может звонок в темноте найти. Беги скорее.

Гость оказался смуглым молодым человеком приятной наружности. Я поздоровалась с ним по-казахски, он почему-то ответил по-русски.

На моей памяти ата никого еще не встречал так, как Тимура. Обнял, прижал к груди, долго не отпускал от себя, хлопал по спине, как маленького. Такое проявление чувств было редко для нашего сурового, сдержанного ата, оно было продиктовано, очевидно, памятью о друге.

Вот что я уяснила из разговоров за дастарханом: став взрослым самостоятельным человеком, Тимур потянулся на родину отца, чтобы вдохнуть воздух земли своих предков. И не просто приехать и уехать, пожить здесь, поработать. Тимур по профессии композитор и дирижер.

Провожая его, ата сказал:

– Тимур, дорогой, твоя родина – это вся страна. Но земля, где вырос твой отец, должна быть всегда особенной для твоего сердца. Искренне благодарен тебе, что почтил память моего друга и своего отца. У нас говорят: “И в тысячу километров дорога начинается с первого шага”. Пусть твоя дорога будет светлой и благодарной для нашего народа. Карим мало прожил, но он успел много сделать для своего народа, он достойный сын многострадальных казахов. Хочу, чтобы ты был похожим на своего отца. И помни: двери этого дома всегда открыты для тебя, не обходи его стороной, сынок.

У ата сегодня двойная радость: приход сына незабвенного друга и появление тетради, которую ата считал давно потерянной, записки далекого 1928 года. Ее передала с наказом “из рук в руки” мать Тимура.

Так как она не знала арабской письменности, записки эти больше полувека пролежали в семейном архиве мертвым грузом. Совсем недавно она попросила прочесть дневник человека, читающего по-арабски, и только тогда узнала, кому принадлежит старая тетрадь (помогла давняя привычка ата – в конце или в начале любой бумаги подписываться и ставить дату).

Мне разрешили посмотреть тетрадь–“беглянку”. Бумага пожелтевшая, хрупкая, но текст вполне разборчив. “23 августа 1928 года я, Курманбек и Сеиткасым в отделе народного образования Сырдарьинской губернии взяли направление в Оренбургский институт...” – этими словами начинаются дневники ата.

– Дочка, я тебе не читать – посмотреть дал. Сам не знаю, чего там

моя восемнадцатилетняя горячая голова понаписала. Надо же, как жизнь пролетела, – вздохнул он, отчего-то сразу погрустнев.

Мне стало стыдно, как будто без разрешения чужую жизнь подсматриваю.

Ата торжественно водрузил на нос очки и с благоговением раскрыл первую страницу тетради.

– Япыр-ай, а! Да ведь это же Карима почерк! – воскликнул он через некоторое время, бережно водя пальцем по выцветшим строчкам. – Слушайте, что он пишет: “Молодость наша сверкнет, как молния, на небосклоне жизни”. Нам, чья жизнь только дает ростки, назначено выйти на путь познания. Мы будем верны честной, бескомпромиссной линии жизни”. Когда же это он написал? Не помню, надо же! Наверное, я сам когда-то давал ему почитать свои “опусы”. Наше знакомство с Каримом началось в январе 1944 года. Летом того года я учился в Москве, на курсах ВАКГШ (Высшие академические курсы Генерального штаба). Карим готовился к защите докторской диссертации, жил в гостинице “Москва”. Вместе мы проводили свободное время, нам было интересно вдвоем.

Карим хорошо разбирался в литературе, вообще был восприимчив к искусству. Знал многое наизусть из Абая, читал так, что послушавший его становился пожизненным поклонником великого. Словом, он был далеко не тем заучившимся сухарем, каким его наверняка представляют сейчас многие его молодые коллеги. Карим был по-настоящему всесторонне образованным человеком. А избрать эту специальность ему посоветовал сам Сакен Сейфуллин. В юности Карим увлекался стихами, как-то отдал их на суд Сакену, а тот сказал: “Поэзия – это не специальность, а искусство. Если душа твоя не может не петь, ты будешь писать стихи при любой профессии”. Сказал и помог устроиться в сельскохозяйственный техникум. Супруга Сакена Гульбахрам приходилась родственницей Кариму. И он очень часто с благодарностью вспоминал дом писателя, где жил несколько лет. Там, говорил Карим, он научился различать искусство, узнал человека с большой буквы.

Пока ата задумчиво пускал дым кольцами, вмешался Бахытжан:

– Он похож на отца, только Карим-ага был повыше ростом, плечистее, вообще крупнее. Я его хорошо помню, хоть и маленький был. А этот Тимур, если не ошибаюсь, на год младше меня. Какой-то на нас не похожий, осо-

бенный ребенок был: мы играем, шумим, а он часами на скрипке пиликает. Был такой чернявый крепыш, а сейчас прямо и не узнать.

– Он же один из двойняшек, – сказал ата. – Сестру его помнишь?

– Да-да, Алма, помню. А старшие – Жаппар и Гульнар. После смерти Карима-ага, года через два-три, они переехали в Ленинград, к родственникам матери. Неужели с тех пор прошло больше двадцати лет!..

* * *

Есть у народа мудрые слова: “Кто рано встает, тому бог дает”. Исторически это изречение связано с мужчинами, но сегодня оно имеет прямое отношение к женщинам. До поздней ночи не кончаются хлопоты женщины по дому. Не встанешь раньше всех – не успеешь сделать даже самого основного из всего того, что лежит на твоих плечах.

В нашей прежней маленькой квартирке у меня не было особых забот по дому, беспокоило лишь одно: как бы не опоздать на работу. Остальное время было моим, и я не отказывала себе в удовольствии поспать чуточку подольше, понежиться в постели, жалея сладкий предутренний сон. А здесь вставать рано научил меня ата. Но не подумайте, пожалуйста, что он с солдатской прямоотой орал мне в ухо на зорьке: “Подъем!” Мне самой казалось, что будет краем невоспитанности залеживаться до солнца невестке, проживающей со свекром под одной крышей. Пока еще никто не проснулся, следовало привести себя в порядок, и эти ранние занятия своим туалетом давали зарядку бодрости на весь день.

В нашей семье самым ярым долгоспателем является Бахытжан. Он – сова, любит работать в ночной тишине, когда прекращаются звонки и хлопанья дверями, когда смолкают голоса и замирает гул моторов на улицах. Засыпает он обычно на рассвете и спит до полудня. Потом еле поднимается с тяжелой чугунной головой.

Но сегодня он проснулся тоже необычно рано. Переделав утренние дела, я выбрала минутку, чтобы просмотреть свежие газеты. В одной из них я увидела большую рецензию на книгу Бахытжана. В ней давалась довольно высокая оценка его творчеству, но и промахи не остались без внимания. Били очень сурово. Всякий кулик свое болото хвалит. Так и мне было сладко читать те места, где мужа хвалили, а там, где бранили, я обижалась и краснела.

Как-никак, родной муж! После не выдержала, разбудила Бахытжана и сунула ему в руку газету...

Едва я появилась на пороге кабинета с завтраком для ата, он спросил:

– Баха еще не проснулся?

Обычно Бахытжан, в какое бы время ни встал, заходил к отцу, чтобы пожелать ему доброго утра.

– Давно проснулся, – улыбнулась я. – Лежит, читает критику на себя. Сейчас закончит, не выдержит и прибежит жаловаться.

И, довольная, добавила:

– Наверное, внутри у него все горит и нет никого под рукой, чтобы разорвать на части.

Статья показалась мне очень зубастой, были в ней такие слова, которые не могли не задеть рецензируемого товарища.

– Ах, вот как! – протянул ата и задумался.

Он долго молчал, постукивал мундштуком по краю пепельницы, потом сказал все тем же раздумчивым голосом:

– Все, что было проверено временем и отшлифовано веками, имеет свою форму и содержание, стало традицией.

Я не поняла, какое отношение имеет это высказывание к рецензии, и подумала, что ата просто хочет увести разговор от темы. Но он продолжал:

– Нет человека без недостатков. Есть такие, что ошибаются не сознательно, а от неопытности, малых сил и еще меньшего умения. И все же ошибка – это вина. Ошибаться – значит быть виноватым. Но не у каждого хватает мужества признать свои ошибки, осознать их, постараться по возможности исправить. Признание собственных ошибок – это признак мужества и ума. Умение достойно принять критику в свой адрес относится к области нравственной. Есть такие слова: “Пока не будет исправлено критическое зрение, не будет поправлено и само дело”. Критика должна быть суровой, но умной и доброжелательной, полезной, товарищеской. Честная и справедливая критика – признак единомыслия и единства, четкого понимания общности дела и цели. Это тоже традиция предков.

Мне стало стыдно за то, что только что я готова была даже позлорадствовать в адрес супруга. В комнате воцарилась тягостная тишина. Мне показалось, что ата сейчас задумался о сыне. Что будет, если Бахыт сейчас выйдет

из своей берлоги, начнет оправдываться, ругать критика и обвинять его в каких-то мелких грехах? Что скажет тогда его отец?

А вот и сам виновник “торжества”.

– Как спал, папа? Доброе утро!

– Спасибо, сынок. До глубокой ночи возился со своими старыми бумагами, а после двадцати двух крепко уснул, – спокойно ответил ата.

– Хорошо, что поработал, – кивнул сын. – А у нас новость. “Ленинская смена” напечатала рецензию на мою книжку. Павел Косенко написал. Хорошая рецензия, умная и содержательная. Выпорол он меня за дело. Некоторые его пожелания я еще до конца не продумал и не совсем, признаться, понял, но он желает мне добра – это я понял. Понимаешь, это пишет опытный, доброжелательный друг. Конечно, мне как автору сейчас больно за некоторые, на мой взгляд, удачные места в книге, но, наверное, пройдет время, и многое прояснится. Сейчас же не могу согласиться со всеми абсолютно положениями статьи, но главное принимаю безоговорочно. Он мне на себя глаза открыл, немало подсказал. Обязательно учту эти пожелания на будущее: старых глупостей не повторю. Действительно, на многое написанное мной можно смотреть другими глазами.

Вообще, у меня хорошие критики, злопыхателей среди них нет. А ведь в книжке много слабых и глупых мест – иные могли бы сразу руки обломать... Впрочем, на, почитай.

– Давай. А где очки? Куда подевались? – зашарил ата вокруг себя. – Ах, вот они где!

Лицо его, за минуту до этого холодное и неприступное, словно оттаяло, разгладились морщины на лбу. Забирая газету из рук сына, отец буквально надвое перерубил меня острым взглядом. Но ничего не сказал.

– Ой! – вскричала я, картинно всплеснув руками, – у меня же молоко на огне осталось! Сейчас всю плитку зальет! – и постаралась поскорее улизнуть из кабинета подобру-поздорову.

Однажды утром, когда, приготовив завтрак, я ждала пробуждения своей маленькой семьи, пришла незнакомая апай. Знакомая или незнакомая – встречать переступившего порог дома надо тепло.

– Так ты и есть сноха Бауке? Здравствуй, здравствуй, айналайын, – отвечала апай на мое приветствие. – Здоровы ли Бауке, Бахытжан? Сынок как? Растет по часам, наверное.

Пока я пристраивала верхнюю одежду апай на нашей тесной вешалке, она успела, быстро сориентировавшись в расположении комнат, пройти в столовую и удобно расположиться на диване. Судя по ее уверенным, энергичным словам и движениям, это человек не робкого десятка, широкий, открытый – не чета некоторым: пока не затащишь за руку, с места не сдвинутся.

– Я сестренка Бауке, мы с ним одного рода-племени, – дала знать апай, что она не чужая нашему ата. – Как услышала, что вы с Бауке съехались, собиралась навестить вас, да все некогда, а раньше мы друг друга не забывали. И думаешь постоянно, душа не на месте, а дела не отпускают. Как окунешься с утра, так и вертишься до глубокой ночи.

Я согласно кивала головой – по себе знаю. Послышалось глухое покашливание ата, а вот и он сам.

– Я думаю, кто это гуляет спозаранку, шумит, а это ты, оказывается.

Гостья, улыбаясь как ясно солнышко, встала навстречу, стала с пристрастием выспрашивать про житье-бытье, про дела и здоровье – весь ее облик выражал любовь и признательность. Ата отвечал выразительно и кратко.

На завтрак я приготовила сладкую пахлаву с медом. Ее хоть более-менее аппетитно ест ата. Он про нее даже поговорку сложил: “Языку сладко, зубам мягко”. “Раньше у нас в ауле готовили вкусное варево из овсяных зерен, молока, масла и других калорийных, чисто аульных добавок – быламык, которое, загустев до каши, становится схоже с этим твоим блюдом”, – не раз говорил ата, нахваливая пахлаву. Хвалить-то он хвалил, но удобно ли сравнивавшееся с кашей подавать гостье? Но куда денешься – ничего другого я не варила, тем более что она ее, заглянув по пути в кухню, видела.

Понравится – съест, не понравится – не надо, решила я, разозлившись на свои бестолковые колебания, и подала блюдо обоим. А ей, видать, не до гур-

манства. В глазах тень. Ни до чего на столе не притронулась, лишь чай пьет с изюмом.

– Как дети? – спросил ата.

– Неплохо. Старший отучился, женился. Молодых отделила, пусть сами по себе живут. Двухкомнатную квартиру им, уж честно сказать, правдами и неправдами выпросила. Пришлось унижаться – как говорится, “и козла жезде¹ назовешь, и козу – апа, если приспичит”. Младший со мной.

– Гм-м, хорошо, – ровным, ничего не выражающим голосом отметил ата.

– Так ведь в том-то и дело, что не хорошо, – внезапно запричитала апай. – Потому и пришла к вам, Бауке. – Тут апай, похоже, собралась заплакать.

– Если хочешь, чтобы я тебя выслушал, – не плачь, – повысил голос ата.

– Младший мой в этом году поступил в институт. Сейчас конкурсы сами знаете какие. Отца его многие и поныне за живого почитают, очень боялась я, что провалится сын на экзаменах, имя отца опозорит. Какие только двери ни открывала, с кем только ни советовалась! – Апай перевела дух и, набравши побольше воздуха, с новой эмоциональной силой, с энергичным ударением на каждом слове продолжала: – Учился мой сынок и горя не знал, но вот полмесяца тому назад вовлекли его сокурсники в драку. И что же вы думаете: теперь исключением грозят. А декан у них – демагог натуральный! Я свою голову перед ним склонила, жизнь свою нескладную ему рассказала – ни в какую. Был бы жив наш папа, – промокнула апай глаза носовым платком, – он бы одним звонком все уладил. Без него кому мы, несчастные, кроме вас, Бауке, нужны! Ради дорогой памяти моего мужа прошу – поговорите вы с этим вердолюбим. Вас он не посмеет послушаться, ага.

Пока она изливалась, я незаметно посматривала на ата: его лицо казалось не то чтобы бесстрастным – скорее, странно непроницаемым, защищенным от слезливых эмоций. Чуть повернув голову, он неотрывно смотрел на нежный профиль египетской царицы Кийи над ковром. Словно металлическое изображение Кийи было сейчас важным, самым достойным его внимания. Только дымил зажатый в углу рта длинный белый мундштук.

Наконец апай выговорилась, в считанные мгновения успокоилась и с

¹ Жезде – муж старшей сестры.

выражением исполненного долга на лице, с напряженным ожиданием бросала на ата вопросительные взгляды. В комнате установилась нехорошая тишина. У меня где-то на самом доньшке сердца зародилось знакомое тревожное предчувствие, опыт жизни под одной крышей с ата и интуиция меня не обманывали: случится нечто похуже бури. Буря пошумит и уляжется, а стылая, холодная зима надолго.

– Хорошо, поговорю, – бесцветным голосом сказал ата. – Но вначале выслушай сама, что я ему скажу.

Сбрасывая пепел с сигареты, ата мерно и задумчиво постукивал пальцем по мундштуку.

Апай вся подалась вперед, словно изготавившийся к прыжку большой зверь. Во всей ее позе была написана готовность сию минуту броситься в защиту своего дитяти, немедленно принести себя в жертву сыну. Ох, совсем не зря говорят в народе: “У ребенка рука заболит, а у матери – сердце”.

– Не работавший в поте лица не знает истинный вкус хлеба, – начал ата и поднял на гостью свой неповторимый, насквозь пронзающий человека жгучий взгляд. – В поте лица ты никогда не работала, ладоней до мозолей не истирала. При жизни мужа ты использовала его положение и имя, после его смерти продолжаешь спекулировать и латать свои дыры добрым именем человека, тревожишь дух усопшего. Ты одна виновата в том, что твои дети выросли паразитами.

Одному – квартиру всеми правдами и неправдами, другому – институт на тарелочке. Сегодня он влез в нечестную драку, завтра будет еще хуже. Тебя надо судить самым настоящим судом. Вместе с тобой и жезде – козла, и апа – козу, и твоих сыновей никчемных. Твой первый муж... – тут ата взглянул в мою сторону.

– Выйди, – коротко сказал он.

Вскочив, я устремилась было к выходу, но, запутавшись в полах длинного халата (или нога зацепилась за что), плашмя, всем телом грохнулась прямо перед столом. При этом больно ушибла локоть. Боль пронзила меня словно электрическим током и, извиваясь змеей, ударила в голову. Еще не сознавая всего ужаса своего положения, справляясь с болью, я – на четвереньках, – трудно соображая, что к чему, диковато озиралась по сторонам.

– Вон отсюда! – послышался резкий сердитый крик ата. Он и вернул меня к действительности. Не помню, как встала, как нашла дверь.

Только после того, как сполоснула лицо холодной водой, окружающее немного прояснилось. Звенело в голове, саднило локоть, но самое удручающее было, конечно, не это. Почему мне везет на такие ситуации? Оpozори-лась – тут и рассуждать нечего. Так мне и надо. Нет бы самой догадаться и уйти чинно и благопристойно. Уселась перед самоваром и слушаю во все уши – тоже нашла забаву.

Ладно, теперь, переживай не переживай, все одно.

Прошло минут десять, душа моя по-прежнему не на месте.

Как это часто бывает в горе, мир – добрый, прекрасный мир – сузился до маленькой сермяжной кухни. К Бахытжану пойти, поплакаться в жилетку – спит еще. Сын тоже. Самым приемлемым сейчас в моем несчастном положении оказалось большое кресло в углу кабинета ата, расположенном в конце нашей квартиры. Но сидела я там, пригорюнившись, недолго. Вскоре вышла апай. Надо попрощаться, проводить.

Как она переменилась! Еще недавно как налитое зернышко, и уже на выцветшую тряпицу похожа. Брови возмущенно изогнуты, глаза испещрены красными кровяными прожилками. Я хотела было надеть на нее плащ, но апай буквально вырвала его у меня из рук. Более того: наклоняясь, чтобы застегнуть пряжку на туфле, она неразборчиво буркнула что-то вроде “бедолага”. Кому “бедолага” был адресован – мне или это она про себя, я так и не разобрала. Наша гостья, еще час назад “приятная во всех отношениях женщина”, так и не удосужившись надеть плащ, резко рванула дверь на себя и, шагнув за порог, с силой ее захлопнула. словно не об косяк, а меня по лбу дверью хлопнули. Я как стояла около вешалки, так, обессилев, к ней без единого звука и припала.

В народе говорят: “Раньше не о том думай, как зайдешь, а о том, с чем уйдешь”. Уход апай, честно сказать, поразил меня в самое сердце – разве так можно?..

Пока я, выпотрошенная и изможденная, отдыхала на пальто и куртках, из столовой показался ата. Я тут же присобралась и мобилизовалась, но он даже не повернул головы в мою сторону, прошел, будто мимо пустого места. В тот день он не разговаривал со мной до самого вечера.

Через месяц я встретила эту апай на улице. Не столкнись я с ней лицом к лицу, непременно сделала бы вид, что не заметила, и свернула бы в укромное



Бауржан Момышулы в рядах Красной
Армии. 1930 год.
Дальний Восток.



Ф.Д. Толстунов и
Бауржан Момышулы. 1941 год.



Бауржан Момышулы на Волоколамском шоссе. 1941 год.



Фото Бауржана Момышулы на фронте. 1942 год.



Б. Момышулы и Ф.Д. Толстунув на фронте. 1942 год.

Фото подполковника Б. Момышулы на фронте. 1942 год.



Б. Момышулы на Калининском фронте. 1942 год.



Б.Момышулы



Б. Момышулы с супругой
Бибижамал. 1948 год.



Б. Момышулы с супругой Бибижамал, сыном Бахытжаном и дочерью Шолпан.
1944 год. Алма-Ата.



Сидят (слева направо): Бауржан Момышулы, Абдильда Тажибаев. Стоят (слева направо): сын Б. Момышулы – Бахытжан и сын А. Тажибаева – Рустем. 1959 год.



Б. Момышулы дает автограф кубинским студентам. 1963 год.



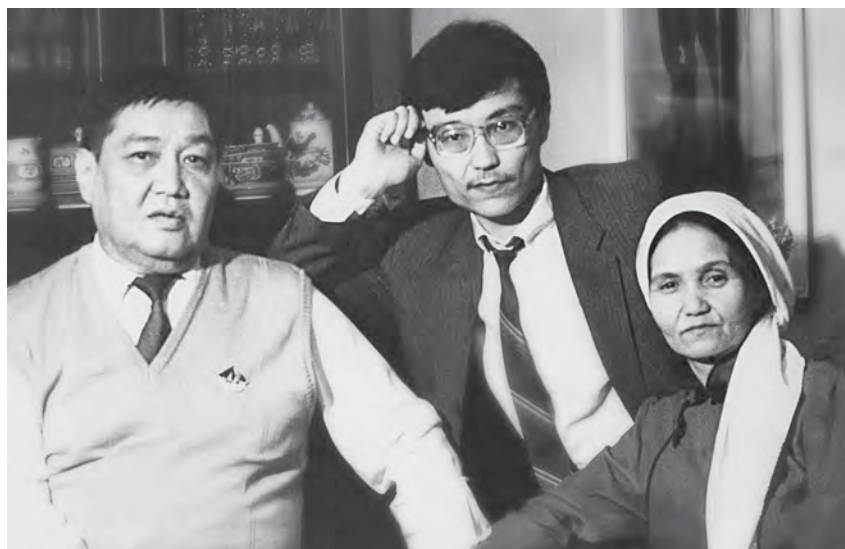
На премьерe фильма “За нами Москва”. Слева направо:
Б. Момышулы, М. Бегалин, К. Кенжетаев, Г. Мусрепов. 1968 год.



Б. Момышулы с внуком Ержаном. 1974 год.



Последняя фотография Б. Момышулы. 1981 год.



Бахытжан Момышулы с супругой Зейнеп и сыном Ержаном. 1990 год.



Б. Момышулы, Д.А. Кунаев,
9 мая 1975 года.



Б. Момышулы и А. Нуршаихов.



Бахытжан Момышулы с супругой Зейнеп Ахметовой.

место. Мне ли не больно вспоминать то свое позорное падение, еще хуже то, что ата после этого перестал со мной разговаривать (ведь сколько лет прошло, но до сих пор, стоит мне вспомнить холодное, отстраненное – чужое – лицо ата в тот “знаменательный” день, как мурашки бегут по коже, будто вчера это было). Естественно, я не сумела изобразить приятное удивление от встречи, любой человек на моем месте не смог бы справиться с собой, если бы у него были задеты самые тонкие и самые ранимые струнки его самолюбия. А апай будто не замечает моей вытянутой, окаменевшей физиономии – чешет как ни в чем не бывало. Правда, в этот раз здоровьем трех Момышулы не интересовалась: последовал ни к чему не обязывающий обмен будничной информацией – погода, магазины, то да се. Затем, взяв меня за руку, она отвела меня в сторону, в тень дерева на обочине тротуара, и энергично начала:

– Твой свекор всем нам ага. Но какой бы ага он мне ни был, все же скажу тебе правду: он натуральный демагог. Якобы и прямой он, и правду всем подряд в глаза говорит, а он просто обнаглел, меры не знает. Мне тебя в тот раз сильно жалко стало. Что за жизнь у тебя, чего ради ты мучаешься, бедный ребенок! И современная вроде, университет окончила, а терпишь над собой такое – не хуже, чем темные снохи в позапрошлом веке. Все равно он не оценит твоих жертв, помяни мое слово, все равно... благодарности не дождешься...

– Пусть.

Я, наверно, слишком резко прервала старшую по возрасту, но стало невозможно слушать этот пустой словесный поток. Она, похоже, может часами описывать чужие пороки и делает это к тому же с заметным внутренним наслаждением. Люди ее сорта испытывают странное, первобытное удовлетворение не от сознания своего превосходства – это чувство более-менее приемлемо в рамках нормальных отношений. В этих, можно сказать, клинических случаях к сознанию собственной низости примешивается мстительная радость, если удастся хотя бы на словах унижить человека выше тебя, честнее.

И вот эта женщина задалась целью настроить меня против ата, против человека, который правду, честь и человеческое достоинство ценил много дороже жизни.

Обескураженная моей “бесцеремонностью”, апай некоторое время таращила на меня глаза. Уверена – попробайся я сейчас объяснить ей свои взгляды

на благодарность, “жертвы” и истинно человеческие взаимоотношения, она тут же, не долго думая, примется обвинять меня в демагогии. Лучше промолчу – все равно ее не проймешь. Так вот: обескураженная, обезоруженная моей бесцеремонностью, апай вытаращила на меня глаза, а потом презрительно махнула рукой.

– Не забудь сказать своему ата, что мир пока не оскудел на добрых людей: и без него обошлись.

И, гордо вскинув голову, ушла с видом оскорбленной в лучших своих чувствах.

Та ее проблема с сыном, судя по всему, уладилась. И неудивительно – таким людям ведомо множество лазеек, ходов и выходов, о которых мы, смертные, и не догадываемся. Ну что ж, пусть, каждому свое. Так, наверное, устроен этот мир: у одних одна шкала ценностей, у других другая. Кому-то под силу найти несправедный суетный способ существования, а для кого-то всю жизнь светит единственная звезда на небосклоне, пройти к которой можно только дорогой истины и чести. Такой дорогой шел по жизни мой ата.

* * *

У каждого народа есть свои неповторимые обычаи и традиции, берущие начало в глубине веков. Они являются, как известно, одним из определяющих национальные особенности народа признаков. Конечно, не все из них соответствуют сегодняшним нормам жизни. Отживают самые бесчеловечные, остаются в прошлом самые неприемлемые, а добрые, благородные, чистые – жизнеспособные – помогают жить, обретают новый смысл, обновляются и развиваются. У казахов достаточно много своих обычаев и вековых традиций. В связи с этим мне запомнился один разговор с ата...

Умер отец одного нашего приятеля, с кем мы хорошо общались семьями. Когда я вернулась с поминок, которые устроил сын на обязательные семь дней, ата, как обычно, спросил:

– Ну, дочка, выкладывай, как там было?

Я рассказала о том, что народу собралось много, что стол был богатым, что люди были довольны и очень благодарны хозяевам дома.

– Знаешь, – думая о чем-то своем, произнес ата, – покойнику-то все равно. Умершим это не нужно, это нужно живым. Для живых и делается...

Он говорил о смерти так спокойно и даже равнодушно, что меня невольно обдало холодом. О смерти он всегда отзывается как о неизбежном, неприятном, но житейском деле.

Как обычно, не найдя что возразить, я промолчала.

– А дастархан был чистый?

– О да! Все скатерти были свежими. Сплошь белые, накрахмаленные, – простодушно ответила я, поняв вопрос в самом прямом смысле.

У ата из глаз полыхнул огонь:

– Не придуривайся! Ты прекрасно понимаешь, о чем я тебя спрашиваю.

– Простите, ата, но я правда не поняла, – подняла я на него глаза.

– Я говорю тебе, выпивка была на дастархане?

– А-а-а, да, была. Разных сортов, – наконец-то уяснила я смысл.

Ата ничего не сказал. Я решила было, что наш разговор на тему поминок на этом закончился. Вместе с тем так не должно было быть, потому что ата терпеть не может пустой болтовни и никогда не затевает разговора без начала и конца, ради бесполезного развлечения. Как бы то ни было, один узелок на память да останется завязанным. И я решила подтолкнуть ата к дальнейшей беседе:

– Сейчас, слава богу, достаток во всем и изобилие, люди не скупятся на угощение, стараются сделать все достойно. Возможности у всех есть, это стало традицией, – сказала я тоном знатока, словно ата ничего подобного в жизни не видел своими глазами.

– Традиция, говоришь? – разом изменился его голос: стал колючим и суровым. – От каких предков унаследовала ты такую традицию?

“Ну вот! Сама виновата! Нечего было наступать на хвост спящей змеи! Сидела бы спокойно, все бы обошлось”, – успела подумать я. При этом сцепила пальцы так, что костяшки побелели.

– Да никакая это не традиция, а заразная болезнь, чума! Это страшная эпидемия! – гневно ответил он на свой же вопрос.

Увидев, что ата сам взял в руки узду беседы, я приободрилась и стала понемногу поднимать голову.

– Я заметил, как у тебя удивленно поднялась бровь. Ты подумала, наверное: “Сам не прочь выпить, а поучает”. Я никогда не говорю о том, чего не знаю и чего не понимаю. Тем более я далек от мысли поучать кого-то,

это понять у тебя было время. Между тем я хорошо знаю, где, сколько, с кем и когда пить, – сказал ата и, прикусив зубами кончик уса, сделал задумчивую паузу. – Смерть – это западня, которая ожидает все живое. К одним она приходит рано, к другим – поздно. Время жизни сочится через мозг и сердце, как сквозь игольное ушко, сыплется как песок в песочных часах и пролетает незаметно. Видимо, величие человека заключается отчасти и в том, что в течение всей жизни ему известен приговор природы, он обжалованию не подлежит.

У смерти ледяное имя, она есть одно из величайших таинств, покров над которым даже не приоткрыт людьми. Человеку всегда трудно уйти за предел того, что он называет небытием. Нужно уважать каждый уход. В конце концов, даже если человек прожил долгую жизнь, вкусно ел, вволю пил, радостно работал, вырастил детей, целовал внуков и даже правнуков – все равно из жизни уходит человек. Не сухая тростинка сломалась. Человек уходит в сырую землю, в вечное одиночество. Но даже этим своим уходом он заставляет задуматься оставшихся, ощутить на миг холод вечности и страх перед черным небытием. Как задуматься? Прежде всего о своей жизни, о будущем, о достойном завершении своих дней. Вот за это нужно уважать и смерть. С самого часа чужой кончины мысли о собственной жизни, о том, что сделано для близких, для народа, что нужно исправить, что предстоит еще свершить, подспудно живут в мозгу у каждого. Покойника заворачивают в чистый саван, провожают с плачем в последний путь, облачаются в траур и готовятся к долгим раздумьям на примере прожитой жизни и собственного опыта. Вот почему говорят, что горе учит. Оно учит тех, кто умеет думать и чувствовать. Но самым близким, оглушенным потерей, трудно бывает разобраться в том, кем был для них усопший. Разве не для этого на седьмой, сороковой день приходят в дом родственники и друзья? Траур – это время памяти и раздумий. Благодаря этим дням невеселых размышлений меняется, наполняясь иным содержанием, жизнь людей. Вот почему в степи говорят: “Пока не будет доволен покойный, живому не разбогатеть”. Да, часто горе, опустошающее, казалось бы, душу, обогащает ум и сердце. Вот почему необходимы поминки, на которых друзья умершего, хорошие знакомые вспомнят то, чего могут не знать дети... Вот почему неправильно думать, что горе в том и заключается, чтобы надеть черные тряпки, закрыться от белого света и, вымачи-

вая жилетку каждого входящего, лить горючие слезы. Горе тоже должно быть мудрым. Воспоминания об ушедшем должны сконцентрироваться в сердце, происходит осмысление дел и человеческих качеств покойного, отбрасывается мелкое и наносное, останется вечное и высокое. Вот почему еще память священна. Лучшие качества усопшего становятся образцом для подражания, примером жизни. В этом заключается и воспитательное значение горя. Потому еще смерть достойна уважения.

Какой бы абстрактной она во все времена ни представляла, для близких смерть всегда конкретна, потому так сильна ее воспитательная роль... Вот ты сейчас сказала о том, что люди живут в достатке, время у нас хорошее, сытое, что стало традицией заставлять стол бутылками. Да, время, слава богу, благополучное и щедрое, и за это нужно благодарить не аллаха, который по принятой поговорке все вертится на языке, а наш народ, государство. Но у достатка есть и свои недостатки. Сытость оборачивается слепотой и чванливостью. И люди делают это все из того же мещанского соперничества, чтобы не отстать от других, не показаться хуже, а, наоборот, превзойти остальных в купечестве. В “старании” угнаться за конным у пешего на бегу разрываются ноги в промежности. Боясь осуждения обывателей, люди скромного достатка из кожи вон лезут, чтобы все было “достойно”, не считаясь с бюджетом семьи и интересами растущих детей. И иначе поступить как будто не могут. На семейных торжествах, на свадьбах крепкие дубовые столы стонут и ломаются от обилия спиртного – на это уже давно глаза закрыли. Но ведь и на похоронах, и на поминках, независимо от того, молодой умер или старый почил, не успеет земля закрыть лик покойного, как уже ящиками несут водку и коньяк, выстраивают на столе целые батареи алкоголя. А раз поставлено на стол, то собравшиеся станут пить, а раз выпито хмельное, то иным два верблюжьих горба начинают казаться четырьмя холмами. За столом воцаряются кичливость и лицемерие. В траурном доме начинают звучать постыдные лишние слова... На сорока днях одного композитора подвыпившие люди пожелали “помянуть” покойного, вспомнить его прекрасные песни, и запели! Потом живых авторов вспомнили. И печальные поминки в конце концов превратились в кошунственный концерт, в неприличное застолье. Это неуважение к памяти человека! – вдруг закричал ата с такой гневной силой, что я вздрогнула.

Вошел Бахытжан.

– Что у вас случилось?

– погоди! – резко махнул рукой ата в его сторону, и Бахыт так и застыл у входа. – Даже собака мне не поверит, если скажу, что в рот не беру спиртного, но я всегда был против того, чтобы поминальный стол осквернялся бутылками. Об этом прошу не забывать! – и он угрожающе потряс в воздухе своим костистым пальцем. Зато потом разом обмяк, притих, и, посмотрев в мою сторону, с ласковой усталостью в голосе сказал:

– У меня что-то горло пересохло. Принеси, дочка, твоего кислого коже, только если холодный.

Девятый день второго месяца 1974 года памятен мне тем, что поздней ночью, когда все в доме легли спать, я долго сидела за кухонным столом, восстанавливала разговор с ата. Слово ата – священо, ибо оно справедливо. “Был ли дастархан чистым?” Я ясно услышала голос ата, когда мы возвращались, проводив его в последний путь. По традициям народа, идущим из глубины веков – не все ведь, наверное, было темно, жестоко и невежественно, – мы два месяца держали наш стол накрытым: шли и шли люди, чтобы отдать долг памяти нашего отца. И в день похорон, и на седьмой день поминок, и на сороковой день разлуки дастархан наш был чист. Голос ата и по сей день часто приходит нам на помощь.

Мы не из богатых наследников рачительных родителей. Ата оставил нам большое наследство из накопленных мыслей своих, из мудрости своей, из благородства и подвигов, хотя мы хорошо понимаем, что “скот отца не будет отарой для сына”. Мы живем в чем-то лучше одних и скромнее других, счастливо обходясь тем достатком, который приносит в наш дом честный труд. Хлеб наш прост и вкусен. Не из расчетливой скупости я отказалась от спиртного в поминальные дни и не из приверженности к старому, а из уважения к памяти ата. Почтенным аксакалам и уважаемым апа, мудрым советчикам-ага-ям, сестрам и женге, начинающим жизнь братьям и сестрам, которые еще не распробовали горечь и сладость бытия, – всем пришедшим в наш дом, чтобы разделить наше горе, мы давали залить огонь печали чашами кумыса и шубата, белыми и чистыми напитками наших предков. То, что мы выполнили наказ ата, немного утешает меня. Не пришлось услышать последнее его слово, поймать его последний вздох и взгляд, влить в иссохшие уста каплю жи-

вительной влаги, поправить подушку под отяжелевшей головой, своими руками закрыть его измученные глаза. Я выполнила его завет, и это хоть немного утешает боль истерзавшегося сердца.

* * *

В одном из семейных альбомов хранится фотография ата, которая дорога всем нам особо. Ата снялся на ней в самый разгар войны, когда множились победы нашей армии, и, может, поэтому у ата здесь такой лучистый, солнечный взгляд.

Наверное, этот снимок не должен храниться в одной семье, он уже как признак истории и принадлежит истории. Но самое интересное то, что посвящен он был двухлетнему ребенку в 1943 году, а попал в руки Бахытжана только 16 января 1974 года, то была среда.

...Из кипы ежедневных свежих газет выпало письмо. Поднимая его, обратила внимание на обратный адрес. Автор послания – некий Уральский из города Александровска Владимирской области. Я отнесла всю почту ата и, чтобы дать ему в уединении прочесть письмо, вышла.

Через некоторое время из кабинета послышалось громкое:

– Идите сюда.

С порога поразила перемена, происшедшей с ата: глаза смотрели растроганно и ясно, каждая морщинка на лице излучала тепло. Он молча протянул нам с Бахытом небольшую пожелтевшую фотографию. Этот облик невозможно спутать ни с каким другим! Густые черные волосы зачёсаны назад, мужественный овал лица, улыбка.

Во время самых ожесточенных боев – улыбка. Наверное, ата не хотел, чтобы стылое дыхание войны коснулось его малыша.

На обороте арабской вязью, чернилами, бережно выведено: “Бахытжану от папы”. А выше незнакомая рука карандашом дописала: “Подполковник, 1942 год. На фронте”.

– Вот это здорово! Где же она столько времени гуляла? – изумленно вертел Бахыт в руках фотографию. И то: дарена была в сорок втором, а получает тридцать два года спустя!

– Это не сорок второй, – замечает ата, – здесь погоны, а наша армия погоны только с шестого января сорок третьего носить стала, Морфлот же – с 15 февраля того года. Он ошибся.

– Кто ошибся? – спросил Бахытжан.

– Эту фотографию прислал Николай Матвеевич Уральский, бывший офицер дивизии Панфилова, сейчас полковник в отставке. Именно Николай Матвеевич много сделал для создания первого памятника Алие Молдагуловой. Вместе с близкой подругой Алие, стрелком Надей Матвеевой, и жителями деревни Казачиха он установил точное место ее гибели. В 1965 году на бюро Новоскольниковского райкома комсомола Псковской области он сделал исчерпывающий убедительный доклад о том, что надо увековечить память Алие. До Уральского в этом районе никто о ней слыхом не слыхивал. И вот бюро приняло постановление: на месте, где пролилась кровь Молдагуловой, установить мемориальную доску, а над братской могилой в Монаково – памятник. В том же году 9 мая, на двадцатилетие победы, он и открылся. И Николай Матвеевич сам туда ездил, помогал в решении некоторых оргвопросов, сам присутствовал на открытии, – тут ата прервался, чтобы покурить.

Пока он дымит, я позволю себе немного опередить события. Много позже, уже когда не стало ата, я приводила в порядок его бумаги и обнаружила пачку писем от Уральского. Хранилась она не в сундучке, где все письма, а в отдельной папке, тщательно запакованная в белую бумагу. Там я нашла три письма и две фотографии, связанные с памятниками Алие. И еще копии документов по созданию памятника и мемориальной доски. На одной из фотографий запечатлен мемориал над братской могилой в Монаково, на другой – Николай Матвеевич рядом с увековеченным местом гибели Алие. И не просто так стоит, а в почетном карауле – вся грудь в орденах. На обороте карточки надпись: “9 мая 1965 года”.

Низко кланяюсь вам, Николай Матвеевич, за вашу доброту и человечность.

Судя по содержанию посланий, толчком к действиям Уральского – почти, надо сказать, незаметным, очень тактичным – послужила подсказка ата. Но я никогда не слышала от него признания в этом.

– Эту фотографию, – продолжал ата, – снял в сорок третьем один приезжий военкор. Уральский нашел ее в старых бумагах. Как и когда она к нему попала, ни он, ни я не знаем. На фронте мы с ним случайно встретились, когда брали город Холмы. Говорили пару раз, а больше после войны

общались. Или я ее кому переслать поручил в Алма-Ату, или сам потерял, или еще какой случай – не помню, да и неважно это. Главное, она есть, вручая тебе свое послание через три десятка лет, можно сказать, вторично. Хочешь, храни, а не хочешь – порви, дело твое.

Бахыт растроганно и одновременно растерянno вертел в руках фотографию отца, словно не мог поверить в реальность происходящего. Только и мог сказать:

– Спасибо, папа, и Уральскому спасибо. Интересная все-таки вещь – фотография. Фиксирует вроде бы обыденное, а получается – целый отрезок времени: ведь в обыденном, в том, что мы не замечаем сегодня, живут самые непринужденные и естественные признаки времени. И чем больше фотографий, тем полнее и глубже можно окунуться в прошлое. Человек, как известно, живет или будущим, или прошлым.

Мы ленимся запечатлеться на фото и обедняем себе жизнь. Вот и я так же: все некогда да недосуг – сколько неповторимых, прекрасных мгновений забыты безвозвратно! Кто-то из читателей, наверное, подумает: “И чего она так терзается? Подумаешь, было бы из-за чего”. Вся беда в том, что в нашем семейном альбоме нет ни одной фотографии нас с ата. Думала, что ата рядом, всегда успею. Может, постеснялась – сноха ведь, не дочь. Да и не придавала я тогда этому большого значения. Все моя молодая глупость виновата. Сколько близких и неблизких людей фотографировались с ата, оставили себе дорогую память, но кто из них способен оценить это так, как оценила бы я?..

Однажды ата нужно было поменять карточку на партбилете, и мы пригласили фотографа на дом. Тогда ата велел мне надеть на Ержана его лисий малахай и свою шапку принести.

Этот малахай сшила Ержану апапа – по личной выкройке ата. Мальчик был в нем такой забавный, что встречные прохожие на улице с улыбкой оборачивались. А он, хитрюга, понял, в чем секрет его привлекательности, и, чуть мы на улицу, сам тянется к шапке. У ата шапка от старости совсем истрепалась, никакой тебе солидности. Пробовала уговорить надеть новый тымак, но не вышло. – Это неважно. Голова-то под любой шапкой все равно одна и та же, – махнул он рукой.

Так дед с внуком сфотографировались с кабинете в зимней одежде, при

полном, как говорится, параде. Бахытжана дома не было, я, как всегда, подумала, что не в последний раз.

Ержан присвоил себе одну карточку и взял в привычку каждому, кто приходит в дом, хвастаться:

– Вот, смотрите, – торжественно начинал он, и ноздри его раздувались от гордости. – Ата со мной снялся на фотографию. У ата шапка на мою похожа, и вообще он сам на меня похож, видите?

Эта картина была, конечно, забавной, многие шумно смеялись, некоторые полушутя-полусерьезно, важно покачивая головой, с удивлением в голосе отмечали: “Действительно, похож, смотри-ка”. А Бахытжан додумался отчитать его как взрослого.

– Почему ты противоречишь истине? – строго поинтересовался он.

– Как противоречу? – испугался Ержан.

– Слушай меня внимательно. Ты говоришь: “Ата со мной снялся”. Это еще большой вопрос – кто с кем снялся: он с тобой или ты с ним. Понятно? Далее: логичнее было бы предположить, что ты, внук, похож на дедушку, а не наоборот. А шапки у вас разные, тут как хочешь. И перестань, пожалуйста, демонстрировать свою нескромность всем подряд. И без того люди знают, чьи мы дети.

Мне, признаться, было немного обидно за сына. “Ну и что с того, что ребенок хвастает, – думала я. – Родной ведь дед”.

По-видимому, Бахыт таким своеобразным способом хотел предупредить возможные, мягко говоря, непорядочные случаи спекуляции именем близкого человека. Вернее, хотел, наверное, подготовить сына к тому, как надо реагировать на подобные безобразные случаи. Дело в том, что мы с Бахытом были свидетелями одной такой ситуации.

В один из жарких дней августа 1984 года к нам домой пришел молодой человек лет тридцати и начал с того, что его привело желание ближе познакомиться с детьми прославленного человека. Что ж в этом плохого? И я как всегда забегала, чтобы дастархан был приличным.

Джигит принес с собой фотографию, на которой были изображены сплошь известные, уважаемые люди и он где-то сбоку. В течение всего разговора он несколько раз настойчиво упоминал о том, что “является младшим братом” одного из них. Никаких оснований не верить этому джигиту у меня

не было, да и неважна тут степень родства: главное, что человек нас ищет, видимо, душа его тянется к хорошему, – наивно рассудила я.

И, что неудивительно по отношению к моей неразумной голове, ошиблась. Им двигала элементарная, примитивная корысть.

– Забыл в такси пиджак, а вместе с ним свои последние деньги, – сокрушенно повествовал он. – Теперь не найти, такси по городу сотнями ездят. По пути сюда собрал остатки грошей, позвонил ага, – и джигит выразительно взглянул на снимок, – он сказал, что сегодня же телеграфом вышлет. Но пока из района дойдет, кто его знает. Дайте мне рублей двадцать.

Станешь разве экономить семейный бюджет, когда человек без копейки мается? У всех бывает, никто от утери не застрахован. Дать-то я эти рубли бедному джигиту дала, но почему-то не могла при этом смотреть ему в лицо. И еще почему-то очень захотелось, чтобы он поскорее ушел. Наконец, суетливо бормоча “тысяча благодарностей”, парень засобирился. Протянул руку к лежащему на столе снимку, но Бахытжан опередил его.

– Спасибо, что нашел нас. А эту фотографию оставь нам на память. Ты своего ага каждый день видишь, не то что мы, и других фото, кроме этого, наверное, достаточно, – с этими словами Бахыт засунул изображение уважаемых людей в кипу бумаг в шкафу.

– Я вам лучше другую, поновее принесу, я еще приду, я еще приду, – забормотал наш горе-гость.

– Ничего, – благосклонно заметил Бахыт. – И эта сойдет.

Тому не оставалось ничего другого, как убраться восвояси. Только он за порог – я с упреками к мужу:

– Зачем ты забрал эту бумажку? И не забрал, получается, а купил. Все-таки он за помощью пришел.

– Специально. Чтобы в другой раз не пользовался. Если бы он действительно был близким этому аксакалу человеком, никогда бы не стал спекулировать его именем. Воспользовался случаем, сфотографировался вместе. Хорошо, если у него один экземпляр, а если много? Нет, не кончит добром парень.

Больше мы этого парня не видели.

У нас дома висит большой портрет ата. Смотрю иногда на него, и кажется, что вот-вот сердито зашевелиятся брови и раздастся нарочито грубый,

такой живой, неповторимо чистый голос. Может, во мне и говорит тоска по родному человеку, но это действительно не просто красивые слова. Жизнь ата можно сравнить с огнем, который притягивал ищущих тепла и света, показывал дорогу заблудшим. И даже фотографии не мог не коснуться этот огонь. Одни глаза на ней могут рассказать еще многое...

Такой сильный человек, а к малейшим проявлениям хамства был восприимчив, как ребенок, и как ребенок беззащитен – отпор, конечно, давал, но потом болел подолгу. Всю войну на передовой провел, и после сколько на гражданке с бытовыми врагами воевал, а остался таким же тонкокожим.

У многих моих современников остались фотографии ата. Их дело, станут ли они хранить их как духовное завещание – из поколения в поколение – или примутся создавать себе дешевую популярность “близким знакомством”. Ведь ата и после смерти так же беззащитен...

* * *

Однажды рано утром ата сказал:

– Дочка, сегодня я поеду в Аса, к своим нагаши.

В районном центре Аса Джамбулской области живет его близкий родственник Джигитеков Рахметхан. Человек широкой, щедрой души, он был по-детски привязан к ата, многое прощал ему, на правах любимого и любящего родственника ата позволял себе по отношению к ага некоторые капризы.

Пора бы уж было привыкнуть к внезапности его решений, но я всякий раз почему-то теряюсь. Вот и теперь непроизвольно вырвалось: “Почему?”

– Почему, говоришь? В народе говорят: “Хочешь вспомнить детство, поезжай к нагаши, а молодость – к сватам”. В прошлом году я ездил в Семи-палатинск к сватам, а в этом году детство потянуло вспомнить.

– Ата-ау, подождали бы денька два-три, пока Тургын с Нуржаном на каникулы выйдут, вместе бы поехали, вам одному трудно в дороге будет.

Тургын и Нуржан – сыновья Рахметхана-ага, в городе в институтах в то время учились.

– Ты мне отец или мать, чтобы советы давать? А-а? И потом, откуда ты знаешь, что мне через два дня в голову придет? Кто тебе сказал, что я захочу ехать? Я и сам этого не знаю. Она, видите ли, советует, – констатировал он, грозно глядя поверх моей головы.

На том дискуссия наша и закончилась, в тот же вечер ата уехал.

Я всегда тороплюсь домой. Это во мне живет с детства. Но раньше я спешила домой согреться, а теперь ответственность за тепло лежит на мне самой. Я жалею тех, для кого дом стал холодным, кто идет куда угодно, чтобы только позже всех вернуться домой, последним перешагнуть постылый порог. Я жалею тех, кто рад любому поводу уйти за враждебную дверь.

Выполнив все поручения отца, сделав по пути необходимые покупки, я вернулась домой и с ужасом обнаружила, что Ержан, разбросав повсюду игрушки, устроил в кабинете настоящий бедлам. Сидит возле деда и пронзительно гудит на весь дом, паровоз изображает: “У-у-у-у!”, потом становится на четвереньки, пыхтит и уносится в какие-то известные ему одному широкие просторы.

– Ты что это безобразничаешь? – испугалась я. Схватила его за воротник и давай тормошить, как мокрого щенка. А потом толкнула к двери.

– Иди туда играй! Или места тебе мало? Дедушке покою не даешь!

– Не хочу туда! – надулся Ержан. – С дедушкой хочу!

Собирая в кучу разбросанные игрушки, я зашипела:

– Иди же!

– Не пойду! – посмотрел он на меня исподлобья.

– Ержик, маму нужно слушаться. Она у нас одна, – веско и ровно сказал ата.

Этого было достаточно. Малышу не хотелось покидать деда, но он послушно ушел к себе. А я лихорадочно торопилась завершить уборку, боясь, что мы и без того надоели тут своей суетой.

Ата молчал. Казалось, он раздражен всем этим шумом и беспорядком, нашей безалаберностью. Меня охватило знакомое чувство вины, к которому примешивалось какое-то недоброе предчувствие. Эта гнетущая тишина отчего-то царапала мне сердце. И не случайно.

По тому, как через полчаса он повелительным голосом окликнул меня и велел сесть рядом, я поняла, что опять в чем-то допустила промашку – меня ждет неизбежный разнос. Как сам ата говорил: “Что-то этот шорох не похож на давешний шелест”. И от этого приглашения присесть я ничего хорошего не ожидала. По холодному тону и нахмуренным бровям окончательно поняла, что головомойки не избежать.

– Никто не отрицает того, что ребенок твой и, стало быть, тебе лучше

знать, как его воспитывать. В этот процесс я и не думаю вмешиваться, — начал он. — Но запомни: при мне не смей больше трясти малыша! Чтобы на моих глазах это было в последний раз!

Он процедил эти слова сквозь зубы, возмущенный моим родительским произволом. И снова замолчал. Ох уж мне эти жестокие паузы! Выдержать их — целая пытка. С трудом переведя дыхание, продолжил:

— Если ребенок станет мешать мне, то я сам найду нужные слова, мы с внуком пойдем друг друга. А таких благодетелей и безграмотных педагогов мне не нужно. В этом вопросе я сам достаточно невежествен и сумел восстановить против себя сына. Но не позволю восстанавливать против себя внука! Ты понимаешь, к чему может привести твой поступок? Страх наказания сделает страшное дело. Внук будет избегать меня. А я ему не чужой, мне достаточно горестей и от того, что единственному сыну трудно бывает прийти к отцу. Я задыхался среди чужих... Шалостей одного ребенка не можете вытерпеть! В большом доме для него места найти не можете! Тот гонит его от себя, ссылаясь на занятость, эта не подпускает, отговариваясь домашними заботами, да мало того, еще и ко мне не пускаете, шум поднимаете, стоит ему только забежать к деду. Покой мой оберегаешь? Спасибо, чуткая невестушка! Такого покоя мне не нужно. А может, он вам в тягость? Зачем вы так часто отвозите его к тете? Зачем на апалу перекладываете свои хлопоты? Это что такое? Он для вас забава, игрушка, кукла тряпичная? Или мяч, который можно пинать ногами? Он человек, и извольте уважать достоинство ребенка! — крикнул вдруг отец.

Мне показалось, будто меня надвое рассекли. Колени и руки задрожали, холодная испарина покрыла лоб.

— Простите, ата... Я же, как всякая мать, не считаю грехом отшлепать сына...

— Это очень дурно! Можешь идти! Иди! — отмахнулся он от меня. — Это подло — измываться над незащитным, который зависит от тебя! Ступай!

Да-а-а... Возражать в таких случаях, оправдываться значило бы подлить масла в огонь. Уж это-то я успела хорошо узнать. Впрочем, сейчас для оправдания и нужных слов бы не нашла. Глотая подступившие к горлу слезы, с трудом переставляя онемевшие ноги, я вышла вон из кабинета. В груди было пусто, гулко и мрачно.

Прошло некоторое время. Я ходила по кухне как во сне.

Ничего не могла делать. Механически перебирала какие-то тряпки и посуду, переставляла тарелки с места на место, не соображая особенно, для какой цели. Пойти к ата в кабинет? Все же я подошла к самой двери и стала потихоньку прислушиваться. Оказалось, несмотря на мой запрет, Ержан снова пробрался к деду. До меня донеслись их голоса. Дедушка с внуком мирно, дружески беседовали. Бахытжан всю ночь до самого рассвета писал и сейчас крепко спал. Но к нему я бы все равно не обратилась за помощью. В тех случаях, когда у нас с его отцом возникают такие вот недоразумения, он никогда не встает на мою сторону. И даже не пытается меня защитить. Запирается в своей комнате и начинает упорно стучать на машинке – ни за что не выйдет, хоть голову ему отруби. Когда я собрала всю свою решимость и собралась уже войти к ата под предлогом готового обеда, он позвал меня сам. В его голосе не слышно было недавнего гнева, слава аллаху, успокоился. Напротив, голос был тихий и обеспокоенный. Оказывается, наигравшись вволю, Ержан залез к нему в постель и преспокойно заснул, сунув голову под мышку деду. Вот почему так берегающе звучал голос ата. – Отнеси ребенка, – прошептал он, – и возвращайся. Я осторожно взяла Ержана и невольно взглянула ата в лицо. Он кивнул и прочертил в воздухе худым костистым пальцем красноречивый полукруг. Но глаза не потеплели и лицо оставалось хмурым, неприступным.

Раздев и уложив сына в кровать, я вернулась и присела у него в ногах. Он помолчал, обдумывая что-то, и сказал:

– Нашему Ержану необходимо начать ходить в детский сад. Не успеешь оглянуться, как придет время идти в школу. А там будет совсем нелегко привыкнуть к товарищам, сойтись с ними. Избалованный изоляцией от своих сверстников, он будет долго их чуждаться, а дети к этому очень чутки и не всегда прощают.

Десять лет быть посторонним для своих товарищей – тяжелое испытание для человека, эта замкнутость может остаться с ним на всю жизнь. Он будет всегда страдать – окружающие его любить не будут. А разве это не травмирует детскую психику? В детском обществе свои строгие законы, свои очень высокие требования друг к другу, свои отношения. И если Ержан не сможет сразу влиться в этот мир и зажить общими со всеми интересами, то

дети его просто не примут, оттолкнут. Его станут обижать, а мы не сможем вмешаться. Это может растянуться на годы, и тогда школа никогда не станет для него родной: он будет всячески избегать ее стен. Каких же успехов и знаний вправе мы будем требовать от малыша?

Не привыкший к коллективу, ребенок станет или трусливым угодником, или себялюбивым эгоистом. Из такого ребенка может вырасти кто угодно, только не настоящий человек. И я повторяю: дети не прощают такой “особенности”. Если бы он рос в ауле, дело другое. Там и без детсада общения с ровесниками хватает, сама деревенская улица есть детский сад. Там невозможно обходиться без ежедневного общения как со взрослыми, так и с детьми всех возрастов. А в четырех стенах городской квартиры высотного дома, выйти из которого уже проблема для малышей и стариков, он изолирован от всякого общества, кроме семьи, конечно, кроме нас, людей заинтересованных. Постоянно выводить дите на улицу и прогуливать, как комнатную собачку, – тоже не выход. Ему нужно постоянное общение с людьми. Да и у тебя нет возможности всегда водить его во двор, а отпускать одного рано, мал еще. Рисковать жизнью и здоровьем ребенка мы не имеем права, потому что его будущее принадлежит уже не нам, а обществу. Здесь – город со своими суровыми требованиями к своим обитателям. Значит, дочка, об этом нам нужно очень серьезно подумать и что-то решать, не откладывая дело в долгий ящик.

– Ата, мы и сами думали, но у нас ничего не получается...

– Почему?

– Потому что Ержан говорит только по-казахски, а почти все соседские дети – по-русски. В детском саду для русскоязычных групп он опять будет белой вороной. Ержан чисто говорит по-казахски, это радует. Мы думали, когда наступит срок, отдать его в казахскую школу. А что касается детсадов с казахским языком, то устроить туда ребенка в десять раз трудней, чем в обычный садик. Вот тут, рядом с нашим домом, есть 204-й казахский детсад. Мы бы очень хотели отдать Ержана туда хотя бы на год. Я несколько раз ходила туда с просьбами, но... Мест нет, и все. А отдать малыша в русскоязычную группу – значит испортить его язык. Русский он и так будет прекрасно знать в условиях нашего города, это не проблема. Сейчас, мне кажется, важно сохранить в чистоте его казахский. Вот о чем мы с Бахытом думали.

– Да, ребенок должен начинать говорить на родном языке. Об этом писала Крупская. Человек, не знающий своего языка, обречен на немалые страдания в будущем. В ауле нужно учить русскому, сельские дети, учившиеся в русских школах, и городские ребята, учившиеся в казахских школах, одинаково хорошо владеют обоими языками. Эти ваши намерения я полностью поддерживаю, – и отец снова задумался.

Молчание это почему-то опять меня встревожило. Я подумала, что за этим кроется какое-то новое недовольство и уже жалела, что сказала о трудностях с устройством в детский сад. Он мог подумать, что мы хотим воспользоваться его именем. За всю свою жизнь не только я, но и его единственный сын ни разу не обманул доверия отца и не использовал огромный авторитет его имени в своих целях, как бы трудно ему ни приходилось. И если бы ата сам не начал разговор, я бы ни за что не стала касаться этой опасной темы. Я знала, что любому человеку, осмелившемуся торговать его славой, пришлось бы худо. Но, надо сказать, о многих случаях нечистоплотной спекуляции его именем он не подозревал, хотя, наверное, мог и догадываться. А когда эти случаи становились ему известны, он очень сильно страдал (я не говорю уже о том, как гневался).

Ата вдруг усмехнулся.

– Один известный в степи человек из казахских баев решил отправиться в хадж, чтобы поклониться святым местам, дабы самому стать хаджи, – прятая усмешку в усах, начал ата. – Добравшись до Мекки, он с недоумением стал осматривать невеселые, скудные окрестности. Затем, не вынеся переполнявших его чувств, воскликнул: “Япыр-ай! Говорили, что пророк Мухаммед был бесценным другом самому аллаху! Неужели он не мог выпросить у бога ничего получше?! Раз в крошечном и бедном краю он не вымолил у всемогущего друга более приемлемого местечка, то с чего бы ему пыжиться и гордиться тем, что он является другом самого создателя?” Вот так и мы, дочка!

Я рассмеялась.

– Почему смеешься, дитя мое? Разве у нас не так? Если я не выпрошу места для родного единственного внука, то зачем я живу на свете?

После обеда ата снова обратился ко мне:

– Дочка, приготовь мою одежду и сама одевайся!

Я уже привыкла к тому, что в таких случаях не нужно ничего расспраши-

вать, нужно молча повиноваться, поэтому по-солдатски быстро выполнила “приказ”.

– Куда это вы собираетесь? – вышел из своей комнаты Бахытжан.

– До нашего возвращения будешь играть с Ержаном, – последовал достойный ответ.

– Ладно, – согласился Бахыт, а сам незаметно для ата вопросительно подмигнул мне. Я только плечами пожала – сама, мол, не знаю.

Когда мы направились к центру города по улице Комсомольской, ата взял меня под руку и этак по-хорошему, браво, молодецки сказал:

– Если падать, то с верблюда. С коня я никогда не упаду, потому что сам наездник. А на ишака в жизни не садился, – и с этими словами он повел меня прямо в горком партии, в кабинет секретаря.

Место, в котором мне так долго и категорически отказывали, сразу нашлось. Надо было срочно заняться сбором необходимых документов. Все вышло удачно, но я заметила, что ата после визита как будто чем-то расстроен, огорчен.

– Глупцы, – с несвойственным для него тихим укором в голосе сказал ата. – Как они все привыкли к звонкам сверху. И уже ничего без специальных указаний сделать не могут. Это безобразие, беззаконие! Законное дело усложняют, простому делу ставят рогатки, плетут тухлые интриги, считая это умением жить. Когда же это прекратится?

– О чем вы, ата?

– Ты знаешь, что такое блат и бюрократизм? Это ядовитые грибы. Я пришел, и мне дали место для моего внука. А у всех ли есть возможность зайти к руководителям города? Если бы я твердо знал, что мой внук займет чужое место, я бы не пошел. И все равно, знаешь, хоть я и прав вроде, а сейчас сам себе противен – словно в грязи вымазался.

Я больше ни о чем не спрашивала...

Узнав о том, что Ержан будет устроен в детский сад, Бахытжан притворился обойденным судьбой, стукнул сына по круглой макушке и не без злора сказал:

– Вы только поглядите на этого принца! Я до тридцати лет не говорил, чей я сын, а этот не успел сопلي вытереть, как уже использует дедово имя!

– Ты зачем дерешься? – завопил бедный Ержан.

– Перестань, Черновик! Не болтай лишнего! – прикрикнул ата на сына. – Тоже мне рыцарь, лишенный наследства. Это место законное, оно принадлежит Ержану. Вот ты можешь за себя постоять, а он ведь еще беспомощный. О том, что дети являются у нас единственным привилегированным классом, ты, надеюсь, знаешь. Это сказал не я. Это говорит моя партия. Если бы меня пришли просить за другого ребенка, я бы тоже, несмотря на болезни свои, встал и пошел. Для того, чтобы замолвить словечко за балбеса, лезущего на чужое место в институт, я бы, разумеется, не пошевелился. А ты без меня встал на ноги: падал, ошибался, но встал без моей помощи. Так что иди-ка ты и дальше на своих ногах!

Бахытжан потускнел, почесал затылок, потом рассмеялся и ушел. “Привилегированный” Ержан отчего-то притих, взял деда за палец и задумался. Наверное, его пугала предстоящая перемена в жизни.

* * *

Итак, наш мальчик был устроен в 204-й казахский детсад. Он очень обрадовался этому известию, ждал первого посещения, как ждут все дети. В тот день встал раньше меня и принялся энергично натягивать приготовленную с вечера одежду. Раньше обычного встал и ата.

“Эй, Баха, поднимайся, – приоткрыв дверь комнаты, кричал он сыну, – сегодня Ержан на службу идет”. Словом, в доме спозаранку начались солидные проводы малыша в детсад – не хуже, чем в армию.

Прихожу за ним вечером, а мой малыш один-одинешенек стоит, прислонившись спиной к дереву, на детей, что рядом играют, даже не смотрит, глаз от ворот не отрывает. Как увидел меня, побежал со всех ног, за шею обнял, шепчет:

– Мамочка, заberi меня отсюда поскорее. – И добавил умоляюще: – Пожалуйста.

Лучше бы он плакал или бы топал ногами, что ли, капризничал – было бы гораздо легче. А тут сердце перевернулось, во всем теле слабость предательская.

– Ты меня здесь подожди немножко, – не показываю я вида, – я сейчас с твоей воспитательницей-апой поговорю, и вместе домой пойдем.

Узнаю, думаю, как он себя сегодня вел, а то утром меня теребил, боялся опоздать, а вечером картина совсем обратная.

– Сразу видно, что ребенок единственный, что дома взаперти держали, – сказала воспитательница. – Но вы не беспокойтесь, привыкнет, они все поначалу капризничают. Сынок ваш не плакал, не озорничал, но такое выдал, – и молодая женщина в сдерживаемом смехе зажала рукой рот. – После обеда подошел ко мне и говорит: “Апай, спасибо за еду, я теперь пойду, во-он мой дом, совсем близко, верхушка видна, ладно?”. Я ему все объяснила и спать повела. Брови нахмурил, надулся, но ничего не сказал, так, рассерженный, и заснул.

А дома нас торжественно встретили ата с Бахытжаном. Стали с удовольствием выпрашивать у мальчика, как прошел “первый рабочий день”, а он опять надулся и принялся с укором им выговаривать:

– Вам хорошо, в тихом доме сидите, а меня в шумный детсад отправили. У меня голова болит. Не пойду больше, я к апашке уйду.

У Бахытжана от удивления глаза на лоб полезли. “Смотри, какой недоτροга выискался”, – хотел было отчитать он сына, но ата предупреждающе тронул его за плечо: не надо, мол. Почувствовав молчаливую поддержку деда, Ержан пошел развивать тему дальше.

– Спать не хочу, а заставляют. Хотел с большой обезьяной поиграть, а какой-то мальчишка отнял, говорит, общая, а не твоя. И толкнул еще, я ка-а-ак упаду. Мурат плохое слово сказал. Я больше туда не пойду, а то, а то... – подыскивал он угрозу пострашнее, – а то буду долго-долго плакать и не вырасту, вот посмотрите.

“О горе мне, горе, – закручинилась я. – Когда же он эгоистом успел сделаться, когда я ребенка упустила? С этих-то пор тишину и покой ему подавай, а дальше чего ждать?”

Посмотрела на Бахыта – и у него лицо не в лучшую сторону переменялось. Вчера только Бибинур-апа вспоминала про моего супруга: “Один только день в садик и сходил, больше – ни ногой. В пионерлагерь отправляли, так он с самых гор пешком домой убежал. Плохо, если ребенок к обществу, к сверстникам с малых лет не приучен, потом так всю жизнь людей сторониться будет”.

Хотела было рассказать Бахыту про это и, чтобы обратить на себя внимание, собралась тихонько ущипнуть его под лопаткой, да не рассчитала в волнении. Он взвился, будто его пчела ужалила.

– Ой, что такое?!

– погоди, не вмешивайся, – досадливо махнул рукой на сына ата, решив, по-видимому, что он против Ержана высказаться собрался.

– Ты все сказал? – внимательно посмотрел он на внука.

– Айналайын ата, я вам никогда больше мешать не стану. Игрушки не буду разбрасывать, тихо-тихо играть буду. Скажите маме: “Не води Ержана в детсад”, она вас послушает, – и мальчик жалостливо захлопал глазами.

– Пошли со мной, – протянул ата ему руку. Показав мне за спиной ата кулак – мол, я тебе еще покажу, Бахыт увязался следом. А я разве останусь – и я поспешила в кабинет. Ата сидит в кресле, напротив, на кровати, прямехонько вытянувшись, Ержан.

– На одну большую стройку, – начал ата свой “политико-воспитательный” рассказ, – привезли много новых блестящих гвоздей. Увидел их один мастер-джигит и восхитился: “Ах, какие красивые да ровные!” Услышали его похвалу гвозди, обрадовались: “Скорей бы работа началась, тогда бы мы показали ему, что мы еще и сильные, вон какие толстые доски пробиваем”. А один гвоздь среди них упрямый, себялюбивый оказался. “Я им не ровня, я лучше – еще красивее и прочнее, – думал он. – Мне надо отделиться от всех, чтобы заметили”. И пошел наш хвастунишка-гвоздь гулять по стройке. На самом деле он был такой же, как все, – ну вот ни на столько он от других не отличался.

Ержан по своему обыкновению слушал дедушку не мигая, приоткрыв рот в напряженном внимании, будто боясь, что ата может проглотить остаток рассказа.

– Раз стройка, то, дело известное, гвозди везде нужны. Но этот гвоздь к полезному делу приставать не хочет, гуляет туда-сюда, цок-цок, ровные ножки переставляет, шляпкой сверкает. Все бы ему без дела да эгоистом таким ходить.

И вот однажды подул сильный ветер, нагнал темные тучи и полил дождь. Молодой мастер-джигит собрал все гвозди, в коробку положил и в сухое место спрятал. А наш упрямый гвоздь бродил в одиночестве, как конь без привязи, и, конечно, попал под дождь, вымок и продрог. Не знал, куда от дождя спрятаться, бегал-бегал, метался-метался, а подсказать-то некому – один он, вот и пострадал. Мало того: кто-то от дождя бежал и его на бегу

нечаянно в лужу столкнул. Да потом еще кто-то сверху наступил. Больно было очень, не встать. Так и остался наш гвоздь лежать в грязной луже. Сколько так валялся – не помнит, очнулся, только когда солнце припекать стало. Охал, ахал – поднялся, еле в сознание пришел. Оглядел себя с ног до головы и – о ужас! – шляпка потускнела, бока помятые, весь грязный такой – смотреть не захочешь.

Заплакал наш гвоздь, да что толку, слезами горю не поможешь. Оттого он такой несчастный стал, что друзей не признавал, работать вместе со всеми не хотел. Понял это гвоздь, захотел к своим братьям на стройку вернуться. Но захотеть одно, а выполнить другое: до того он помятый и немощный стал, что идти не в силах. Пришлось где ползком, где на четвереньках добираться. Дополз еле-еле до стройки, но ржавый негодный гвоздь кому нужен? Стал искать своих бывших товарищей, а они уж при деле: кто дверь держит, кто на оконной раме красуется, кто шляпками на крыше сверкает. А он-то думал, что и они, как он, пропали!

Слабая надежда засветилась у гвоздя – вдруг и он где-то нужным окажется. Приковылял он туда, где людей побольше. Ура! Повертел его в руках мастер-джигит, повертел да и выбросил. И другие рабочие-мастера долго в руках не держат, выбрасывают. В конце концов гвоздь этот попал вместе со всяким хламом в мусорную яму.

И, сделав впечатляющую паузу, чуть повысив голос, напрямую спросил:

– Хочешь быть похожим на этот гвоздь?

– Нет. Не хочу, – столь же категорично ответил внук.

– А почему ты тогда от своих товарищей, от таких же, ничем не хуже тебя, ребяташек отделяешься?

Ержан засопел, зашмыгал носом, начал мять свои маленькие пальчики. Внутри у мальчишки происходила, по-видимому, сложная, далеко не шуточная борьба.

– Ладно, ата, – сказал он через некоторое время. – Я потерплю, но садик не брошу.

– Вот это слово умного человека. Я верил в тебя, а это была временная слабость. Верно? Мой внук так просто не сдается.

С этими словами он протянул к внуку руки. Тот торопливо соскользнул с высокой кровати и юркнул в дедушкины объятия. Ата по-стариковски бережно погладил его по макушке, поцеловал в лоб.

Я уже не говорю о ребенке, мы с Бахытом так увлеклись рассказом, что

пооткрывали рты не хуже Ержана. Неудивительно, что мальчик так быстро согласился. Возьмись за это дело мы с мужем – так бы “сверхпедагогично” его обработали, что до самой школы садика больше не увидели бы.

– Ата, а потом с этим бедным гвоздем что стало? Никто-никто его так и не заметил?

Маленькое сердце охвачено состраданием к неодушевленному предмету. Ата удовлетворенно взглянул поочередно на нас обоих, как бы говоря: “Видите, каков человек” – и охотно продолжил:

– Его подобрал один добрый умелец и взялся лечить, потому что в таком состоянии его никуда применить было невозможно. Положил умелец гвоздь на железную подставку, зажал его щипцами и давай молотком по нему постукивать, выпрямлять. Больно было очень, но он сжал зубы и мужественно терпел. Стал гвоздь почти как прежде ровным и красивым. Теперь он вешалку держит и гордится, что стал полезен людям.

Вряд ли ата знал эту сказку раньше – на ходу придумал. И немудреная вроде совсем, а эффект-то какой! Трудно представить, чтобы такой эффект имела “сухая пропаганда” – словесный поток нравоучений и менторских наставлений, какие нередко используем мы, родители.

* * *

Сегодня выходной. Сейчас моя “работа” – это уход за ата, а она выходных не требует. Бахытжан ему родной сын, и я тоже родная, поэтому моя “работа” мне не в тягость, а наоборот – отец ведь.

...Мы с ата остались дома вдвоем. Бахытжан с сыном рано утром, осторожно ступая на цыпочки, чтобы не разбудить, ушли на прогулку. Дело в том, что после года мучений (год назад была последняя операция) Бахыт наконец избавился от костылей, мог обходиться легкой палкой и теперь много бродил по улицам, не мог насладиться “свободой”.

Ата всю ночь работал, не сомкнув глаз, задремал, наверное, только на рассвете, и то спал часа два-три, не больше.

– Дочка, – вышел он из кабинета, – я вчерашний рассказ закончил. В красной тетради, на столе. Если есть желание, можешь почитать.

После завтрака ата углубился в газеты, а я – в теплый еще рассказ. На первой же странице чтения поразилась – до такой степени точно сохранена

интонация, “температура” устного повествования. Я не писатель, но знаю наверняка, как это непросто – передать на бумаге живое тепло, пульс непосредственного разговорного языка и вместе с тем уложить в рамки жанра весь многоцветный хаос мыслей и чувств, оставив при этом впечатление легкости и простоты. Ведь нередко бывает так: читаешь иную добротню сделанную повесть, и скоро не можешь подавить в себе внутреннее сопротивление этому гладкому набору слов. Все вроде верно, и запяты на месте, и сюжет по закону жанра развивается, а главного – души – нет.

Так вот, я хочу сказать, что этот рассказ ата задел меня за живое. А нечаянным поводом к его написанию послужил вездесущий Ержан.

У нас в доме никто не играет на домбре, но в столовой висят две подаренные кем-то домбры. И вот расхныкался сын ни с того ни с сего – вынь да положь ему инструмент. Покоя ушам не было, и я сняла одну. Ержан сначала ее хорошенько обследовал, потом принялся радостно бренчать и, волоча домбру по полу, пошел к ата, чтобы поделиться своим открытием. Бахыт с отцом перебирали старые фотографии. Ата эта картина сразу не понравилась. Опалив меня взглядом, он сердито бросил рассматриваемые снимки на стол. Мальчик все понял.

– Ата, я совсем немножко поиграл, – жалобно, как он это умеет, протянул Ержан и маленькими ладошками погладил лицо дедушки.

На внука он, конечно, больше не сердился, зато нам досталось.

– Домбра – не игрушка, – отчетливо разделяя слова, сказал ата и осуждающе покачал головой. – Это святое наследство народа. Не умеете играть, так хоть культуру предков чтить умеете. Вот с таких мелочей начинается приобщение ребенка к нашему духовному богатству. Казах, не чувствующий домбру, не может понять душу народа. А тот, кто не в состоянии понять душу народа, подобен дереву с усыхающими корнями. Такое дерево, запомните, никогда не покроется свежей листвой, не принесет плодов.

Мы виновато молчали, и ата, чуть смягчившись, начал свой рассказ.

– У нас в роду любили хорошую песню, но выдающихся акынов не было. Но по сей день не выходит у меня из головы Орманкул. Потомки нашего прапрадеда Кули – Утеули, Батырбек, Ажи. Мы сыновья Ажи, а Орманкул – Утеули. Так вот, этот самый Орманкул и мой дядя Момынкул – ровесники. Был он в то время бедным, одиноким и отчаянным джиги-

том... (Я не стану дальше пересказывать содержание рассказа, он должен быть хорошо знаком читателю по книге “Наша семья” – 3. А.)

Выслушав ата, Бахытжан загорелся идеей написать рассказ, но встретил отрицательную реакцию отца.

– Мне не жалко материал, пойми правильно. Знаю, ты напишешь красиво, складно, но это будет не жизнь, а живопись. Потому что ты не видел это своими глазами, не слышал домбру Орманкула, не прочувствовал сердцем этот кусок жизни.

– Ну тогда пиши сам, и скорее, пожалуйста, пока не остыло, – разволновался Бахыт. Видно, очень зацепило услышанное какую-то струнку на самом доньшке “загадочной” души моего супруга.

* * *

Звонок. Открываю дверь – стоит смуглый молодой человек приятной наружности. Плотного телосложения, волосы волной зачесаны назад.

– Здравствуйте. Это квартира Бауржана-ата?

– Да, проходите.

– Можно будет с ним поговорить?

– Сейчас взгляну, не спит ли. Присаживайтесь, пожалуйста.

Ата не спал, читал газеты.

– Вас какой-то джигит видеть хочет.

– Э-э, пусть заходит, пригласи его сюда.

– Ассалаумагалейкум, – входя, молодой человек протянул ата обе руки – знак особого уважения. Так было принято раньше здороваться в степи со старшими.

– Алейкум ассалам, – ласково приветствовал ата гостя. Сразу было видно, что ему пришелся по душе воспитанный джигит.

– Садись поудобнее в это кресло, айналайын, рассказывай, что привело тебя ко мне.

– Я читал ваши книги и все, что написано о вас. Не буду скрывать – я пришел, чтобы увидеть вас, поговорить. Такая у меня была мечта. Вот, набрался смелости, решил ее осуществить. Больше никакого дела у меня нет.

Джигит держался скромно, но уверенно.

– А стихи ты пишешь, дорогой? – тут ата, не знаю почему, хитро взглянул на гостя.

– Нет, – с сожалением признался тот. – Но поэзию люблю.
– А какая у тебя специальность?
– На ткацкой фабрике работаю.
– Дочка, – повернулся ата ко мне, – приготовь дастархан, а мы пока побеседуем.

Ему нравился гость, это было видно невооруженным глазом. Женщина или ребенок не умеют здороваться – ладно, они как бы вне данной культурной традиции. Но когда мужчина, да еще младший по возрасту, говорит при встрече, протягивая для пожатия одну руку, “саламатсыз ба” или “амансыз ба”, ата обычно подчеркнуто небрежно бросает “издрасти” и демонстративно не желает замечать протянутой руки. Многие не понимают причины такого поведения ата, отсюда и разного рода слухи об “упрямце”. А причина проста – ата был очень восприимчив к соблюдению эстетики народных традиций.

И Ержана, едва тот начал лопотать первые слова, ата научил подавать приветствуемому обе руки, отдавать салем по-казахски. Ребенок первые годы считал своей обязанностью столько раз здороваться с дедом, сколько раз в день видел его. Ата же всякий раз не уставал отвечать ему по всей форме – думаю, я бы на его месте давно сорвалась: отчитала бы его да вдобавок отшлепала. Уроки нашего незабвенного ата не прошли даром: Ержан и по сей день, будучи исконно городским, здоровается с мужчинами старше себя по возрасту только таким, от прадедов унаследованным образом.

Когда я вошла в кабинет с чаем, ата, подложив под спину подушку, что-то увлеченно рассказывал – гость, напротив, весь подавшись вперед, слушал.

– Есть такая трава – казахи называют ее “тамырбояу” – с твердым упругим стеблем, растет преимущественно в полупустынной зоне. Корни ее выкапывают, очищают, разрезают пополам и кипятят недолго. Потом эту воду сливают, заливают корни чистой водой и кипятят снова до тех пор, пока они не разварятся и вся масса не загустеет. Вот к этому вареву добавляют природный минеральный кристалл под названием “ашудас” и красят шерсть, кожу. Цвет получается сдержанно желтый, что-то на грани с лимонным. А есть еще зеленоватая краска, тоже из растений, ею остов юрты красили. Это растение встречается, как правило, на каменистых склонах гор. Так вот: его сначала жгут до ярко-красного цвета, и пеплом этим, смешав с бараньим или конским жиром, мажут остов юрты вплоть до всех деревянных мелочей. Потом, прав-

да, протирают сверху сырой печенью любой живности, пусть даже коровы, это без разницы – чтобы краску закрепить. Шкуру красят еще отваром с коры карагача. О, заговорил я тебя, отдыхай, пей чай.

Я осталась в немалом изумлении – откуда он все это знает? Вчера, например, у Бахытжана застопорило перевод, значения слов не знает. Как всегда, прибежал к отцу.

– Папа, что такое “тазтырна” и “казанат”? Тоже мне, выкопают уравнение с тремя неизвестными – ищи потом, – озабоченно бурчал он. – Через страницу прерываюсь.

– Э-э, да это же породы лошадей, что в песках живут. “Тазтырна” щупловата, тонка в кости, для езды неудобна, не очень быстра в беге, избирательна в еде. А “казанат”, по сравнению, более сноровистая лошадка, и ездоков у нее больше. Она выносливее, в еде неприхотлива – любую траву щиплет. Вот из этой породы могут произрасти победители байги. Но обе разновидности, впрочем, практически непригодны вне песков. На равнине у них копыта в разные стороны разъезжаются и ход неровный.

Получив совершенно неожиданную для него исчерпывающую информацию, Бахыт только руками развел:

– Ну-у-у, папа! Ты прямо ходячая энциклопедия, – и с признательностью, в которой прочитывалось довольно редкое для моего мужа сочетание откровенной любви и уважения, он посмотрел на отца.

Когда он успел все это узнать? Тем более, что большую часть жизни провел не на той земле, где родился. Четыре года – в самом пекле войны, спал на льду, укрывался снегом. После учебы в военной академии – служба в Сибири, затем в другой академии преподавал тактику и другие дисциплины. Занимался литературной работой. А в целом ата прошел через все возможные тяготы земной человеческой жизни – пересказать все эти тяготы, наверное, и невозможно. А теперь вот словно долгие годы красильщиком работал, профессионала учит, секретами народных мастеров делится.

О чем они говорили дальше, я толком не расслышала: пришли Ержан со своим отцом, стали требовать к себе законного внимания, пришлось вокруг них крутиться. Бесконечные мелочные, казалось бы, домашние хлопоты очень ведь много интересной информации отнимают.

Джигит пробыл у нас около двух часов. Ата сам лично проводил его к двери – редкий случай.

– Кутпан, дорогой, дом знаешь, обязательно заходи, – сказал ему на прощание.

– Кто это? – спросил Бахыт после того, как гость ушел.

– Очень толковый, энергичный парень, с юных лет самостоятельный. На ткацкой фабрике трудится, заочно учится в Институте народного хозяйства. Без отца вырос, мать у старшего брата в Зайсане живет. У брата, по-видимому, семья многодетная, он им материально помогает. После, как диплом получит, думает к своим ехать, там по специальности работать. Сейчас редко кто из молодых так, как этот джигит, к знаниям, к культуре рвется, до того уж, чувствуется, жаден до этого дела. Молодец, человеком будет. Занятия в Народном университете казахской литературы и искусства не пропускает, сам свои собственные, незаемные рецензии на рассказы пишет, хоть и далеко не литератор. И знаете, послушал я парня – суждения то не традиционные, но верные.

Я невольно улыбнулась – ата хвастался как ребенок: впервые видит человека, а гордится им и радуется, что практически незнакомый кто-то, а не родня вовсе, стремится быть личностью. Тем более, не в обиду будь сказано, молодежь сейчас пошла более пассивная, что ли.

Кутпан потом приходил еще несколько раз. Когда не было ата, общался с Бахытжаном. Затем, окончив учебу, уехал к себе на родину, писал нам теплые интересные письма. Ата ждал их и говорил о Кутпане всегда как о родном человеке. Хочется верить, что драгоценные минуты и часы общения с ата, расположенность к искренним человеческим устремлениям, готовность пойти навстречу любому человеку труда и чести не прошли для Кутпана даром. Хочется верить, что он передал своим детям те крупницы доброты и нравственности, которые преподал ему наш ата.

* * *

В предновогодний вечер ата, заметив, как я собираю праздничный стол, сказал:

– Дочка, какой бы праздничный дастархан у тебя ни был, всегда первым подавай на стол хлеб.

* * *

Мы возвращаемся откуда-то – навстречу идет знакомый ата. После взаимных приветствий тот выразительно сокрушается:

– Как вы постарели! Как вы постарели! Как вы изменились!

– А ты не изменился, – спокойно ответил ата. – Глупость, знаешь, не старится. Дураком был, дураком остался, честь имею, – и, устремив вперед палочку, ата быстро ушел, не глядя на собеседника.

* * *

Ата возвратился с одного из собраний Союза писателей.

– Как говорится, бычок на привязи никогда не станет быком, – сказал он. – Скольких же молодых мы этак состарили. Пора уж признать и другое: старому жеребцу уж не быть горячим конем.

* * *

– Бауке, вы, оказывается, меня уважаемому хвалили, – недоуменно констатировал однажды один авторитетный писатель.

– Я специально ему это сказал, чтобы по людям распространилось.

– Не совсем понимаю вас, Бауке.

– Тактика, батенька, тактика.

– Какая тактика?

– Сказано было: “Замахнувшегося камнем протяни хлеб”.

* * *

Ата вышел от одного чиновника и с сожалением отметил:

– Вся макушка у бедняги сверкает. Видать с чванливой головы и волосы бегут.

* * *

Знал бы, где упасть, солому бы подстелил. Разделявала мясо, мучалась с куском, и в конце концов порезала себе ладонь правой руки, в которой нож держала. Как я умудрилась, разбираться в том недосуг, кровь брызжет фон-

таном. Йодом обработала, бинтом перевязала – все бесполезно, и щиплет так сильно, словно солью рану посыпали. Делать нечего, обмотала руку платком попроще и в поликлинику побежала, благо, в двух кварталах от дома. Как говорится, где болит, там и душа. Попросив разрешения у очереди, почти бегом вбегаю в кабинет, а сама уж к худшему приготовилась: вдруг сухожилие перерезалось или вена какая важная. Но доктор сказал: “Ничего страшно-го”, замазал, перебинтовал и велел прийти на следующий день. Непредсказуемое все-таки это существо – человек. Только я за порог поликлиники, как, глядишь, уже забыла про рану и начинаю переживать о том, что мои домашние теперь без горячего останутся.

Дома оказался ата, он уходил по делам. Вообще, дома никого не было, когда я проделывала над собой вышеописанную экзекуцию.

– Что случилось? – глаза по полчашки.

– Неосторожно ножом... и вот... Кровь не останавливалась, к врачу пришлось сбегать, – стесняясь своего несчастья, сказала я.

– А что сразу в предплечье не перетянула?

– Да растерялась...

– У страха глаза велики. Вы только поглядите на нее, осунулась, словно месяц болела. Растерялась она... И-и-эх, а еще в семье врача выросла, – выговаривал мне ата. Да так незлобиво и ласково, как редко услышишь от него, сурового в быту и в жизни.

И я вдруг почувствовала себя маленькой и беззащитной, на глаза навернулись слезы, вспомнились отец с матерью. Но хороша бы я была, если бы расплакалась перед ата – ведь это чувство не объяснишь. Надо что-то срочно предпринимать, чтобы замаять минутную слабость. И я как всегда ляпнула первое, что могло прийти мне в мою помутившуюся от потери крови голову.

– Как же вы теперь без супа-то?

– Без супа мы теперь никак! – усмехнулся ата.

– Очень просто, – бодро сказал подошедший Бахытжан. – Я сам готовить стану. Думаешь, у меня до тебя спецповар был? Тесто месить мне не с руки, а остальное нипочем: хочешь – рагу, а не желаешь рагу, можно и котлеты смастерить, борщ фирменный...

– Хм-м, поживем – увидим, – философски заключил ата и скрылся в кабинете.

Бахытжан не хвастался. Он действительно неплохо готовит, но только в редких случаях, а так, слава аллаху, со мной на кухне не толчется.

С того дня началась моя гнетущая свобода. Что с ней делать, ума не приложу, приткнусь где-нибудь в уголке, как ненужная вещь в квартире. Вот тебе и время, и свобода, почему же я места себе не найду? И вполне серьезно с горечью думаю о том, что, оказывается, и без меня мои домашние вполне обойтись могут. Ержана забрала к себе Бибинур-апай, молоко и продукты мой братишка носит, а тут еще Бахыт в кухню не пускает. Хотела было ему советом помочь, проследить да подсказать, где надо, а он так прямо мне и заявил:

– Будешь меня от дела отвлекать, ноги переломаю, не зуди над ухом, иди себе, последние известия слушай.

Ата меня обычно не хвалил, я думала, Бахытжанову стряпню он и есть не станет, а он с аппетитом ест да еще и нахваливает. А может, просто поддерживать сына хочет?

Так прошло три-четыре дня. Я по-прежнему бесполезна. От сознания своей неожиданной никчемности я перестала улыбаться и радоваться жизни. Безразличная к окружающему, незаметно стала отчаиваться. Это заметил ата.

– Чем слоняться в обнимку с рукой по дому, лучше бы книги читала. Не люблю тех, кто не умеет распоряжаться свободным временем, – сказал, как отрезал.

И меня будто впервые осенило. “Ох, глупая! И верно, когда у меня столько времени было?”

Недолго думая, взялась за роман одного местного писателя. Гладко пишешь, словно вязью вышивает, уверенное перо, техникой письма очень хорошо владеет. Но через десяток страниц я к нему охладела, потому что героини, какую ни возьми, все какие-то сплошь “роковые” женщины или легкомысленные, обманутые коварными мужчинами девушки. Да и мужчины не подарок: сибаритствующие бездельники. Разве это типично для нашего народа? Причем с каким самоупоением живописует автор похождения своих зараженных пороком героев! Особенно героинь – тут он вроде красок не жалеет. Какую эстетическую задачу преследовал этот мой земляк? Или так уж досадили ему в личной жизни женщины, что он мстит им таким недостойным образом?

“Неужели, – опечалилась я, закрыв последнюю страницу, – у этого человека никогда не было матери? Нет сестер, дочерей? Можно ли так не любить человека?”

Плохо это или хорошо, не знаю, но у меня с детства сформировалось устойчивое отношение к литературе как к истинному прообразу реальной жизни. Поэтому и героев я воспринимаю не иначе, как живых людей. Ну, может, живших когда-то. Более чем подробное жизнеописание столь любвеобильных дам оскорбляло мое национальное и женское чувство. Этот, с позволения сказать, писатель посмел коснуться испачканным в черной саже пером белого жаулыка моих прабабушек. Если же книга сия будет иметь несчастье перевестись завтра на русский или другие языки народов нашей страны? А молодые читатели? Какие жизненные уроки могут они извлечь из этого опуса?

Мое поколение росло под влиянием Айгерим, Тогжан, Ботагоз. Мы, сами того не ведая, учились у них и манере поведения, и способу общения, у нас были одинаковые взгляды на многие явления жизни, мы стремились быть похожими на этих высоких женщин. Говорят, время сейчас другое. Возможно. Но я знаю твердо, что во все времена ценились человечность, нежность, чистота женщины, во все времена неистребимо было идеальное отношение к женщине.

Тот писатель не достоин уважения, кто не любит своего героя, плохой он или хороший. Герои как дети, а ведь к неудачному дитя у матери и вовсе “собачьи” инстинкты: только с мясом из сердца и вырвешь. Категорически не приемлю потребительского, поверхностного отношения автора к своим “детям” – это преступно.

Вот и в этом романе: женщина, которая волею автора обделена многими достоинствами, мечется по жизни, обманывается, переживает цепь тривиальных злоключений в духе “плутовского романа” и в конце концов, обещенная и оболганная, умирает. Точнее, ее предает смерти автор: поиграл чьей-то судьбой, позабавился, надоела, вот и избавился.

В спорах с автором я зашла так далеко, что молчать более не было сил: надо было срочно с кем-то поделиться. С ата говорить на эту тему неудобно, а вот с Бахытом в самый раз. Сунулась было к нему в комнату, а он перед машинкой что-то бормочет. Это значит – у него работа “идет”: он таким об-

разом, вслух, диалоги проигрывает. Я тут же дверь и прикрыла, иначе потом попреков не оберешься: и героев я “спутнула”, и “тонкую концепцию” прервала, и слово какое-то единственное он из-за меня позабыл. В общем, все мыслимые и немыслимые грехи на тебя повесит, не отмоешься. Но я его не виню – на то они и муки творчества.

У ата тихо-тихо. Осторожно приоткрываю дверь, а он спит, свернувшись клубочком, как ребенок в люльке. Пусть спит, а то он от любого шороха просыпается. Глядишь, и вскочил уже, как солдат перед боем. Телефон, эту подлинную вражину под боком, я отключила, а сама, плотно прикрыв за собой дверь, устроилась в столовой перед телевизором.

Все равно толку от меня никакого. Передавали концерт участников художественной самодеятельности одной из областей. После трех-четырех кюев диктор объявила: “Народная песня “Акбопе”. У меня внутри будто что-то перевернулось. Моя мама-покойница любила петь за работой, особенно когда шила или вязала, часто пела эту песню. Голос у нее был такой женственный, мягкий. “Ахау, Акбопе, прощай мое счастье, ахау, Акбопе, увидимся ли вновь...” – помню, негромко пела мама, а у меня, девчонки, сладко ныло сердце, и мечта, которой никогда не сбыться, уносила меня далеко-далеко... Ах, мама, мама...

– Это не так поется! – внезапно прогремело у меня над самой головой. Меня как пружиной подбросило.

Оказывается, погруженная в свои душевные переживания, я тихонько подпевала, вернее, подвывала исполнителю и не услышала, как зашел ата. Не обращая внимания на мое крайнее смущение, он вышел. Озадаченная, я потопталась на месте и тенью двинулась за ата – по горячим следам выяснить, почему же не так!

– Садись, – кивнул он, словно знал, что я не смогу не прийти.

Но моему намерению не суждено было сбыться: как говорится, домашние планы базарные цены ломают. Прозвенел звонок – не иначе гость. И верно, приехал наш родственник из аула.

Через два дня он уехал. В уютное предвечернее время, когда после ужина в доме покойно и тихо, я улучила минутку и снова обратилась к ата с вопросом:

– Ата, позавчера вы сделали мне замечание насчет “Акбопе”...

– Да, неверно ты тогда пела. Не могу показать тебе, как надо, потому как голос подвел. Но в душе я акын – да, – не без хвастовства, в котором было что-то детское, сказал он.

– Ого, первый раз вижу акына, который не поет, – съехидничал Бахыт. – Бывает же такое.

– Бывает, – заупрямился ата и в знак протеста против сыновней иронии даже привстал с места. – Иногда душа такими мелодиями наполнена, а выразить их бессилён. Или какая-нибудь дорогая тебе песня: ведь, кажется, все оттенки звуков чувствуешь. И если кто-то эту песню перевирает, ощущение такое, будто с тебя живого шкуру сдирают.

– Э-э, теперь понял. Подобное и со мной случается, – признал мой супруг.

Приготовившись к рассказу, ата словно прислушивался к себе: полуприкрыв глаза, некоторое время он сидел неподвижно. Я же опасалась, что из-за приставаний сына он раздумает, уж сколько раз так было, Бахыта язык нам всем вредит.

– “Акбопе” я впервые услышал от акына Белгибая, он же поведал мне историю этой песни. Белгибай Бектурганов слышал ее от знаменитого певца Шашубая из Арки, а Шашубай – когда гостил в Жетысу – у автора, Саутбека. Еще один классический исполнитель этой песни – Кенен Азербает, но мне, к сожалению, не выпало счастья его услышать.

Завоевав наше внимание, он преспокойно закурил. Судя по многообещающему началу, история предстоит интересная. Но я-то какова: до сего дня была уверена, что “Акбопе” народная песня.

– Место, недалеко от которого сливаются реки Чу и Корагат, народ назвал Аша. После революции эту землю так и обозначили: волость Аша. Отсюда и происходил родом Саутбек. Знаменит-то он был знаменит, но беден так, что беднее некуда. Про Усу, его отца, и шестерых его сыновей злые языки говорили: тысячу воробьев не удержишь в его украшенном прорезами доме.

Братья Саутбека, все пятеро, так и остались при чужих порогах горе мыкать, хоть и голосисты тоже были, и собой хороши.

Жила в волости Аша красавица Акбопе, думы и воображение многих смелых джигитов она занимала. Отца ее, если не ошибаюсь, звали Утельбай. Не богач из богачей, но среднего достатка.

Слава о нежной, как раскрывшийся тюльпан, красоте Акбопе, ее тонком уме и изяществе собирала в ту местность десятки и десятки пытавших судьбу молодых и не очень молодых людей. Но девушка эта на всякого не смотрела, гордая была, честь свою высоко несла. Молва людская дошла и до Алатау: пытавшие счастья в Аше разносили славу во все стороны степи.

Саутбек-акын и Акбопе видели друг друга на тоях, алтыбаканах, шильде-хана – словом, там, где обычно собирается молодежь. И вот постепенно стали замечать оба, что нравятся друг другу. Но много ли значения имело их чувство в реальной жизни? В Алатау выискался один богатый из рода каскарау, посуливший Утельбаю большой калым. Сделка состоялась, и Утельбай с гордостью стал называть себя сватом богатея, не обращая внимания на слезы и мольбы дочери.

– А Саутбек где был? – возмущенно выкрикнул Бахытжан. – Он-то почему руки сложил?

– Э-э, сынок, ты, как ни крути, дитя своего прозаического времени. Мог ли акын и певец равнодушно наблюдать, как гибнет его любимая? Он совершил отчаянную попытку украсть Акбопе, но свора обозленных байских приспешников сковала его по рукам и ногам. Ведь один, без помощников, и лошадь под ним далеко не иноходец.

– Понятно, понятно, – поспешно замял свой конфуз мой догадливый муж. – Акбопе выдали замуж. А дальше?

– Расстояние между новым домом Акбопе и аулом Аралтобе шесть кочевков, или иначе шесть дней пути. И что же вы думаете? Сочувствующие горю Саутбека отважные джигиты вызволяют его и во главе с ним бросаются вдогонку длинному, богатому, красочному каравану невесты, что протянулся между Аралтобе и аулом жениха. Саутбек рискует головой, но все равно, пристроившись к каравану, поет о своей любви. Акбопе внимательно слушает. Поет все четыре дня и ночи, на пятый кипящий от негодования, оскорбленный в мужских чувствах жених шлет нищему акыну такое послание: “Я щадил тебя четыре дня. Теперь, когда мы вступили в границы моих владений, щадить не намерен. Теперь ни я, ни мои люди не должны слышать и видеть тебя, несчастный. А нет – так у меня хватит скота и денег на твой кун¹. Да ведь

¹ Кун – обычай откупа за причиненное увечье, смерть.

глупая голова недорого стоит”. И еще пригрозил он смертью своей невесты.

В конце концов он остается, она, лишенная последней надежды, не оглядываясь назад, переступает ненавистный порог мужа. Говорят, до самой своей кончины не расставался Саутбек с песней “Акбопе”. Бывало, пел так, что природа вместе с ним плакала, не то что люди.

– В какие годы он жил? – спросил Бахыт.

– В 1933 скончался, было ему тогда шестьдесят два года. Значит, год рождения не иначе как 1871-ый. А история эта произошла, когда ему лет двадцать пять было.

– С Акбопе что потом случилось?

– Недолго пробыла она женой того богатея, вскоре от болезни умерла, – печально заключил ата.

Бахытжан после этих слов беспокойно заерзал на своем стуле.

– Странные мы, казахи, все-таки. Дочерей растим как пери, балуем, лиц паранджой не закрываем, общение с ровесниками не запрещаем, сами не едим, не наденем, ради них с себя готовы последнее снять; а потом, глядишь, и на крайнюю жестокость идем – ради скота свою же кровиночку несчастной делаем. Не пойму я этого.

Ата почему-то пристально посмотрел на меня. Я смешалась, не знала, куда девать глаза, и стала спасительно теревить бинт на руке. То завязываю одной рукой, как могу, то развязываю и чувствую немигающий взгляд ата. Полагая, что он собирается что-то сказать, прождала минуты две-три, а больше не вытерпела.

– Чай поставлю, – не поднимая глаз, буркнула я и выскользнула из комнаты.

Через какое-то время следом вышел Бахытжан. Вдвоем мы внесли в кабинет все для чая.

– Дочка, – повернулся ко мне ата, – я недавно задумался и не нарочно взгляд на тебе остановил, извини, ты, кажется, на свой счет это приняла.

Вот так всегда: сам вводит в заблуждение, сам и выводит.

После одной пиалы чая ата, с теплой признательностью глядя на нас обоих, как смотрят на маленьких просто за то, что они существуют на белом свете, сказал:

– Чай у вас сегодня необыкновенно вкусный. Давайте-ка я вам еще одну историю расскажу.

– Бедный отец! – сделал Бахытжан плаксивое лицо. – Чай у родной снохи за рассказы покупает!

– Баха, ну погоди, – смеясь, отмахнулся ата. – Не каждый день это в голову приходит. От Белгибая-ага слышал я еще историю Сандибалы.

Степенно разгладив усы, глядя куда-то далеко поверх наших голов, он неторопливо, как истинный сказитель, начал:

– Отец Сандибалы Жарылгап и отец Акбопе Утельбай – родственники, их деды стояли у истоков рода. Когда Акбопе выдали замуж, Сандибала была еще миловидным ребенком девяти-десяти лет. Отец ее небогат был и скром, но калымом не прельщался, хотя охотников совершить помолвку малолетних доставало. Седобородым посланникам-сватам он так и говорил: “Мала еще. Подрастет – сама выберет”. А та год от года становилась все более похожей на старшую сестру свою, нареченную Акбопе: и умом, и красотой, и изяществом. Как полноликая луна, освещала она округу. К тому же мастерицей слыла непревзойденной – ковры девушка ткала, вышивала, будто звезды по небу легкой рукой рассыпала. Нрава была веселого, легкого. Все хорошо, но вот только отцу ее, Жарылгапу, совсем покоя не стало, многочисленные сваты словно соревнование между собой затеяли, кто богаче и сильнее, тот и возьмет. Но Жарылгап гордый человек был, золотому мешку не кланялся. Верный своему слову, он отдал дочь полюбившемуся ей джигиту. Избранник ее, Салтыбай Турганулы, не богач и не нищий, но заметный сорвиголова был: за словом в карман не лез, свободу ценил выше собственной головы, и не родился еще тогда человек, которому бы он по своей воле повиновался. Простой люд его любил, всюду вокруг него народ вился. Ведь он одним словом богатого обидчика с коня валил.

Да ведь у таких, кроме почитателей, и врагов много. Врагов Салтыбая утроилось, когда он, “задира и оборванец”, женился на красавице Сандибале, до которой пухлые руки не одного десятка богачей оказались коротки. Короче, упрятали нашего героя в тюрьму. Нашли причины – против царя выступал, скот воровал и прочую, тому подобную, небыль. Состряпали, как полагается, свидетелей, бумаги чин чином оформили. Простой люд посочувствовал, поплакал – а больше он, беззащитный, что может?

Итак, в 1903 году Салтыбаю дали двенадцать лет и погнали по этапу в Сибирь. И юная жена его, собрав худую котомку, устремилась следом. Пред-

ставьте себе такую картину: унылая, без конца и края колонна закованных в кандалы угрюмых, измученных людей, озлобленные солдаты на карауле и тонкая фигурка в хвосте, упорно вышагивающая по трудным мужским дорогам. Поначалу ее гнали, начальник конвоя даже застрелить грозил, а потом уже не обращали внимания – идет себе, безмолвная, и идет.

Долгих полтора года добирались они до места. Салтыбай с другими добывает золото на берегу реки Лена. И жена его недалеко обосновалась, тем и держалась там, что кому постирает, кому заштопает, где почистит – людей жалела и работающая была, жизнь любила. Да и мужу на пропитание, на одежду худую зарабатывала. К ней привыкли, ей радовались, словно весточке с воли. Но все-таки климат в Сибири суровый, зима лютая, ей же и двадцати в ту пору не исполнилось. Двенадцать лет была опорой мужу. Двенадцать лет рядом с ним в грязи и холоде выстояла. Привела его в родной аул...

– Какое мужество! – с восторгом перебил отца Бахыт.

– ...к постаревшим своим аулчанам, которые ждали их и готовы были поставить ей при жизни памятник. Недолго им пришлось быть вместе на воле: вскоре умер Салтыбай. Не вынес, несчастный, каторжной работы. Сандибале своих детей целовать не пришлось, так она взяла на воспитание маленького сироту, чтобы поддержать, продолжить шанырак мужа. В Сибири она научилась русскому языку, узнала письмо и, поскольку до революции была в тех краях “двуязычной” чуть ли не единственной, волей-неволей стала переводчицей. Многим беднякам в тяжбах помогала.

Словом, дожила она до преклонного возраста, вырастила сына и скончалась в сороковом году.

– Папа, это ведь ничем не уступает истории Марии Николаевны Волконской, описанной Некрасовым, – восхищенно качал головой Бахытжан, переполненный высокими эмоциями, ерзал в своем кресле так, что оно скрипело.

Ата спокойно выждал, пока сын немного утомонится.

– Их, Сандибалу и Волконскую, нельзя сравнивать. Тем не менее преданность и самопожертвование декабристских жен потрясли не только Россию, но и всю Европу. Выросли в шелках, воспитаны в роскоши, и вдруг с неподдающимся объяснению упорством пробиваются в Сибирь. Но Волконская ехала за мужем в окружении прислуги, в коляске, при

деньгах. Жен декабристов не унижали, не стращали оружием, поскольку белая кость, дворянское происхождение само по себе гарантировало им относительную независимость. Кроме того, они были начитанны и образованны, знали законы. Они были вхожи в любые двери и могли отстаивать свои права.

А Сандибала? Чем, кроме слепой любви и преданности, была вооружена она? Не видела ничего дальше своей волости. Представьте себе, каким бесправным, отторгнутым от мира существом должна была она чувствовать себя там, на холодной дикой чужбине, среди чужих людей. Так что пути-дороги декабристских жен и Сандибалы немного различаются, хотя, разумеется, каждая из них достойна вечной памяти.

– А родственники у Сандибалы остались? Ведь умерла-то она сравнительно недавно, наверняка многие ее помнят, – сказал Бахытжан.

Ата лишь пожал плечами, окольцованный белым дымом.

– Кто-нибудь писал про это? – опять спросил мой муж.

– Не знаю, – не выпуская изо рта мундштук, ответил ата. – Может, кто и писал, но я не видел.

В этот день мы поздно легли спать. И я позже всех. “Проклятая рука, как же это меня угораздило? – в сотый раз сокрушалась я. – Ни ручку, ни карандаш не держит, а такое надо с пылу с жару, пока не остыло, записывать”. Но нет, такое вряд ли остыть может, на то мы и люди.

Почти до самого рассвета не могла сомкнуть глаз. Душа моя потеряла покой и веру в себя. Перед глазами, как в тревожной, насыщенной событиями панораме дня, сменялись картины жизнью Акбопе и Сандибалы. Картины были одна живописнее другой. Но все-таки какие-то не поддающиеся сознанию темные глубины моей психики подсказывали, что, как бы ни разыгрывалось мое воображение, эти женщины останутся для меня великой тайной. Кто из нас, смертных, может быть уверен, что до конца разгадал природу чьей-то единственной хрупкой судьбы?..

“Зачем аллах обделил меня писательским даром?” – с горечью думала я, без сна ворочаясь в постели. Да-а, нашелся бы художник – достойное перо. Ведь материал тем благодарнее, чем достовернее: а эти истории – документ времени. Впрочем, даже если это и вымысел... Ведь и документальность не гарантирует высокого, действительно художественного слова. Все зависит от

личности автора. Например, не так давно я не могла не упрекнуть одного писателя, приятеля и ровесника Бахытжана, в том, что он несправедливо много пишет о легкомысленных женщинах. “Так надо, – уверенно ответил он. – А то конфликта не будет. Читателю без него не интересно”. “Пропади пропадом такой конфликт, который оскорбляет женщину”, – обиделась я тогда.

...Позже, разбирая бумаги ата, я обнаружила папку с надписью “Белгибай акын”. В ней были переписаны с десятков песен Белгибая и по-русски изложено, как акыны прошлого передавали друг другу песню “Акбопе”. Я надеялась, что найду отдельные повествования об Акбопе и Сандибале, но увы... И все-таки до сих пор не верю, что ата мог по памяти, ничего не фиксируя, держать в голове все имена, даты и подробности тех далеких событий.

* * *

Ата обычно разъезжает летом. Но в этот год нарушил свое правило, уезжал в Джамбул в середине ноября. К внезапности его отъездов я давно привыкла, но, как говорится, за сорок шагов от дома родной человек страдальцем кажется. Места себе не нахожу, пока не вернется. Конечно, встречали его везде хорошо, но в современной сутолоке мало ли что случается. К тому же здоровье у него слабое, и возраст не тот, чтобы и самолеты, и автобусы дальнего следования переносить; за ним уход нужен, а если из гостей в гости – то какой уж тут режим? Уж сколько раз он болел после таких путешествий – так нет все равно едет.

Наверное, в Джамбуле дела ждут какие-то неотложные, раз перед самой зимой уехал, напрасно успокаивала я сама себя. Провожая, просила, чтобы сразу по прибытии телеграмму выслал, но прошло уже два дня, а никакой весточки нет. Только на третий день утром пришла телеграмма на имя Ержана – с тех пор, как мы живем вместе, он все послания домой на имя внука шлет. “Ержан я доехал хорошо сейчас уже ауле вернусь через месяц слушайся бабушку отца с матерью твой ата”.

Мы все несказанно обрадовались, а Бахытжан, раздобывшись, даже ценное предложение сделал:

– Ты после Бериккары из Алма-Аты шагу никуда не ступила, бедная. Все с домом да с моими болезнями. Они когда у меня кончатся, кто знает?

Завтра, может, слягу, а может, здоровый, как десять шайтанов, буду. Пока давай воспользуйся моментом – съезди на недельку в Москву, развеешься, столицу посмотришь.

Ехать так далеко, чтобы просто отдохнуть и развеяться, показалось мне странным. Не привыкла я к такой роскоши, втянулась в свою будничную, заполненную приятными заботами о близких жизнь. У мужа ни старших братьев-сестер, ни младших – один как перст, надеяться нам не на кого, разве на себя самих только. Поэтому стоит мне куда-нибудь уехать, ощущение возникает такое, будто там без меня солнце не встанет и день не начнется. И сразу же вспоминаются десятки незавершенных дел, требующих моего срочного вмешательства.

После недолгих взаимных препирательств решение было принято. С Бахытжаном останутся мой братишка Камал со своей женой Корлыгайын. Ержан поживет у апаты, не впервой. Апа сначала сама к нам хотела приехать, но Бахыт воспротивился – старому человеку с нашего седьмого этажа вверх-вниз бегать несподручно.

Завтра в четыре утра самолет, пора вещи укладывать. Когда я лелеяла свое чемоданное настроение и попутно пекла-жарила своим на неделю вперед, внезапно раздался длинный нетерпеливый звонок. Это “почерк” ата, который невозможно ни с кем спутать.

– Сегодня меня, наверное, никто не ждал, – громко объявил ата, входя.

– Да, сегодня как раз не ждали, – подтвердил Бахыт.

– Что-то беспокойно мне стало, домой потянуло. Думаю, доберусь, пока не заболел. Вот сполоснусь только и остальное доскажу, – пообещал он и скрылся в ванной.

– Камал, – позвала я брата, – езжай в аэропорт, сдай билет. А ты, Бахытжан, держи рот на замке, не проговорись случайно про нашу затею.

– Не буду держать. Все расскажу, – пригрозил муж.

– Нет, не скажешь, – заупрямилась я. – Я никуда не поеду.

– Давно бы уже съездила и вернулась, – повысил он голос. – Девять дней голову морочила: поеду – не поеду. Еще девять дней собиралась раздумывать? А?

– Айналайын, говори потише. Ата с дороги уставший, а я, значит, отдыхать поеду? Камал, шевелись, вот билет...

– Почему вы так суетитесь? Может, я не вовремя вернулся? Так я завтра же могу уехать! – неожиданно громко прозвучал голос ата. Мы все так увлеклись препирательствами, что не заметили, когда он вошел. Сноха моя Корлыгайын, бедняга, устремилась искать спасения на балконе, братишка исчез в соседней комнате, а моя подруга Куляш, которая пришла проводить меня, безмолвно опустилась на стул. Обо мне, “виновнице”, и говорить нечего. Один Бахтыжан, с усмешкой глядя на отца, преспокойно сказал:

– Вот и хорошо. Вместе с Зейнеп тронетесь.

– А куда Зейнеп собралась? – изумленно посмотрел на меня ата.

– Сядь, папа, успокойся, сейчас все по порядку доложу.

Я думала, ата сердито махнет рукой и уйдет в кабинет, но он послушно сел на предложенное место. Одна его бровь все еще возмущенно изогнута, но облик в целом вселял надежду.

– Дело в том, папа, что мы поверили телеграмме. Я сагитировал твою сноху отдохнуть в Москве. Камала с женой специально сюда позвали, Корлыгайын в отпуске. Внук твой у апасы бегаёт. А Зейнеп должна была завтра в четыре утра уже улететь. А теперь вот упрямитесь: не поеду, говорит, билет сдавайте. Скажи ей, в самом деле.

– А-а, это дело верное. Ты должна ехать, дочка, – тепло сказал ата. – Столицу посмотришь, в Мавзолей к Владимиру Ильичу, может, попадешь. Обо мне не беспокойся, спасибо тебе за заботу. “Звезда” Камал-паши чай горячий приготовит, а я, пока ты не приедешь, буду тихо лежать, никому мешать не стану.

Теперь лицо его тихо, как бы изнутри, светилось ласковым светом, а у меня, наоборот, испортилось настроение. Если я, которая немного изучила ата, не всегда нахожу к нему подход – жизнь нет-нет да и тычет меня, как слепого щенка, носом в землю, – то что сумеет предпринять Корлыгайын? Нет, нельзя мне трогаться с места.

– Ата, я не хочу ехать.

– Хватит безобразничать! – пресек он мои колебания. Попробуй, если ты смелый, поспорь тут.

– Вот именно, – влез Бахытжан. – Поучи ее, поучи. А то она без тебя чуть ли не танцевала у меня на макушке: хочу – не хочу.

Камал прыснул: он, наверное, вообразил, как я отплясываю на голове его жезде.

– Со мной шутить можно, но баловаться нельзя, – громко произнес ата, оборотившись ко мне, жавшейся к косяку двери. – Понятно?

– Понятно, ата, – кротко согласилась я.

Мне оставалось только дать подробные “инструкции” своей снохе с тем, чтобы не создалась ненароком взрывоопасная критическая ситуация.

На другой день добралась до золотой нашей столицы и первым делом поехала на Красную площадь. Там, пристроившись в хвост длиннющей очереди и выстояв пять часов, увидела великого Ленина. Потом вместе с людьми поклонилась могиле Неизвестного солдата.

Я не стану описывать, какие чувства испытала, потому что это неизбежно повлечет за собой оттенок лицемерия или даже кощунства. Не родились еще такие слова, которые подлинно обозначили бы глубину и неповторимость этих чувств. Поистине, только святое молчание их достойно.

Мой ата был там, на войне, вместе с Неизвестным солдатом, вместе с тысячами неизвестных они выстрадали страшную войну. И сегодня, когда их осталось в живых всего с горсточку, я с тревогой думаю, все ли мы делаем для того, чтобы окупить хоть малую долю этого подвига? Все ли я делаю для того, чтобы скрасить нелегкую жизнь одного из причастных к этому подвигу – моего ата. “Апыр-ай, как же я, бессердечная, могла оставить ата! Ведь они не знают, какой он в болезни беспомощный, беззащитный, – усевестилась я под впечатлением своих переживаний о войне. – Разгуливаю тут, а дома неизвестно что творится”. С той минуты словно заноза вонзилась мне в пятку, побежала менять обратный билет на ближайший рейс. И на следующий день со спокойной душой перешагнула порог родного дома.

* * *

Сегодня утром, как всегда, отнесла кипу газет ата. Слышу, через некоторое время зовет.

– Тут тебе письмо.

– От кого?

– Не знаю.

Спросила автоматически, а вышло не совсем удобно. Ни ата, ни мы никогда не смотрим на обратный адрес и тем более не читаем чужие письма. Часто, если письма интересные, устраиваем своим домочадцам громкие читки.

– От Алтыншаша, оказывается, – сказала я.

– А кто это? – удивленно поднял брови ата.

– Моего младшего ата сын, он в армии служит.

– Пах, пах! С каких пор сей сорванец золотым стал? (алтын – золото – З. А.). Худую дворняжку Борибасаром (Волкодавом – З.А.) в шутку кличут.

– Да это я его, баловня, так прозвала.

– Ах та-а-ак! – нараспев протянул ата. – И ты приспособилась прозвища давать. Молодец, это тоже умение.

В его словах мне послышалась ирония. Сама дождалась, надо было взять письмо и выйти, нечего было выстаивать. Впрочем, мне не впервой на острый язычок попадаться, переживу. Но что, собственно, тут особенного? Как хочу своего родственника, так и называю. У ата есть младший брат Абдильда. Его сынишка Бекет и есть автор письма, сейчас в Германии служит. Золотоволосым я его прозвала потому, что шевелюра у него имеет редкий для казахов кофейно-золотистый оттенок.

В силу какой-то непонятной инерции я осталась стоять на месте, чувствуя на себе настойчивый взгляд ата. Эти две-три минуты показались мне вечностью. Положение мое, согласитесь, глупейшее: стою как онемевшее изваяние, кусок бумажки в руках тереблю. Нет, пусть и неловко вышло, а все же надо уйти подобру-поздорову, мало ли что я в следующую минуту ляпнуть могу.

– Подожди. Садись сюда.

Ата снял очки, отложил газеты. Поправил под спиной подушку и, многозначительно подняв вверх указательный палец, начал:

– Далеко не у всякого народа так развита традиция давать имена-прозвища, как у казахов. Находятся “знатоки”, которые связывают ее якобы с отсталостью, низким образовательным уровнем. А по-моему, это большое искусство, ибо метко и точно обозначается самый характерный штрих, недаром прославлены такие острословы в народе, как Жиренше-Шешен. Но ты понимаешь, конечно, что хуже нет, когда Жомарта искажают как Жорика, Алимбека зовут Аликом, а Сауле – Соней. Бахыт, помню, впервые приехал в аул, и

тетка его Урзада (мама Алтыншаша) назвала племянника, как принято почти-тельно называть особо уважаемых молодых родичей, Торежаном. На что он, городской неуч, принялся возражать: вы ошиблись, меня зовут Бахытжан. Зато потом, когда ему все объяснили, дома всем знакомым полгода рассказывал, как его уважили.

Давным-давно, когда я был еще мальчишкой, сноха одного аксакала по имени Сегизбай в шутку назвала его “две четверти кайнага”¹. А я от смеха по полу катался – не понимал, дурак, как верно тут половинчатую суть обозначали. Да-а, наш народ скор на собирательный портрет. Ведь и язык наш, относительно небогатый по словарному запасу, удивительно гибок и образен. Одно-единственное слово содержит в себе целую гамму ярких красок и чувств. И величественная гора, и крохотный источник, затерявшийся в траве, – все в народном языке имеет свое любовное название. И, опять же, заметь: не только любовное, но и мгновенно и верно отражающее суть явлений природы в границах человеческого ее уразумения. Иные – те, кто не чувствует языка, – тратят на описание какого-либо явления гору пустых, холодных слов. А некто, по уши вросший в свою землю, двумя-тремя словами выразит то, на что так тратился этот ученый “языковед”.

Ата задумчиво накрутил ус на указательный палец.

– Дочка, принеси-ка сюда коричневую папку в третьем ящике.

Я нашла там две одинаковые коричневые папки и для верности принесла обе.

Он быстро перелистал содержимое одной из них и с возгласом “Вот она!” вынул красочно оформленный журнал “Прага – Москва”.

– Чехословацкое издание. Подойди ближе. Если немного разумеешь в латинской грамоте, то прочтешь подпись к этой фотографии.

На развернутой странице журнала слева был изображен великолепный Фидель Кастро – в военном берете, с сигарой в зубах. Единственное, что я “уразумела” из пестрых строчек внизу, это “Фидель Кастро”, “За нами Москва”, “Бауржан Момышулы”. Небольшим усилием ума сложила из трех отрывков предложение “Фидель Кастро читает книгу Бауржана Момышулы “За нами Москва”. А на левой стороне разворота портрет самого ата. Лихо приподнят

¹ Кайнага – старший брат мужа.

воротник белоснежного полушубка, немного воинственно и чуть вызывающе – в стиле Бауржана Момышулы – сидит на голове папаха. Чешский журналист Вацлав Кубик написал про ата обширный материал, и мне оставалось только, подобно неграмотной старухе на заре века, с невыразимым уважением погладить глянцеватый лист.

Но какое, я думаю, отношение это имеет к нашей беседе о прозвищах? Оказывается, материал называется “Правда о Шантимесе”, а “Шантимес” – детское прозвище ата. Буквально с казахского “Тот, к кому не пристаёт пыль”, и дано было за озорство, дерзость, пренебрежение азами учебы в школе муллы.

– Летом 1962 года, – начал ата пускать художественными кольцами дым, – в Алма-Ату приехал Вацлав Кубик. Мы встретились у меня дома, проговорили три часа. Слово за слово, дошли до традиции казахов давать имена и прозвища. Рассказал ему два-три эпизода, а он про это, оказывается, впервые слышит. Так удивился, что даже кепчонка на его голове набок съехала. Но про “Шантимеса” ему не говорил ни слова, видать, сам у Бека в “Волоколамском шоссе” вычитал. Потом Кубик уже из Чехословакии выслал мне журнал со статьей – честно сказать, до сих пор не знаю, хвалит он меня или честит за милую душу. Позже, в шестьдесят третьем, когда я ехал на Кубу через Чехословакию, в гостиничном номере, в Праге, объявился в один прекрасный день обвешанный фотоаппаратами молодой человек. По-русски он не понимает, по-казахски тем более. В руках прямо перед собой держит мою фотографию в молодости, еще в начале войны снимался. Под фотографией крупно и неумело выведено: “Он ли?” Я понял, что он хотел узнать, и, не говоря ни слова, под его похожим на само отчаяние “Он ли?” написал свои имя-фамилию.

Назавтра газеты зашумели на тему “Бауржан Момышулы в Праге”: за один какой-то день я стал самым модным человеком в столице чехов. Многие стали меня искать, а я – как порядочная знаменитость – не находить времени для встречи со всеми подряд. Но вот прибыл однажды мой бывший воспитанник, бывший слушатель Академии Главного штаба полковник Хомач, и выразил желание покатать меня по городу на машине. Тут подоспел мой старый знакомый Кубик и увлек нас к себе в гости. Грозился, что обидится на всю оставшуюся жизнь, пришлось ехать. Супруга его Доланка, премилая женщина, накормила нас очень вкусно. Мой Кубик снова затеял беседу об особенностях казахов нарекать именами. Не знаю, чего они с женой так удивля-

лись, охали да ахали, задавали много вопросов, записывали все дословно. Вот, дочка, иногда то, чему мы значения вовсе не придаем, у других вызывает такой неожиданный интерес.

Я тоже, как и мой ата, до сей поры не знаю содержания статьи “Правда о Шантимесе”, так и не довелось прочесть в переводе. Но знаю наверно, что чешский друг рассказал о чистоте и честности, которых “не коснулась пыль” нашей суетливой жизни, одного из высоких сынов казахского народа.

* * *

Я до крайности щепетильно отношусь к понятию “связи”. Всячески избегаю их и стараюсь не обнаруживать свою причастность к знаменитой фамилии. Предпочитаю выстаивать в многочасовой очереди или, махнув рукой, иду на базар, к частникам, хотя уверена, что и в государственных торговых точках нашлись бы люди, которым было бы приятно “достать” кое-что из продуктов “для самого Момышулы”. Некоторые мои друзья полушутливо-полусерьезно упрекают меня в том, что я “не умею жить”, то есть элементарно не умею, пользуясь именем, заходить в магазины с черного хода. А по мне так, как все, лучше – душа спокойна и совесть в порядке. Великое это дело – довольствоваться малым, ведь человеческий глаз, как известно, зачастую трудно бывает насытить. Да и не обязываешься ни перед кем.

Но ведь реальную жизнь тем не менее не запланируешь. Бывает, так прижмет, что с ощущением не совсем понятной мстительной радости угрожающе думаешь: “Ну, погодите! Прямо с завтрашнего дня, не откладывая, начну пользоваться знакомыми!” Через некоторое время весь мой щенячий запал проходит, и я уже безропотно шагаю на рынок, благо он совсем рядом. Как говорится, живущий близко к базару не разбогатеет, и через полчаса в моих карманах вновь воцаряется девственная пустота. А домашним до моих мучений разве есть дело? Им вынь да положь полный дастархан, да еще чтобы для любого гостя он обязательно щедрым был. А сами о рыночных ценах понятия не имеют. Я даже подозреваю, мой супруг думает, что масло и хлеб на деревьях произрастают. Тем не менее любит повторять одну мудрую для таких знатоков поговорку: “Не наполненную едой золотую чашку в огонь бросить не жалко”.

Вот и сегодня была на рынке. Только шум и слова там не продаются.

Домой пришла – отец с сыном о чем-то дискутируют. И тут слова. Но это уже далеко не про баранью ляжку и цены на лук, это у них разговор о вещах все больше из области высоких материй. Раскладывала покупки и слушала разглагольствования Бахытжана.

– Ты несправедливо обращаешь внимание на отрывочные слова и понятия. Вне общего контекста идеи ничто. К тому же одно-два слова всегда можно и поменять, ничего страшного. А может, и менять не стану, может, мне так нравится, – упрямо заявил он в финале.

Пошла к двум Момышулы и с порога чуть не задохнулась. Кабинет полон густого дыма, а у них на лицах ни малейших признаков беспокойства о своем здоровье, знай себе чешут на умные темы. Я бегом распахнула окно, вынесла полную пепельницу. Возвратившись, застала взъерошенного, как петуха после драки, Бахыта и ата, спокойно и ровно убеждающего в чем-то сына.

– Употребленное не к месту слово подобно кривому зубу – сразу в глаза бросается. Запакуй ты этот зуб в золото, все равно он кривой. И главное, из-за него здоровые соседние зубы свою красоту теряют. Так и верный, толковый текст одно неуместное слово портит. А ты не хочешь понять этой простой вещи.

Судя по всему, ата делал замечания по поводу нового рассказа Бахытжана. Последний же, по своему обыкновению, ни за что не хотел соглашаться.

– Вот ты, папа, сравниваешь мой рассказ с батальоном и что слова мои, мол, похожи на безликих, вымуштрованных солдат. А сам бичуешь меня за всякую мелочь, как исполнительный старшина солдата за оторванную пуговицу и ослабленный ремень.

– Что ж в этом плохого, – сказал ата. – Не станешь же ты отрицать, что в строгой дисциплине есть смысл. Дисциплина во всем – в одежде тоже. Такие лентяи, как ты, этого не понимают, для вас справедливо разве что, единственно, горизонтальное положение на кровати. Я, если хочешь знать, жалею, что не всем в армии выпадает понюхать увесистый кулак старшины.

– У нас солдат не бьют, это противозаконно, – поспешно вставил Бахытжан.

– Лично для тебя, кстати, это было бы небесполезно, – ата задумчиво посмотрел на сына. – Ты утверждаешь, что я рассуждаю как солдафон, так?

Допустим. Но что прикажешь делать, если в строю моих солдат я обнаруживаю расхлябанного неряху? Я выгоню его из строя! – и ата резким взмахом руки показал, как сделает это в действительности.

– А почему ты гонишь человека, не узнав причины? Может, он хочет воплотить в жизнь вековую мечту о сближении армии и народа. А? – ехидно поинтересовался Бахыт.

– Помолчи! – сверкнул ата глазами. – Не юродствуй! Не хочешь слушать, теки отсюда беззвучным ручьем.

– Ну-у, папа, – примиряюще затащил Бахыт. – Что я такого особенно-го сказал, уж и пошутить нельзя.

Ата обиженно промолчал. Вставил в мундштук сигарету и, выдерживая характер, долго пускал дым сквозь бурые усы. И только через несколько минут напряженной тишины неожиданно, без предисловия, начал:

– Ты, сын, собрался быть писателем. Это трудное занятие – так слушай и используй советы старика. Писатель, который не понимает важности значения слова – неважно какого, громкого или обыденного, – не понимает, стало быть, значения писателя вообще. Оружие писателя – язык, слово. А разве может называться хорошим тот солдат, который скверно обращается со своим оружием? Нет, категорически не может. Писатель – это воин, который никогда, ни при каких обстоятельствах не должен подавать в отставку. Он – бессмертный боец переднего фланга. В современной войне идеологий слово “писатель” должно быть сродни меткой пуле. Кому-кому, а ему непростительно отсутствие твердой позиции, равнодушие к точному, вескому слову. Кто-то склонен рассматривать это ответственное дело как сочинительство в плохом смысле или, точнее, как ремесло. Собственно техника, степень владения словом имеет значение лишь тогда, когда есть идея – большая, замечательная, выстраданная идея. Без нее текст неизбежно превращается в словоблудие. Разумеется, каждый реализует идею по-своему, это сугубо индивидуально. Но в каждом абсолютном случае вещь состоится только тогда, когда ей, идее, подчиняют разум, душу, волю и руки.

Вот тебе мое частное мнение на этот предмет: хочешь – принимай его, хочешь – нет.

Бахыт был весь внимание.

– Живое слово не терпит небрежного, схематичного с ним обращения.

Оно справедливо мстит за себя. И никакие красоты, никакая живопись тут не помогут. У писателя завидная аудитория — тысячи, сто тысяч читателей. И у него все-таки, как ни суди, завидная судьба: владение миром, созданным его воображением, обладание душами людей. Человек, называемый писателем, является провозвестником мира от имени народа в других странах. Он выражает добрую волю своего народа. Это большая сила. И если ты в нее не веришь, отступи. Но если решился — держи свое оружие в чистоте.

Слушая ата, я перезабыла все на свете. Мои казаны и кастрюли остались стоять на кухне порожними. Надо идти, пока мне об этом не напомнили вслух, опять переживаний не оберешься, хотя их беседа была еще далека от завершения. У нас в доме обычно поводом для большого интересного разговора служит зацепка из реплик Бахытжана, временами очень даже творчески задиристого. Спасибо ему: иногда, в перерывах сермяжных забот, и я слушаю полезные вещи. Ата умеет о сложном говорить просто, доступно и глубоко.

Он пристрастно следит за творчеством сына, хоть и не показывает виду. При случае непринужденно и строго высказывает свое мнение. Причем никогда не критикует и не задает вообще внешнюю сторону произведений: особенности стиля, психологическую окраску, словом, все, что касается способов художественного выражения. Но до болезненности восприимчив к авторской идее. “Писатель без позиции опасней бездарности”, “Пышнословие скрывает сырую мысль”, — любил повторять он. Может, оттого, что ата сам привык открыто выражать свои взгляды, он не щадил лицемерия, неискренности не только в обыденной жизни, но и в такой, казалось бы, не поддающейся точной раскладке сфере, как творческий вымысел, воображение. Наверное, он судил жестко, но справедливо.

Когда вышла вторая книга Бахытжана, русские его коллеги написали в газеты и журналы рецензии. Не обошлось и без критики, и это хорошо. Было бы гораздо хуже, если бы хвалили всё подряд, как попугаи. Я не верю такой “критике”. Кто-то хвалил, кто-то был сдержан в оценках, а один так прямо откровенно расстроился. Но я почему-то радуюсь такой полярности мнений — талантливая вещь ведь всегда бывает неоднозначной для широкого круга читателей. Пусть огорчатся и спорят, работа души не пройдет бесследно. Я лично стремлюсь прочесть именно те книги, авторов которых ругают особенно темпераментно. Думаю, нет трагичней судьбы того писателя, книги

которого похоронены заживо. И относятся-то к таким обычно почтительно, но на расстоянии – почти как к живым мертвецам.

Так вот, когда вышла вторая книга Бахытжана, ата не стал читать ни одной опубликованной рецензии, сколько бы мы ему их ни совали. Вначале, вооружившись остро отточенным карандашом и торжественно водрузив на нос очки, испещрил поля выразительными заметками. Иногда вопросительные знаки чередовались с восклицательными. На том дело не кончилось, в один из вечеров ата устроил дома жаркую дискуссию, в которую оказался вовлечен даже маленький Ержан – испуганно глядя на разгоряченных дискутантов в лице деда, матери и отца, он, в зависимости от температуры сторон, перебегал то к отцу, то ко мне с дедом. Когда страсти поостыли, ата подытожил:

– В целом неплохо. В первой книге ты не смог скрыть свою обиду на людей, тоже мне, гордый изгой выискался. Тогда ты обвинял чуть ли не весь белый свет в том, что тебе, избранному, живется не так, как мечталось, между строк сочились твои душещипательные слезы. Унизительная жалость, которую вызывают эти слезы, должна быть, по-моему, оскорбительна для всякого более-менее уважающего себя человека. Здесь ты выглядишь достойнее, герои на людей стали похожи. Не гонись, сынок, за количеством. Например, Ершов прославился одной только сказкой. Грибоедовское “Горе от ума” перевернуло всю историю литературы. Для писателя нет ничего губительнее самоповторения. Такой скоро иссякнет. Но ты, хвалю, на месте не стоишь, есть шаг вперед. Здесь уже более осознанно, тверже изложена мысль. И впредь поступай только так: цель должна быть выше представляемых тобой собственных возможностей. Только так может быть обеспечено поступательное развитие вперед.

Да, это прозвучало очень убедительно. А теперь смотрите, какая интересная вещь приключилась с нами через несколько дней после этого разговора. Мы с ата пошли в издательство “Жазушы” по поводу одной рукописи ата. Редактор русского издания его книги, старейший работник издательства Нина Александровна Муханова, прежде чем приступить к делу, захотела поделиться приятными впечатлениями от новой книги Бахыта. Но успела произнести лишь один-два эпитета – далее ее, не церемонясь, прервал ата.

– Я его не читаю, и о чем он там пишет, не ведаю.

Ну попробуй его понять, если ты сильно умный. Я часто-часто захо-

пала глазами и с выражением крайнего изумления уставилась в непроницаемое лицо со строго торчащими в разные стороны бурыми усами. Да что я, Нина Александровна ахнула:

– Не может быть.

– Нина-ханум, давайте закруглим на этом наши охи и приступим к делу, – отрезал ата.

– Да-да, приступим, – смешалась бедная женщина. Поскольку я была лишней при их деловом обсуждении, то решила выйти переживать услышанное за дверь. Там, в укромном уголке коридора, наблюдая за озабоченно бегающими взад-вперед бумажными работниками, почувствовала, как где-то глубоко внутри моего безропотного сердца начал теплиться злой протест. Чем больше я его лелеяла, тем больше и злее становился этот протест, и вскоре ему стало тесно в груди. “Что же это получается! – молча воскликнула я тогда. – Ведь читал же и даже семейное обсуждение устроил. Зачем же при мне людей обманывать?!” Повозмущавшись таким образом минут пять, я успокоилась: ата виднее, где что говорить. Может, у него стратегическая задача какая-нибудь новая в отношении сына выработалась. Сам попозже, наверное, и просветит. Но ата и не думал рассеивать мое недоумение. Вышел как ни в чем не бывало, о чем-то постороннем всю дорогу рассказывал. А у меня из головы его обман не выходит. Получается, цель оправдывает нечестные средства. Да и жестоко такое пренебрежение к сыну. Впрочем, Бахытжану не впервой страдать из-за жестокости отца. Обида за мужа занозой вошла мне в сердце. Ата же, словно нарочно, принял на редкость беззаботный вид, шел по центральной улице, легко и прямо-таки франтовато выбрасывая вперед свою резную трость. На половине пути, не выдержав, стараясь не обнаружить обиду, спросила:

– Ата, а почему вы сказали, что не читали Бахыта? – Спросить-то спросила и тут же струсила: надо было мне на рожон по доброй воле лезть. Вот уже и виноватой себя почувствовала, вдоль спины пополз, будто холодная змея, противный сыроватый холод – предчувствие беды. Но ата не соизволил даже взглянуть на меня – для него мой вопрос, надо полагать, прозвучал не значительнее жужжания мухи. Напротив, он еще больше приосанился и начал мурлыкать веселую песенку. А я, как побитый щенок, плелась позади и не смела поднять от земли своих униженных глаз.

- Ассалаумагалеikum, Бауке, – раздался чей-то жизнерадостный голос.
- Как дела, дорогой? – приветствовал ата пожилого мужчину.
- Потихоньку-помаленьку, – отвечал тот.
- И то верно – чтобы широко шагать, воля нужна.
- Ох, правда ваша, Бауке, правда ваша, – раскатисто хохотал агай. Отсмеявшись, сказал:

– У вас сын писатель, оказывается. Дочь моя, студентка, прочла его книгу и, знаете ли, очень впечатлилась...

Я наострилась: что-то он теперь скажет? За один день уже двое Бахыта похвалили – не может же он оставить этот факт без внимания.

– Не все, кто пачкает бумагу, писатели, – заметил ата. – Может, сын что и пишет, но я не читал, не знаю.

Агай заметно растерялся, а потом, присобравшись, принялся с любопытством разглядывать своего прославленного знакомого, словно сегодня увидел его впервые в жизни.

– Ну ладно, прощай пока. Супруге привет, – закруглил ата немую сцену и, не дав собеседнику опомниться, энергично двинул вперед. Я засеменила следом. Метра через три оглянулась – агай все еще стоял на месте. Встретившись со мной глазами, недоуменно пожал плечами. Мне не оставалось ничего другого, как еще раз кивнуть ему на прощание.

Человеку если что упадет в голову, то надолго. Вот и меня прямо по едом ел вопрос о том, почему ата в обоих случаях сказал “не читал”. Обычно в наших внутрисемейных конфликтах я спасаюсь молчанием: молча выслушаю, молча соглашусь – и мир в доме. А тут, как нарочно, второй раз сама полезла.

– Ата, этот агай тоже Бахыта хорошо знает, оказывается, – заискивающе сказала я.

– Не суетись! Паршивая овца места себе не находит, если у верблюда горб вырастет.

“Так тебе и надо”, – мысленно отхлестала я себя по щекам. Из-за мужа взрослая женщина звания “паршивой” удостоилась...

Дома ата, согласно заведенному у нас порядку, подробно рассказал сыну все наши сегодняшние маршруты, но о смутивших меня диалогах умолчал. Я тоже об этом не произнесла ни слова: зачем я буду мешаться между отцом и

сыном со своими выводами. Нужно будет, ата сам скажет. Тем более, что все равно — не сегодня, так завтра — кто-нибудь из многочисленных информаторов доложит Бахыту о странном поведении его отца. Правда, приукрасят, как обычно, сгустят краски для забавы. Им, понятно, забава нужна, а нам не до нее, нам в семье мир дорог. Такие вот осведомители и портят отношения между двумя Момышулы.

В тот день я не раз ежилась под внимательным взглядом ата. Как ни прятала глаза, взгляд жгучих глаз просвечивал меня словно рентгеном. Мучило состояние какой-то туманной неопределенности плюс к тому меня действительно тошнило, и потому я тем более плотно закрыла рот. Разумеется, скрыть мне свое состояние от проницательных глаз не удалось — видать, слишком уж неприглядно смотрелась моя выдающая страдание физиономия. За ужином ата расхохотался. И не просто так, а с торжествующим наслаждением, всем телом откинувшись на спинку стула.

— Что, папа? Что такое? — обрадовался Бахыт случаю повеселиться и с готовностью растянул рот до ушей.

Низко опустив голову, я старательно собирала крошки хлеба на дастархане.

— Сегодня Зейнеп не по себе, — доверительно сообщил ата сыну. — Ее один вопрос гложет, и скрыть это не умеет, большие переживания в маленьком сердце не умещаются. Обида твоей супруги на меня чернее сажи на дне казана. Видишь, как надутые меха, еле дышит. Знаешь, почему? Потому что я нынче двоим сказал, что тебя не читаю и читать не собираюсь.

— А я это знаю, — небрежно бросил Бахыт, напустив на себя вид поднаторевшего в окололитературной борьбе бывшего писака.

— Откуда? — округлил ата на меня свои и без того большие глаза.

— Я давно знаю, а Зейнеп сей предмет в диковинку. Впервые услышал от тебя самого. Сейчас постараюсь тебе напомнить, когда это было. В середине шестидесятых я устраивался на работу в “Казахстанскую правду”. Редактор выразил свое согласие, и я был на седьмом небе от радости. На крыльях, помню, прилетел к тебе. Ты меня спокойно выслушал, а потом стал набирать номер редакции. Я думал, ты скажешь что-нибудь традиционное, в духе “побольше нагружайте, учите”, а ты взял и выдал такое, что я до сих пор наизусть помню: “Он не дорос до ответственной

работы в партийной газете. У него не хватает ни ума, ни опыта. Пусть сначала как следует нос подтирать научиться”.

Твой собеседник на другом конце провода сказал, по-видимому, что он ознакомился с моими материалами и остался доволен, но ты его оборвал: “Я не читаю, что он там пишет. И так знаю, насколько он глуп”. Я дальше не выдержал. Побоялся, что сгоряча нагрублю тебе и поскорее, хлопнув дверью, вышел.

Наутро по договоренности пошел к редактору, Андрею Петровичу Киянице. Он даже ни слова в утешение не сказал, а с места в карьер заявил: “Дорогой мой, я из-за тебя с Бауржаном ссориться не собираюсь. Поищи себе другую работу”.

А в действительности ты все читал. Если бы ты тогда поступил со мной, как положено поступать нормальным отцам, кто знает, может, я не оступался бы столько в жизни. Если родной отец подставляет подножку сыну, то другие разве не готовы его ударить? Удивляюсь широте и терпению тех отцов, которые заботятся о своих сорокалетних сыновьях, мне этого, наверное, никогда не понять, – и Бахыт развел руками.

Это прозвучало так странно, будто он не о себе, а о совершенно постороннем человеке говорил.

Я не ожидала от Бахыта такой смелой откровенности и теперь, волнуясь, ждала, что скажет ата.

– Правильно я сделал, – нацелил он на сына прямой и темный указательный палец. – Если бы ты не падал, не набивал шишки на лбу, то не узнал бы, как жестка земля. Благодаря мне ты научился мерить ее своими ногами. Кто пишет легко, тот не знает цену слову. Я же хотел, чтобы мой сын понял, как дорого достается настоящее слово. Хватит сил – сам одолеешь, значит, толк будет. Не хватит – бросишь. Я, честно сказать, не надеялся на тебя, потом, смотрю, лоб расшибает, поднимается и снова пишет.

– А сейчас ты почему говоришь, что не читаешь? – запальчиво спросил Бахытжан. – Какой смысл в этой твоей конспирации сейчас? Объясни, пожалуйста.

– Чтение и прочтение – разные вещи. Чтение – труд. Когда я читаю Абая, Ауэзова, Толстого или Тагора, я нахожу у них то, чего недостает моей нищей душе. Я духовно расту, крепну, чуть приподнимаюсь над собой.

Они мне лично дали то, что не однажды помогало мне в жизни. А у тебя мне, к сожалению, нечего брать. Вот тебе мое объяснение.

– Ого, как повернул! Скажи лучше, что не выносишь, когда при тебе меня хвалят или ругают.

– И это есть, – охотно согласился ата. – Не угадаешь, кто с каким намерением мое мнение спрашивает. Хвалить тебя – скажут, сам своего сына хвалит, ругать – опять нехорош буду. Не читаю, и все – вот тебе выход из положения.

– С одной стороны, это правильно... – с натяжкой сказал Бахыт и на том завершил дискуссию, хотя у нас не было принято завершать на полутонах.

Что касается меня, то я, честно говоря, не хотела понимать их обоих, но их разве переубедишь? Зачем усложнять простое, зачем из очевидного делать тайну, читал так читал, а нет так нет – ведь яснее ясного. Случись завтра какой-нибудь спор вне дома и скажи я, что ата читает все вещи Бахытджана, поверят не мне, конечно, а Момышулы. И я окажусь врунишкой. Но у меня зато есть твердое “алиби”: ата собственной пристрастной рукой подчеркивал и делал заметки на полях книг сына и журналов, где публиковались его рассказы. Некоторые страницы между печатных строк сплошь испещрены темпераментными замечаниями, а кое-где даже по полстраницы сердито перечеркнуто. Вот не поленюсь, если что, приведу своего оппонента домой и продемонстрирую свою правоту.

Забегая вперед, скажу, что были потом не однажды эти “если что”, но ни Бахыт, ни я – хоть и грозились – своим “алиби” ни разу не воспользовались. Мало ли какой гранью в обыденной жизни может повернуться сильный, независимый характер моего ата.

* * *

Только зима на порог, и мы теряем покой: чихаем всей семьей и кашляем, по очереди бегаем в ванную прочищать носы. На всем белом свете нет, наверное, человека, который бы не испытывал на себе коварство этой болезни. Особенно дружен грипп с теми, кого предварительно изматывал он все предыдущие годы.

В этом году эстафету гриппа принял у погоды Ержан. Ребенок подвиж-

нее ртуті в градуснике, который только что показал высокую температуру. Не хочет лежать, хоть бей его, бегает то к отцу, то к деду. Бегал до тех пор, пока те сами не свалились.

Первым слег Бахытжан. А он при простуде хуже ребенка: только не плачет разве, а так и себя, и меня капризами замучает. Удивляюсь ему безмерно: мужественно выдерживает сложнейшие, крайне болезненные операции – врачи говорят, даже не стонет, грипп по сравнению с этим – пустяковина. Ата все свои болезни переносит молча, но в этот раз, по-видимому, ему самая тяжелая форма досталась. Сам же меня предупреждал: “Закрой рот марлевой повязкой, луку ешь побольше. Нам без тебя как без рук”, и сам же ничего из того, что советовал, не предпринимал. Настолько он был в один из дней плох, что я врача вызвала. Сделали ему два укола, оставили кое-какие таблетки и, наказав звонить в случае ухудшения состояния, уехали. Часов в одиннадцать вечера ата позвал меня к себе.

– Ты ко мне больше не ходи, болезнь идет своим чередом, не приведи аллах, заразишься. Я попробую заснуть, и ты отдыхай, не беспокойся.

Ночью болеть тяжелее, по себе знаю. Поэтому я далеко не ушла, не раздеваясь, прикорнула на диване в соседней комнате. И скоро незаметно для себя предательски заснула: как говорится, сон подушки не просит. Глубокой ночью проснулась от тубного кашля ата и его громкого “Дочка!”

– Принеси горячего чаю, пожалуйста.

Ата сладкого не любит, но я на такие аварийные моменты с лета заготовила малиновое варенье. Принесла чай, хотела поправить подушку, чтобы чай пить было сподручнее, наклонилась, а у него лицо все пылает. Побежала к телефону, чтобы врача вызвать, но, словно угадав мое намерение, ата вдогонку мне крикнул:

– Не надо, не вызывай! – Пришлось вернуться.

– Укрой меня потеплее. Посиди тут, пока я чай пью. На него было больно смотреть. Глаза от слабости закрываются, дыхание тяжелое, с хрипом, будто он только что на гору огромный камень поднимал. Полежав этак минут пять, ата с усилием повернул голову, взглянул в мою сторону. Я думала, сейчас что-то скажет, но он снова молча прикрыл глаза. Ох, нехорош ата, совсем нехорош! Не нравится мне этот цвет лица. Нет, надо обязательно позвонить врачу. Стараясь не шуметь, тихонько приподнимаюсь со стула и тут же слышу твердое: “Сиди!”

Некоторое время он еще молчал. Потом ровно, на одной интонации, словно заученно проговорил:

– Старость связала меня по ногам, приковала к опостылевшей кровати. Но душа моя еще чиста, разум не замутнен, глаза ясны. Нemoщ помогает человеку глубже прочувствовать жизнь. Лежишь, и перед тобой вереницей, словно бесконечный верблюжий караван, проходят страницы книги жизни. Где цветные, где черно-белые, а то и просто один человеческий крик – и ничего больше – кинжалом вонзается в сердце.

Ата судорожно перевел дыхание. Бредит? Не похоже.

– Легко ли на склоне лет распутывать бесчисленные, большие и малые, словно узелки в разноцветном полотне шелка, загадки жизни? Когда тебе отпущено годов с возраст старого козла, то приходит не испытанное доселе ощущение холодной пропасти, в которую затягивает остатки жизни. И не однажды, словно озарение, приходит ясное понимание своей старости: душа снова и снова отказывается принимать бессилие, нemoщ тела. Стылый, густой туман. Наверное, верно то, что старики только и заняты тем, что прокручивают прошедшую жизнь, как прокручивают старую киноленту при ностальгии. Я много думаю о будущем. Разве так уж важно там мое присутствие? Поверь – нет. Бывает, фиксируешь механически, что я-то в то время уже превращусь в тлен, не больше. Поверь, только скудоумный станет рвать из-за этого на себе волосы. Но меня часто мучает вот такое сомнение: понимают ли до конца молодые то, что я всей душой хочу донести до их молодого ума – свой выстраданный опыт, уроки, которые преподнесла мне жизнь?.. Вы вежливо слушаете, а про себя наверняка думаете: “У тебя одно время, у нас другое”. Тогда я прячу свои откровения глубоко вовнутрь, скрываю свои чувства. Но даже и понимая все это, старики далеки от обиды или мести. Уходя, они благословляют все живое на долгую счастливую жизнь.

Он устал. По лицу, теряясь в бороздках морщин, ручейками тек пот. Влага скопилась в уголках закрытых глаз. Я принесла платок, промокнула им его глаза, лоб, лицо.

– Старость приносит ощущение благодарности всему живому на пороге иного мира. Здесь ты уже гость. Странно наполняется душа... И вопреки здравой логике нет отчего-то тоски по молодости. Вот вы живете будущим,

тогда как только старики знают истинную цену жизни. И знаешь, так хочется уйти в согласии с этим миром. Особенно дорого отношение молодежи: ведь вы останетесь продолжать нас. Видя вас хорошими, мы радуемся, что оставляем мир хорошим. А видя обратное, мы готовы похоронить себя заживо. И как подумаешь еще, ради чего и кого ты воевал на фронте и дрался в мирной жизни, так совсем горе всей своей черной тяжестью давит – не продохнуть. И поддерживает только надежда и только вера в то, что завтра наши дети будут честно работать и интересно, с удовольствием жить. Да-а, кто ж знал, что старость такая ветхая и такая премудрая.

Ата помолчал.

– Говорят, старики что дети малые. Может, оно и верно. Но старики живут прошлым и смотрят не вперед, а внутрь себя. Ты, наверно, не понимаешь, как это – смотреть внутрь себя. погоди, поймешь.

Последние слова он произнес задумчиво и грустно – и была за ними какая-то волнующе-печальная тайна из тех, что оседают на дне души мягким нежным облаком.

– Каждый человек мечтает достойно прожить отмерянное судьбой. Никто не знает, сколько светлых дней ему отпущено, но не приведи аллах мне пережить братьев своих младших, остаться на этой земле без сверстников. Молю судьбу о том, чтобы не заставила на закате жизни бросать горсть земли в могилу младших.

В кабинете повисла тяжелая тишина. Я ждала, что, передохнув, ата снова заговорит, но он молчал, и только прерывистое дыхание выдавало в нем жизнь. Внезапно мне показалось, что дыхание ослабло. Воображение человека, как известно, весьма падко на все мрачное. Привстав со стула, я со страхом заглянула в строгое лицо и жалобно вскрикнула: “Ата!”

– Приготовь сухое белье, – услышав неожиданно отрывистый и энергичный голос, я заплакала – от счастья и от испуга одновременно.

– Иди, быстро!

Я пулей вылетела из кабинета.

Вернувшись, застала его осторожно бредущим к выходу – одной рукой ата держался за стенку, другой поддерживал сползающий с плеч длинный чапан. Бросилась было помогать, но ата отстранил меня твердой рукой:

– Я сам. Постель поменяй.

Взявшись менять постельное белье, я пришла в неописуемый ужас: простыню и пододеяльник впору было выжимать от пота, настолько ослаб наш батыр.

Поздно вечером того же дня, сидя за кухонным столом, я вывела в дневнике: “1974 год, 26 января, суббота”. Глянула на особенно громко тикающие в ночной тиши настенные часы и с удивлением обнаружила, что часы уже показывали без пятнадцати четыре утра, далеко не суббота и не 26 января. В домашних хлопотах волчком крутишься и не замечаешь, как время летит. Как бы то ни было, надо непременно мобилизоваться и зафиксировать услышанное. Если сейчас расслабиться, завтра будет поздно: краски потускнеют, чувства поостынут. Тем более что интонация сегодня у ата была какая-то особенная, странно притягательная. Нет, завтра я обязательно навру.

Через два-три дня ата поправился, встал на ноги и заруководил нашей маленькой семьей в прежней, по-военному складной, выдержанной манере, по которой мы, оказывается, успели здорово соскучиться. А у меня из головы долго не выходили его пропитанные философской грустью рассуждения о старости. Были ли сказаны они в тумане бреда или же слова эти сознательно итожили трудную жизнь?..

* * *

Ержан еще голову толком не держал, когда мой многомудрый муж начал вести с ним продолжительные задушевные беседы и читать стихи, и не просто так, а со всеми положенными в таких случаях причитаниями и подвываниями. В ответ на мое искреннее недоумение (“Что он понимает?!”) Бахыт сказал, что это я, может, ничего не понимаю, а ребенок чувствует ритм стихотворения и музыку поэзии. И что нечего с ним сюсюкать, надо с ним общаться серьезно, как со взрослым, и отчетливо проговаривать все согласные и гласные звуки. Я махнула на мужа рукой – пусть забавляется, сколько хочет.

Но вот наш сынишка немного подрос и стал довольно живо, иногда даже перебивая нас, взрослых, лопотать на ломаном казахском вперемежку с наиболее популярными русскими выражениями типа “дай”, “не хочу”, “сам такой”. Особенно меня трогало то, с каким жадным, почти первобытным вниманием, с какой недетской пытливостью смотрел он в рты говорившим. Как жадно слушал. Бахыт также “развивал воображение” мальчика, рассказывая

разные небылицы о той или иной Ержановой игрушке или просто так, без повода, вдохновенно врал. И Ержану будто передалась близость отцовской профессии к бумаге: с четырех с половиной лет он пытался изображать нечто, отдаленно напоминающее буквы. Каракули, конечно, но мне приятно. И читать начал рано. Причем пока не перескажет с выдуманными подробностями, не отстанет – за конфету не откупишься. А с тех пор, как мы переехали к ата, Ержан сделался главным рассказчиком в нашем доме: ведь мы с Бахытом когда отмахнемся, когда недослушаем, а дед готов слушать болтуна-внука дни и ночи напролет. И еще ата умеет незаметно так повернуть его рассказ, что Ержан часто погружается в такие фантастические дебри, из которых сам не выпутается. Кроме того, Ержан увлекался заимствованием эпизодов из разных сказок и, “творчески осмысливая” их, компилировал великолепные по занимательности и сюжету вещи. Так, например, в одной сказке у него могут совершать подвиги очень дружные между собой Алдар Косе и Иванушка-дурачок. Наш ребенок смело лепил такие вещи в актуальном ныне духе интернационализма. На что ата однажды отреагировал так:

– Спасибо за содержательную сказку. Я с удовольствием тебя выслушал, но вынужден, тем не менее, сделать тебе серьезное замечание: твои сказки вторичны.

Ержан растерянно захлопал глазами.

– То есть, – начал расшифровывать себя ата, – ты используешь чужую мысль, выдавая ее за свою. У писателей такой прием называется плагиат. Попробуй, внучек, создать что-нибудь свое, собственное. Вот, например, какой интересный дом ты вчера построил из кубиков – ни у кого такого нет.

На другой день Ержан заявился к деду с встречным предложением:

– Ата, давайте я вам расскажу свою собственную, неплагиатную сказку – ни у кого такой нет.

– Давай. Только учти, если старая – выгоню.

– Ладно, ата, – согласился Ержан и многообещающе долго устраивался в кресле. – Давным-давно, в минувшие времена жил на свете хороший мальчик по имени Ержан.

Я прыснула.

– Выйди, если не умеешь слушать, – сверкнул на меня глазами ата.

– Простите, – кратко попросила я.

– У хорошего мальчика Ержана был дедушка, что в воде не тонет и в огне не горит, – не удостоив меня вниманием, спокойно продолжал мальчуган. – А у его папы – дедушкина сына – сильно болела нога. И вот Ержан со своим дедушкой пошли искать для папы, который дедушкин сын, волшебную траву. Шли они горами да лесами, шли, шли, шли, шли... – он повторил этот глагол раз десять, желая, видимо, показать, как длинна была дорога. Мне уже прискучило, но ата продолжал одобрительно кивать головой. – Наконец они дошли до того места, где росло много-премного волшебной лечебной травы. Дедушка и внук очень обрадовались и стали собирать ее в мешок. Но вдруг, откуда ни возьмись, на них прыгнул огромный тигр. Глаза вот такие, зубы острые-преострые.

– Я сейчас съем твоего внука, – рявкнул он.

Тогда дедушка одной рукой отбросил его во-о-он туда, далеко-далеко. Тигр упал и сильно ударился. Сначала он громко плакал горючими слезами, а потом, ох-ох, едва встал и, хромая, пришел к дедушке. Склонил повинную голову и говорит: “Простите меня, Бауке, я пошутил, я больше не буду, я не знал, что это ваш внук”.

Тут Ержан плаксивым дребезжащим голосом так красноречиво изобразил поверженного тигра, что я, как ни боролась с приступом смеха, не выдержала и, зажав рот рукой, выскочила вон.

До садика вся эта милая болтовня ребенка была сплошь выдумкой, но потом, при общении со сверстниками, приобрела “реалистический” оттенок. Что делали днем, куда ходили на прогулку, что видели, кто с кем подрался, кто из них прав, а кто нет, как потом они помирились – он не ленился в подробностях воспроизводить весь свой “рабочий день”. Ата также не ленился все слушать и давать разумные советы: “Зря ты это, завтра обязательно извинись”, или “Надо по-другому действовать”. В общем, дед с внуком жили дружно до тех пор, пока не произошел один досадный случай.

В этот день после обеда я пропадала в издательстве по поводу книги Бахыта. После издательства зашла в один-два магазина, выстояла там в очереди положенные часы, потом забрала Ержана из садика и только под вечер попала домой. Ата как будто ждал нашего прихода.

– Идите сюда, – не предвещающим ничего хорошего ледяным голосом пригласил он нас, враз оторопевших, к себе в кабинет. Холодными

руками я распутывала шнурки на ботинках сына и с напряжением гадала, что же смогло произойти за те четыре-пять часов, в которые я отсутствовала. Может, он сердится из-за того, что я ушла надолго? Так ведь очереди – куда от них денешься. Или Бахыт что-нибудь натворил? С него станется.

Ержан шел, вопросительно-доверчиво глядя на деда. Но ата, не дав ему приблизиться, оттолкнул ребенка тыльной стороной ладони.

– Где ты научился врать? – прямо и строго спросил он.

– Когда я врал? – смело выступил вперед Ержан.

– Вместо того, чтобы честно признаться, ты еще пререкаешься? Оправдываться хочешь? – казалось, с грозно сведенных бровей ата валом валил густой снег.

– Не врал, не врал, хоть в угол ставьте, не врал, – не сдавался Ержан.

Я не посмела вмешаться, не проронила ни слова в защиту сына. Да и где найти такое слово, чтобы оправдать ложь маленького человека. “В садике, наверное, в угол ставят, иначе откуда ему знать. Мы его так никогда не наказывали”, – пронеслось в голове.

– Ах так, маленький Тазша? – разгневанно закричал ата, зачем-то шаря вокруг в поисках очков. Нашел, повертел в руках, вспоминая, зачем ему сейчас понадобились очки, не вспомнив, в сердцах бросил их на прежнее место. – Я скажу, в чем твоя вина, раз ты такой беспамятный. Ты говорил сегодня по радио и обманул, бессовестный, весь Казахстан. “Ата водил меня в зоопарк, к Вечному огню”. Когда я тебя водил? Ну, отвечай!

Что же он скажет-то, мой бедный мальчик?

– Вы вправду меня водили, – твердо сказал он.

– Вправду?! – задохнулся от возмущения ата. Не в состоянии вымолвить ни слова более, минуты две он молча таращил глаза на внука – так, словно видел его впервые, – а затем с силой хлопнул себя по колену.

– Когда мы ходили к Вечному огню, там было много солдат, и все отдавали вам честь. А вы подержали свои руки прямо над огнем, и они стали красные-красные, как этот ковер. Я сильно испугался, но вы не обожглись, и тогда солдаты закричали: “Ура!” Вы же сами слышали, – гнул свою линию Ержан.

Ата только руками развел:

– Ну и ну!

В эту минуту вдруг ни с того ни с сего раздался смех Бахытжана. Да такой непринужденный, что я обиделась: нашел над чем веселиться.

– Ержан, – попытался спокойно и вразумительно втолковать ребенку ата, – ты же умный мальчик и все понимаешь. Может, тебе это приснилось? Вспомни хорошенько: наяву я тебя туда не водил. Верно?

– Водили, водили, – сквозь слезы упрямо повторил мальчик и, забравшись под письменный стол, заплакал в голос.

Стою, как скорбящая статуя, и ума не приложу, что мне делать: то ли самой плакать, то ли вслед за сыном под стол лезть, успокаивать. Бахытжан стоял, безразлично прислонившись к косяку, на губах блуждала нехорошая многозначительная улыбка. Постояв так, повернулся, чтобы уйти.

– Постой, – повелительно сказал ата. Тот с готовностью развернулся.

– Мне непонятны ни твой смех, ни эта издевательская поза.

– Мне тем более, – ехидно заметил Бахытжан. – Засмеялся я потому, что ты сейчас испугался. – И похолоднее: – А ухожу потому, что не могу видеть его слез.

Ребенок не должен слышать обиды взрослых, у них свои счета с жизнью. Я собралась увести Ержана, но ата знаком велел не трогать.

– Зейнеп прячет глаза, ты кусаешь губы – я вижу, вам только пистолет сейчас в руки, чтобы меня расстрелять. Но вы, как всякие слепые родители, не хотите знать, чем обернется завтра его сегодняшняя маленькая ложь. Ложь прилипчива. Учтите: завтра он соврет еще легче. От нее, лжи, родится преступление...

– Извини, папа, я тебя перебую. Поясни вначале, что приключилось. А то уже до преступления дошли. Я совершенно не в курсе.

– Вот недавно совсем читал я книгу и задремал. Чем зря дремать, думаю, лучше радио послушаю. Включил и слышу родной голос. “Мой ата батыр, у него много орденов и медалей. Он меня и в зоопарк водил, и к Вечному огню водил”. Врет в таком духе и не стесняется.

– А он назвал твое имя? – спросил Бахыт.

– Нет.

– Может, ты голоса перепутал, мало ли у нас дедов-батыров. И потом, если бы их записывали на радио, он бы в тот же день прибежал и все выложил. Сегодня передавали, значит, около недели назад записывали. Странно – неужели он всю неделю мог молчать?

– Ержан, – сунул Бахыт голову под стол, – ты говорил по радио?
– Да, и Жанат говорил, и Азамат. Все мы пели песню.
– Почему же ты это от нас скрыл?
– Я не скрыл. В тот день меня из садика апа забирала, и мы ушли к ней домой ночевать. А потом я забыл вам рассказать.
– Вот видите? – подхватил ата, победно глядя на нас обоих, – то, что по радио говорил, он признает, а в том, что соврал, – признаться не хочет!
– Не соврал, это правда, – на секунду показал нам макушку Ержан и снова скрылся.

У всякого явления, пусть даже и такого наглого, есть границы. Этот мальчишка скоро положит конец моему ангельскому терпению. Ни от одного из нас за всю свою жизнь он не получил ни одного шлепка, а сейчас, думаю, и доброй хворостиной отходить его будет совсем не лишне. За что карает меня аллах?

– Выходи, Ержан, – предложил Бахыт в пространство. – Сполосни лицо, вымой руки, попей воды из графина в столовой и возвращайся.

Тот на карачках вылез из-под стола и на необычной скорости устремился к выходу. Я собралась было последовать за ним, но Бахытжан сделал страшные глаза, и я, конечно, не посмела сделать ни шагу.

– Папа, послушай, – повернул к отцу спокойное, доброжелательное лицо Бахытжан. – Ты же знаешь, какой Ержан мечтатель. Навоображал себе, как вы с ним в зоопарк гулять ходили. Очень уж хочется ему в это верить – вот он и поверил. Сейчас ты главный человек в его маленькой жизни, сейчас он начал осознавать, что значит дедушка. Когда мы жили отдельно, ты был не более чем гость, а теперь он к тебе привязался, а вернее, ты сам его к себе привязал. Думаешь, он в парк или к Вечному огню не ходил? И мать, и бабушка его не раз водили, а видишь, он с тобой хочет. По-моему, не нужно считать это враньем, надо пощадить чувства ребенка.

– Ты что, учить меня собрался? – ата вырвал изо рта трубку и, вытряхивая пепел, сердито постучал ею о край пепельницы раз-другой.

– Да нет, просто я тоже в свое время пережил нечто похожее. Помню, ты жил в Калинине, а мы с мамой оставались здесь. Знал бы ты, с какой тоской я смотрел на мальчишек, которые шли под руку со своими отцами. Как будто они имели на это право, а я нет, хоть плачь. Не утешало меня и

то, что ты был далеко по делам службы, детское сердце не желало признавать никаких твоих долгов перед Родиной. Да ведь всякое сильное чувство эгоистично. Тогда я был побольше Ержана, но тоже в мечтах посетил с тобой не один только зоопарк. – Бахыт печально вздохнул. – Даже во сне видел, как мы с тобой гуляем по парку, а кругом мальчишки завидуют, – завидев сына, Бахытжан замолчал.

Тот зашел – гордый вихор на макушке покачивался в такт шагам, – сел на собственный маленький стульчик, сложил руки на коленях и вопросительно, кротко взглянул на нас, взрослых. Ни дать ни взять пай-мальчик.

Пока говорил Момышулы Второй, ата не проронил ни слова, хотя каждую секунду я ждала бурного протеста.

– Ержан, – доверчиво и как-то, показалось, беззащитно протянул он обе руки к внуку, – прости меня за то, что не водил тебя к Вечному огню и... это... в зоопарк. Очень тебя прошу, прости. Это мое упущение. Но ты тоже не настаивай впредь на том, чего не было на самом деле. Обычно глупый человек бывает упрям. Я не говорю, что ты глуп, но, пожалуйста, относись более ответственно к своим словам. А я исправлюсь, вот увидишь. Еще не поздно. Мы с тобой в это воскресенье и пойдем. Договорились? (В выходной, несмотря на больную ногу, он сводил ребенка к Вечному огню.) Ты очень хорошо рассказываешь сказки, молодец, но опять же не всегда соблюдаешь границу между правдой и вымыслом. И потом: иногда, внучек, ты очень уж откровенно противоречишь человеку много старше тебя по возрасту. Это совсем нехорошо, некрасиво. Если ты будешь упрямиться, как недавно, я вынужден буду тебя разлюбить. Понял?

– Понял, ата. Я думал, что мы в самом деле гуляли, а оказывается, нет.

– Вот теперь верно, умница, – и ата с нежностью пригладил торчащий вихор.

– Ата, а вы, когда были такой же маленький, как я, никогда не врал? – неожиданно спросил Ержан.

Мы, все трое, разразились бурным облегчающим смехом. Надо же, какие недоступные скучной взрослой логике зигзаги совершает детская мысль.

Ну что ж, мир восстановлен, вот и хорошо.

– Врал, – мужественно признался ата. – Давным-давно я учился в интернате. Все мы, учащиеся, подразделялись на детей бедняков и детей батраков и

сирот, потому что в интернат не брали из обеспеченных семей и даже из середняков. Находились ловкачи, но их быстро разоблачали и выгоняли. Мы немало гордились своим неимущим происхождением и считали это чуть ли не личным достоинством. Да. И чем беднее, тем лучше. Наверное, поэтому ребята имели привычку хвастаться друг перед другом, живописуя подробно, как, разбивая подошвы в кровь, пасли байский скот, какие ужасные муки принимали от своих хозяев. То, что терпели от сыновей хозяев, как интересную сказку рассказывали. А я переживал очень: почему мне не выпало терпеть такие лишения, и в связи с этим чувствовал нечто вроде комплекса неполноценности. И вот что я, бумажная душа, придумал. Достать бы справку о том, что я есть законный сын степного пролетария, тогда бы и я держался с другими гордыми представителями того сословия на равных. Но тогда я бы, конечно, поделился тем, как мстил сытым богачам, за мной бы дело не стало. Однажды приехал ко мне отец. Тут я ему и выдал: “Привези мне из аульного Совета справку о том, что мы батраки”. Отец вначале посмеялся – решил, что я так интересно шучу, а потом, когда понял, что дело серьезно, говорит:

– То, что мы бедняки, это правда. Но я никогда не был нищим, не просил подаяния у чужих порогов.

– Меня без этой бумажки выгонят, – хмуро стою я на своем.

– Ну что ж, – отвечает отец, – выгонят так выгонят, ты, слава аллаху, не без родственников, домой вернешься. Такая учеба, на лжи замешанная, все равно впрок не пойдет. У нас в роду никто враньем не промышлял, имя и кровь нашу, как овца чесоточная все стадо, не марал. За правду не грех и пострадать, а ложь постыдна, бесчестна. Ты божишься, что лишишься места в интернате, но носить ярлык лжеца в тысячу раз тяжелее, это позор. Тогда я не смогу назвать тебя своим сыном. Даже под страхом виселицы не говори неправды, правда всего дороже, правда всегда ложь одолеет, – сказал мой мудрый отец.

Его слова проняли меня. Тут я все свои “мечты” позабыл. Пропади пропадом и жестокие баи со своими сыновьями, и их многострадальные батраки, я же, скудоумный, отца обидел, вот что плохо. Тогда я махнул рукой на школу и перешел на трудовой образ жизни, – оптимистически, бодро заключил ата.

Потом взглянул на меня, растроганно впитывавшую его воспоминания о детстве.

— Эй, дочка, ты у нас, оказывается, за разговорами про все на свете забываешь. Довольно, послушала про то, как ввали три Момышулы, а теперь покорми нас, врунов.

Вместо того, чтобы тут же немедленно исчезнуть на кухню я зачем-то с дружеской дипломатичной улыбкой посмотрела на своего супруга. А тому только того и надо.

— Папа, — и он обличающе вытянул в мою сторону свой указательный палец, — я абсолютно уверен, что биография твоей снохи изобилует фактами подобного компрометирующего содержания. Но она умнее нас троих, потому что молчит. А мы, наивные, выплескиваем все, что на душе.

— Молчание — тоже искусство, — философски изрек ата. — Тот, кто мало говорит, много думает. А кто много думает, тот умеет извлекать уроки из чужого опыта, — и он посмотрел на меня так внимательно, словно тут же воочию хотел убедиться в моем искусстве использовать чужой опыт.

...Опять я осталась крайней...

* * *

Наверное, у всех людей, называемых писателями, особый нрав. Но только у Бахытжана он совсем уж нестерпимый: по десять раз на дню он бывает то пустыней бесплодной, то цветущим оазисом, неудивительно поэтому, что на тропе нашего совместного существования хватало и ям, и рытвин. Может, его трудно понять оттого, что он перенес в своей жизни много физических страданий? Может, оттого так трудно подобрать к нему ключик, что в слишком сложный клубок запутались его моральные беды?

Иной раз одно неосторожное слово, невольный скрип довели его до белого каления, все его страшно раздражало, он часто взрывался без видимого повода.

Но не бывает никого щедрей, добрей и веселей моего мужа, если у него за машинкой дела идут как задумано: сразу находятся самые нужные, самые верные слова, и работа не останавливается ни на миг. Но если слова выходят вялыми, а мысли, на его взгляд, поверхностными, то в такие минуты его лучше не трогать — главным образом потому, что он и сам ищет повода при-

драться к чему-нибудь. Огрызнется, высмеет зло, обидно, незаслуженно. “Тяжелый конец палицы обрушивается на несчастного”, – говорят в степи. Мне часто доставалось ни за что ни про что. Причину своих творческих неудач он почему-то искал в своей ни в чем не повинной жене. Не найдя зацепки в моем внешнем облике и в кухонных делах, он начинал жаловаться на дребезг трамвая, на шум дождя, на телефонные звонки, которые-де все время его отвлекают и раздражают, и что он “никого не желает видеть и ничего не хочет слышать”. Словом, виноватых у него было много. И эта неделя какая-то бездарная. Мой писатель маялся, покой потерял, и все-то ему было немило. Только что заходила к нему в комнату. В этот раз он не стал цепляться ко мне и тем не менее накричался вдоволь, отыскав, к своему удовольствию, пустяковый повод.

– Что за невезучая полоса пошла. Тяжелая неделя, сплошной понедельник. И год весь какой-то пасмурный. Пройдет это, в конце концов, или нет? – возмущенно упрекал он меня по-русски.

Бахыт не умеет выражать свое возмущение и вообще ругаться на родном языке. Особо сильные эмоции ему доступнее проявлять почему-то на русском. Видимо, этот язык имеет более емкую в таких случаях, более эффективную форму. Несмотря на это, меня, по неизвестной причине, не задевают никакие упреки, сказанные по-русски. Как бы несправедливы они ни были.

– Ничего страшного не произошло, успокойся, что ты зря себя изводишь, – стала я его утешать и случайно заметила испуганный, настороженный и в то же время любопытный взгляд Ержана, забившегося в угол со своими игрушками.

– Мама, – потянул он меня за подол платья к двери, – пойдемте к аташке.

Дверь кабинета была открыта, туда могли долететь обрывки нашего с Бахытом “диалога”.

– Ата, папа сказал “тяжелая неделя”, теперь плохие дни будут, да? – преданно глядя на деда, спросил Ержан, и в глазах ребенка где-то глубоко мелькнула детская тревога, страх.

– Нет, Ержик, – ласково накрыл он его макушку широкой ладонью, – у нас впереди все дни хорошие. Папа Ержана все время в себя смотрит и поэтому не видит того, что творится вокруг, понимаешь? Уж очень бывает человеку интересно смотреть в себя самого – как в зеркало. Иному такое дело до того начинает нравиться, что он и на других посматривает свысока.

Как тот верблюд из сказки, который смотрел на всех сверху и остался без собственного года. Затомышь, вскарабкавшаяся ему на ухо, первой из всех зверей увидела восход солнца, и ей выпала честь дать свое имя первому году.

– Я знаю эту сказку, – обрадованно схватил он деда за руку. – Расскажи мне ее еще раз, ата!

– Пересказать нетрудно. Только не лучше ли будет нам с тобой выучить все названия годов и месяцев, как их называли наши с тобой предки? Давай попробуем?

– Давай, – согласился внук.

И ата принялся учить малыша казахским названиям месяцев и годов. Он не просто заставлял Ержана механически заучивать все подряд, а объяснял каждое определение месяца, года, припомнил стихи, пословицы, рассказывал легенды, связанные с календарем. Это было так интересно и красочно, что не только маленький мальчик, но и его родители слушали, раскрыв рты. У каждого названия месяца, оказывается, своя традиция. Например, все видели, как над пожухлой осенней травой в сентябре летают легкие прозрачные паутинки. В русском языке это явление часто обозначается как “бабье лето”, а на казахском, в оригинале оно звучит так: “мизам ушты”. Поэтому во многих регионах республики сентябрь называют “мизам”. В ноябре на юг улетаю дикие гуси, по-казахски “караша”, или “коныр каз”. Вот почему ноябрь называют у нас “караша”. Раньше, ведя кочевой образ жизни, казахи умели общаться с природой на непосредственном цивилизацией и ритмами, невыхолощенном усталой суетой и условностями языке. Не случайно многие социальные, жизненные явления ассоциируются в народе с явлениями природы.

Вот какому счету времени научил Ержана ата:

Год мыши – год мира.

Год коровы – год уважения.

Год барса – год единства.

Год зайца – год урожая.

Год улитки – год образцовый.

Год змеи – год спокойствия.

Год коня – год достатка.

Год овцы – год порядка.

Год обезьяны – год милосердия.

Год курицы – год доходный.

Год собаки – год доброты.

Год оленя – год радости.

Разве может не остаться в памяти такой человеческий отсчет времени? Все здесь к добру, все связано с человеческой надеждой. Все пронизано светом, верой в доброту и щедрость бытия, в спокойствие, мир и уважение на земле. Выходит, нет плохого времени, нет черных годов, и даже в тяжелых испытаниях повинны отдельные люди, а не время: ведь и в самые страшные дни светит солнце. Хороши каждый год и месяц, неповторимы и волшебны каждый день и каждый час...

Мне показалось, что Бахытжан стал более сдержанным в словах и поступках, и когда выпадает ему горький час невезения, то даже в этом он ищет светлую сторону. Благодаря отцу он учился обращать в удачу и самую неудачу.

А Ержан до глубины детского сердца поверил ата, и если при нем теперь говорят о засушливом лете, о джутовой зиме и других мрачных вещах, то он начинает отчаянно спорить, доказывая, что силы добра победят, что этому учил его дедушка, а его дедушка все знает. И люди задумываются. Из этого маленького примера с летоисчислением уже ясно видно, что ата привил своему внуку с малых лет веру в светлый мир, в доброе имя, в радостный час и в миг удачи, а главное, в человеческих людей, мудрых, как сама природа. Он учил малыша верить в доброе начало жизни, уметь верить в него, а, значит, отстаивать справедливое, всегда стоять на стороне разума, сердца и чести. И еще он учил внука не винить в своих неудачах время, а искать вину в самом себе. Да, так, наверное, много честнее.

* * *

В тот день ата был почему-то грустным. Кто знает, какие мысли навеяло ему хмурое утро с облаками, похожими на предчувствие. Он казался таким старым, печальным и притихшим, что сердце мое сжималось от сострадания. Мне захотелось во что бы то ни стало развеять его тоску, увлечь, как это часто удавалось, интересным разговором. Но я опасалась, что могу помешать работе, которая, возможно, происходила в нем, это останавливало

меня. Может, он настраивался на ту счастливую, зыбкую душевную тишину, которую приносит шуршание карандаша по бумаге? Может, его тихую печаль вызвали воспоминания о тенях близких? Может, он хотел воскресить родные образы в размашистых строчках своего резкого письма? Кто знает...

Во всяком случае, мне хотелось думать, что не горестные – безысходные, старящие – мысли точат этого гордого человека. Но почему скорбный и кроткий лик обычно сурового ата заставляет сегодня щемяще сжиматься сердце? Я даже не знала, хочу ли, чтобы кто-нибудь пришел и вдребезги разбил эту странную, непонятную нашу грусть. Лучше бы уж пришел – плохой или хороший – все равно: невыносимо слушать эту глухую болезненную тишину. Главный нарушитель спокойствия в нашем доме, Ержан, весь день “работает” в садике; Бахытжана сейчас лучше не трогать: разнылась нога к погоде, в одиночку, насколько я знаю, ему легче лелеять свою боль.

Аллах услышал мою мольбу. К вечеру пришел гость. Это был довольно известный в сфере искусства человек. Молчаливым конвоем его сопровождали двое совсем еще юных джигитов. Эти двое застряли у порога, смущенно переминаясь с ноги на ногу, и еще некоторое время препирались, кому войти первым. Раздеваясь у вешалки, они бросали быстрые любопытные и в то же время пугливые взгляды то в приоткрытую дверь гостиной, то в глубину коридора. А сам гость как-то очень энергично поздоровался со мной, поинтересовался, дома ли ата, вытянув шею, задумчиво посмотрел в сторону кабинета и, не дожидаясь приглашения, решительно зашагал прямо к ата. При этом махнул рукой своему “конвою”, чтобы тот следовал за ним. Я в растерянности от такого напора замешкалась, опоздала – гости уже скрылись в кабинете. Пошла следом и у дверей услышала какой-то странный, напевный, патетический речитатив:

– О, наш ага! Батыр, который выше поднебесных гор Алатау, уважаемый навеки храбрец и мудрец! – с надрывом восклицал ага. – Есть ли еще кто-нибудь в необъятной казахской степи и в высоких горах, чья слава могла бы сравниться с вашей? Чье имя могло бы затмить ваше ослепительное и сверкающее имя?! Оно священная кровь народа! Слава ваша подобна раскатистому грому и сияющей, негаснущей молнии! Я – один из ваших младших братьев. Я хочу быть похожим на вас и потому ношу черные усы. Я такой же, как вы, хулиган, озорник, словом, непутевый джигит! Склоняю голову перед вашим светлым именем, о ага!

Я оторопела. Это не человек, а неиссякаемый источник грубейшего словословия, откровенной лести и оскорблений, мало того — плюс еще бестактности и глупости. По-моему, теперь его невозможно остановить, но вместе с тем трудно представить, когда же он закончит свою бессовестную тираду.

Наш ата был равнодушен к лести. Весь этот сель восторженных возгласов оставил его безучастным — таким же грустным и спокойным. Он молча слушал эту оглушающую трескотню и становился все печальней. Агай самозабвенно толковал — ата не перебивал гостя. Мне было тяжело и стыдно слушать все это. Выбрав момент, когда агай сделал паузу, чтобы набрать воздуха для следующего извержения пустого словесного потока, ата вставил:

— Светоч мой, все это хорошо, но...

Но агай энергично замотал головой, художественно-выразительно прижал руки к груди, с той же приторной патетикой в голосе продолжал:

— О да! О да, батыр-ага! Я преклоняюсь перед вами. На страшной войне вы проливали кровь за нас, за народ, тысячу раз умирая и тысячу раз воскресая. Я вас понимаю до глубины души, но понимают ли вас другие? Несмотря на все ваши жертвы, они называют вас жестоким и бессердечным хамом, грубияном, солдафоном! Я им не верю! Такой человек, как вы, больше никогда не родится! Я тоже такой, — как бы между прочим добавил гость и, отирая пот со лба и щек, снова сделал передышку.

Я во все глаза смотрела на него. Может, он немного того, под хмельком? Но приглядевшись, убедилась, что гость трезв как стеклышко. Те двое, “конвой”, дрожали от возбуждения и напряжения, а глаза их, словно капельки ртути, перебегали с ата на лицо “хозяина”. Любопытное ожидание светилось на их лживо-скромных лицах. Во взглядах теплилось нетерпение и жажда “скандала века”: что же будет дальше, ну, что дальше-то? Эх, люди, люди, даже этого неприличного любопытства они скрыть не могут! Вот, мол, сейчас Момышулы рывкнет, и все вокруг задрожит. Выбранит и прогонит! А то, глядишь, и пистолет достанет! Были уже такие легенды, хотя никакого пистолета дома нет. А может, еще лучше, запустит в красная пепельницей? Или ударит палкой? Вот было бы здорово, будет о чем рассказать приятелям. И запомнится этот день на всю жизнь. Наверное, даже завидовать станут — как же, были дома у самого батыра и своими глазами видели такое зрелище. Внутренне эти парни созрели для грандиозного скандала. Сидят на краешках сту-

льев, подавшись грудью вперед, готовые вскочить и бежать, как только ата, к их сладостному ужасу, крикнет: “Вон!” Раньше эти джигиты никогда не видели ата, но, без сомнения, были хорошо напичканы разными байками и небылицами о нем, верили во все эти глупости. Но не суждено было сбыться их трепетным надеждам. Никаких криков, брани и скандала, увы, не состоялось.

– Светоч мой, ты сказал все, что хотел? – спросил ата спокойным голосом.

– О батыр-ага! Много еще невысказанных слов теснит мне грудь, но если вы велите замолчать, то разве в силах ослушаться я вас? – гость опять-таки театрально развел руками.

– Да, все, что ты тут старательно изложил обо мне – хорошее и плохое, – для меня не новость. Такие, как вы, вы сами когда-то возвеличивали меня без меры, а потом принялись терзать без вины. Вы то поднимали меня к небесам, то с силой швыряли оземь. У меня хватило мужества выдерживать и то, и другое. Я не просил у судьбы ни плохого, ни хорошего. Мне нужен был покой, мне нужна была работа. Но что делать, если там, где свет, неизбежна тень, – ата говорил несколько отрешенно, слова адресовал гостю, но глаза его были прикованы к молодым людям и к ним обращал свой с грустным укором голос. – Я не солдафон, я солдат своей страны. Между солдафоном и солдатом такая же разница, как между небом и землей. Я офицер ближнего боя, переднего края – народ на меня не в обиде. На меня обижаются глупцы. Определенные люди таят ко мне ненависть и обиду. К этой категории относятся родители, злобствующие на меня за то, что я не стал протаскивать их балбесов на чужие места в институт; не стал ходатайствовать перед командованием и комиссариатом об освобождении их чад от высшего гражданского долга, от службы в рядах защитников Родины. На меня обижаются преступники и арестанты за то, что я не стал хлопотать об их освобождении. Обижаются аспиранты, которым я не стал проталкивать диссертации нечестным путем. Обижаются родственники за то, что я не свалил им под ноги их недругов, которые оказались честнее их. Обижается племянник за то, что я не стал подталкивать его под зад вверх по служебной лестнице. Обижаются знакомые за то, что я не помог им в обход очереди получить новую квартиру. Обижаются бездарные графоманы за то, что я не помог им издать нелепую и вредную книгу. Обижаются

за критику иные актеры и режиссеры, – ата одним, показалось, каким-то болезненным рывком стряхнул пепел. Я заметила, что у него мелко дрожат руки. Лицо посерело, морщины обозначились резче и глубже. На моих глазах ата старел, оплывал, как свеча. Жалость обручем сдавила мне сердце. Горло перехлестнули обида, горечь и гнев на безжалостных, толстокожих посетителей, которые не стеснялись добивать больного старика. В этот миг я сама готова была выгнать их вон.

Ата все таким же напряженно-спокойным голосом продолжал:

– Вот это о людях, которые таят на меня зло. Если бы я послушно шел у них на поводу, то никогда не отмылся бы от грязи. А во мне и без того своей ржавчины много сидит! Я бы до камня истоптал пороги чиновничьих учреждений, и вся моя жизнь должна была пройти в чужих кабинетах. Тогда я бы не то что книгу – тетрадный листок не смог бы написать для людей, для подрастающего поколения, для детей своих.

Спасибо, что пришли провести меня. А теперь, дорогие, извините, я устал, – ата с усилием прикрыл глаза.

Гость открыл рот, собираясь выдать еще что-нибудь из запасов своего красноречия, но ата махнул рукой и отрицательно покачал головой. Казалось, у него не было больше сил возражать. Я посмотрела на молодых людей. Они сидели с опущенными глазами. В один момент все трое поспешно повскакивали со своих мест и, подталкивая друг друга, заторопились к выходу. Если у этих джигитов есть хоть немного ума и совести, они поймут тот урок, который преподавал им ата. Осознают всю постыдность своего поведения, сделают для себя на всю жизнь горькие и честные выводы.

...Ту ночь я провела без сна. Дважды заходила к ата справиться, не нужно ли ему чего-нибудь. Он коротко отвечал:

– Спи. Не беспокойся обо мне.

Когда я сунула голову в кабинет во второй раз, он сдержанно сказал:

– Не беспокой меня, дочка, прошу тебя.

Свет в кабинете горел до утра. Я тоже почти до рассвета не сомкнула глаз...

К нам приходит много народу, чтобы увидеть ата, поговорить с ним, открыть сердце, поделиться радостями и печалью, планами и сомнениями. Ата умел выслушать людей с глубоким непосредственным вниманием, проник-

нуться болью другого, войти в положение совершенно постороннего человека.

Наш дом буквально засыпали письмами с разных концов страны, писали и из-за рубежа. Люди хотели поговорить с батыром хотя бы посредством письма. Обращались к нему молодые и старые, мужчины, женщины и даже дети. Народ умеет ценить своих достойных сынов. Эти простые и непростые письма вливали бодрость в его сердце, придавали ему сил и воли к жизни. Были и смешные, шуточные послания. Например, однажды в стихотворной форме ата просили помочь приобрести “Жигули” или еще, помочь сменить неблагозвучное имя на модное иностранное. Он по-доброму улыбался. Но, к сожалению, были и ранящие письма, и неловкие посетители. И тогда мне хотелось кричать: “Пощадите его! Ведь он у нас один!”

* * *

Не знаю, как другим, а лично мне везет на “оригинальные” ситуации. Потом даже далекие ассоциации, вызывающие воспоминание о нелепом случае, повергают меня в стыд, который как назло долго не теряет своей остроты.

В связи с одним таким курьезным происшествием одно время мне постоянно снились синие горы Тибета. Холодный ветер обдувал плоскогорье, в долинах бродили бритоголовые монахи и косматые яки шершавыми языками лизали резные ворота ламаистских храмов. Я все время старалась спрятаться от кого-то в толпе паломников, но мой вид и одежда резко выделяли меня среди других и я с отчаянием чувствовала на себе пристальные взгляды иноземных людей. Я прятала глаза, руки, поджимала ноги, втягивала голову в плечи, но все равно мне казалось, что на меня показывают пальцами и смеются. Я пряталась, съеживаясь в маленький ошетинившийся комочек, но тут неожиданно раздавались громкие приветственные крики, гнусавый речитатив молитвы, раскрывались высокие двери, и в сопровождении свиты из храма выходил Верховный первосвященник ламаистской церкви, носящий титул Моря Мудрости. Толпа падала ниц, молитвенно простирая к нему руки, и только в эту минуту я осмеливалась поднять глаза на духовного властителя, но каждый раз с удивлением видела, что это женщина, которая посмеивается, глядя мне прямо в лицо...

Странный сон измучил меня. А виной всему был наш ата. Всякий раз, когда мы с ним ходили в Союз писателей, он непременно навещал одну жен-

щину: симпатичную, крупную, смуглую, скуластую, с прекрасными раскосыми глазами. Она встречала нас с неизменной хорошей открытой улыбкой. Ата от-носился к ней с заметной теплотой и при встрече обязательно интересовался:

– Как жизнь, Далай-лама? Как дети? – Или:

– А ты все цветешь, Далай-лама? Ну-ну, цветы, красавица!

Иногда деловым тоном спрашивал:

– Олжас у себя, Далай-лама?

Как-то давно ата говорил мне, что эта женщина не казашка, а бурятка. Она работала секретаршей у одного из секретарей Союза писателей Казахстана.

Однажды утром ата вручил мне список газет и журналов, на которые нужно было подписаться.

– Дочка, подписка уже началась, как бы нам не опоздать. Вот список, внесите с Бахытом, что вам нужно. Потом иди к Далай-ламе и от моего имени скажи ей, чтобы не оставила нас без газет на следующий год. Вот подпишись и быстренько возвращайся.

С дополнительным списком я отправилась в Союз писателей, поднялась по лестнице, вошла в приемную и бодро произнесла:

– Здравствуйте, Далай-лама! Меня к вам ата прислал.

Она с удивленной растерянной улыбкой посмотрела мне в лицо, погладила ладонью подбородок и тихо ответила:

– Меня зовут не Далай-лама, а Люся. Это только Бауке меня так называет.

Первым моим порывом было броситься вон и бежать без оглядки. Показалось, что горячая кровь брызнула из всех пор моего лица. В ту минуту я страстно желала провалиться сквозь землю. До сих пор при воспоминании о том эпизоде испытываю чувство острого стыда. А тогда я растерянно молчала и даже не извинилась перед человеком. Люся, видно, поняла мое состояние: как ни в чем не бывало спросила, по какому я делу. Я вручила ей список, передала на словах поручение ата, и мы вдвоем быстро оформили подписку. Потом я сбегала по широкой лестнице Союза писателей так быстро, будто кто-то за мной гнался, и чудилось мне, что все литераторы знают о моем конфузе и на завтра весь Союз будет смеяться над незадачливой снохой Момышулы.

По дороге домой я безжалостно ругала себя всеми последними словами,

какие только знала. Ведь с детства же известно, кто такой Далай-лама. Как же это я так опростоволосилась? Почему? Невозможно описать, как я терзалась стыдом. Но у нас в семье заведено, не таясь, рассказывать обо всем, что случилось за день с каждым. Нам было интересно знать все, даже самые незначительные, мелочи друг о друге. Я не смогу скрыть! А вдруг Люся при случае сама, смеясь, расскажет про мой конфуз ата? Сама виновата. Пора уже, кажется, привыкнуть к его манере раздавать направо и налево разнообразные прозвища и клички. Порой очень жестокие и меткие. Я хорошо знала об этом и все же попала впросак. Скажем, был похожий случай, и тоже в Союзе писателей. Ата увидел идущего по коридору человека и громко позвал его так:

– Кудрявый! Иди ко мне!

Я сначала подумала, что он имеет в виду известного поэта – своего ровесника, с которым шутил, как хотел: у того на голове цвела белая, жесткая и пышная, завитая в колечки шевелюра. Но к нам подошел совершенно лысый улыбающийся симпатичный человек и кротно сказал:

– Простите, Бауке, я вас не узнал в полумраке.

Свою женге, вдову его дяди, женщину веселую, курносую, с чуточку вдавленной переносицей, он с гордостью именовал:

– Римский нос! Орлоноса старуха!

Бахытжан был для него, конечно, Черновик и балбес. Я – турчанка, а мой брат Камал получил титул паши. Друга Бахыта, уйгурского писателя Шаима Шаваева он называл “древний народ”. Так и говорил: “Садись, Древний народ, пить чай!” Казалось, для каждого человека у него были готовы прозвища. Но удивительное дело: никто на него никогда не обижался, никого это почему-то не оскорбляло.

Ата встретил меня вопросом:

– Ну как, дочка, успела на все подписаться?

– Да, все в порядке, – пробормотала я, снимая обувь.

На этот раз, прежде чем начать традиционный “доклад”, я запнулась и отвела глаза. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Ты что-то скрываешь, дочка. Рассказывай, что натворила?

Волей-неволей пришлось сказать всю правду. Ата смеялся до слез. Бахыт вылез из своей берлоги, стал допытываться, чего это мы так веселимся.

Ата заставил меня повторить. А этому только дай повод – он так неприлично громко хохотал, я думала, потолок обвалится. Что мне оставалось делать? И я, не долго думая, присоединилась к ним. Отсмеявшись, ата с притворной строгостью сказал:

– Вот видишь, что получается, когда другие пытаются мне подражать. Всякое подражание вообще смешно и глупо, оно простительно, скажем, только начинающим поэтам, которые учатся у мастеров. Мало ли у нас певцов и певиц, поющих, например, голосами Гарифуллы или Бибигуль? Ведь они не становятся от этого Курмангалиевыми и Тулегеновыми. А мне подражать и вовсе вредно. Потому что из этого выйдет не эпигонство даже, а натуральное хамство. Словом, смех один выйдет, человек всегда должен оставаться самим собой. Что дано одному, то ляжет на лицо другого маской и скупью.

– Ата, у меня и в мыслях не было подражать вам. Так получилось, честное слово!

– Ну и слава богу! – тепло улыбнулся ата. – А я думал, что в следующий раз ты у меня мундир попросишь... Но неужели ты, дочка, не знаешь, кто такой Далай-лама?

– Знаю, конечно. Но я почему-то решила, что у бурят этот титул со временем стал фамилией, потерял свое первоначальное обозначение первосвященника. Вот у корейцев, например, стали же фамилиями родовые названия: Кан, Ким, Пак. Или у русских – Королев, Царев, Князев, Попов...

– Ничего страшного в таком заблуждении нет. Но не будь же такой простодушной, дочка. Мало ли что, может брякнуть “солдафон”? Ты так доверчива ко всему, что исходит от меня, грешного...

Как же мне не верить?! Я до сих пор не сомневаюсь ни в одном слове ата. Более того, в каждом будничном его выражении, в остром орлином взгляде, в гневном рокоте громового голоса, в гулком раскатистом смехе, в солнечной улыбке, в печальных глазах я ищу высокий, чистый смысл. Ищу и нахожу драгоценные крупинки благородства и чести. Повторить его невозможно. Такое кощунственное легкомыслие может допустить, я считаю, лишь недалекий человек.

Несколько дней подряд ата не поднимает головы от вороха исписанных бумаг. Хмуро дымит сигаретой, страдальчески морщится, вчитываясь в поблекшие строчки. В перерывах между этим мучением с огорчением созерцает потолок. Я не знаю, может быть, он ищет и не находит нужного стихотворения, может, эти строчки связаны в его памяти с тяжелыми, неприятными событиями в жизни. Бахытжан говорил как-то, что ата одно время писал стихи на русском – похоже, они и стали теперь, спустя годы, предметом столь болезненно-пристрастного, как и, впрочем, у всех авторов, внимания ата. “Посмотреть бы хоть одним глазком”, – мелькнула мысль и тут же пропала: не до меня сейчас.

...Отчаянно зазвенел телефон. Приятный мягкий мужской голос попросил ата. Волоча за собой длинный шнур, несущий аппарат в кабинет.

– Ата, вас спрашивают.

Я поняла, что совершила ошибку уже тогда, когда он в сердцах выхватил трубку у меня из рук.

– Да. Здравствуйте. Я вам не артист, понятно? – и, не трудясь положить трубку на рычаг, бросил ее как попало. Та повисла, жалобно библикая. Быстро собрав за собой длинный, как кишка, шнур, я суетливо и виновато выскользнула вон и плотно прикрыла за собой дверь. “Так тебе и надо, – со злой, мстительной радостью подумала я сама о себе. – Впредь тебе урок: не лезь под руку, когда человек и так себе места не находит. До телефона ли ему сейчас?” И обладатель приятного голоса из-за меня зря погорел. Около недели назад я тоже едва не стала жертвой бестолкового телефона. Звонит раз некто, спрашивает ата и еле-еле буквы в слова вяжет. “Наверняка пьяный”, – решаю я и без зазрения совести вру, что ата нет дома. При этом еще ворчу: знаю, мол, я эту породу людей – как чуть хлебнут чего погорячее, так у них тут же возникает непреодолимая потребность излиться в любви к ближнему. Особенно если этот ближний чем-нибудь знаменит. В тот же день вечером пришел наш один авторитетный агай.

– Бауке, а я звонил сегодня, сказали, вас нет дома, – знакомо, с трудом прошепелявил агай.

Тут я, к своему великому стыду, обнаружила, что у него вставные зубы, из-за этого мучается – а я его за пьяного приняла. Спасибо ата, что понял,

вошел в мое положение, не стал демонстрировать мой обман – скрыл. Потом, когда агай ушел, порасспросил, по-доброму посмеялся и забыл.

Обладатель приятного голоса позвонил еще раз. Это редко бывает. Обычно обжегшиеся раз не спешат повторять неудачный опыт. Но теперь попросил не ата, а Бахытжана. С телефоном в обнимку иду в комнату к Бахытжану. Через минут пять он выходит оттуда очень задумчивый.

– Из телестудии звонят. К 30-летию Победы готовят серию передач, и одна из них о папе. А он утром не захотел даже разговаривать. Этот парень мой однокашник по школе, мы в одном дворе выросли, потом наши пути-дороги разошлись, и только сейчас узнаю, что он главный редактор русской редакции литдрамы. Умоляет, чтобы я упробил отца согласиться.

– Попробуй, но осторожно, не перегни, а то еще себе хуже сделаешь, – по инерции начала я поучать мужа уму-разуму, но он, по обыкновению, нетерпеливо махнул на меня рукой.

– Уф-ф, одна ты у нас все знаешь, Василиса премудрая номер два выискалаь.

Ну вот, и этого против себя настроила, будто мало мне было.

За горячим обедом наши отношения немного разрядились. Бахытжан с тактической целью рассказал смешной анекдот и вслед за ним приступил к обработке отца.

– Папа, помнишь, мы жили на Фурманова? Там, в третьем подъезде, на втором этаже, жили Синельниковы. У них сын, мой ровесник Илюша – светленький такой, нежный, на девчонку похожий, помнишь? Весь из себя такой чистенький, с мальчишками по подвалам не шастал, на деревья не лазил, с бабушкой под ручку аккуратно прогуливался или у окошка книжки читал. Он к нам часто ходил, мы книгами менялись, помнишь? У него отец еще был такой высокий, ладный, – пытался Бахыт вызвать отца на мирные переговоры.

– Да нет, не вспомнить мне сразу-то. А зачем тебе? – подозрительно спросил ата.

– Тот Илюша сейчас большой начальник на студии, это с ним ты утром не захотел разговаривать, – широко, ясно улыбнулся мой непредсказуемый супруг так, словно сообщил сверхприятную новость.

– Ну и что?

– Ты послушай, не перебивай. Илье надо во что бы то ни стало подготовить передачу к 30-летию Победы, и в ней, в частности, должно прозвучать то, какое значение для хода войны имели соединения из Казахстана.

– погоди! – резко вскинул руку ата. Бахыт остался стоять с открытым ртом. – погоди. История казахов пестрит войнами, в народе хранились и развивались глубокие и прочные военные традиции. Но мы впервые участвовали в военных событиях мирового масштаба – плечом к плечу со всей страной. Сама история свидетель – наш народ не уронил чести своего древнего знамени. Но цену заплатил за это великую. Так вот я что хочу сказать: не обо мне – о сгоревших молодых, талантливых жизнях надо вести речь. Мы живем благодаря им, погибшим. Об этом нельзя забывать.

А уцелевшие мои братья-фронтовики: ни один из них не станет приставать к журналистам с просьбами написать о них, ни один! Вот где источник подлинной чистоты и благородства и благодарный богатый материал для томов книг, а для телепередач – тем более. Потом еще сколько настоящих героев было в тылу! А журналисты, как попугаи, об одних и тех же пишут и пишут. Будто они одни Победу сделали. Сколько еще неизвестных фактов, непризнанных, неизвестных героев – вот на что надо открывать глаза современников.

Ата оглянулся, не зная, куда стряхнуть пепел. Когда я вернулась с пепельницей, Бахыт убежденно говорил:

– Так ведь ты же и есть один из этих писателей. Читатель тебя знает и ждет новых книг. Ведь я знаю, тебе есть что сказать.

– Да, наверное, ты прав. Но с каждым днем все тяжелее груз прожитых лет, и здоровье мое негодное многое осложняет, – уходя, ата прихватил пепельницу, почти у двери, не оборачиваясь, бросил: – Если тот парень позвонит, пусть приходит.

Наш ата, если находил нужным, умел слушать советы человека много младше себя.

Бахыт вполне справедливо решил не дожидаться звонка Синельникова, на радостях позвонил ему сам. “Скорей приходи”, – испуганным, как с пожара, голосом произнес он только эти два слова и бросил трубку. Тот оказался понятливым: немедленно примчался, залпом выпил стакан холодной воды из-под крана, вдохнул полную грудь воздуха и смело шагнул по направлению в кабинет. Следом пошли полубопытствовать и мы с мужем.

– И не стыдно тебе нанимать посредников? – первым делом поинтересовался ата у гостя.

– Простите, но у меня не было другого выхода, – расцвел Илья в обаятельной улыбке.

– На будущее запомни, – ата строго посмотрел на стоящего перед ним Синельникова, – не родился еще человек, который заставил бы меня делать то, что не хочу я сам. Бахыт тут ни при чем. Это мое личное решение. Кроме всего прочего, я не подчиняюсь вашим заготовкам в виде сценария там, плана или еще чего там у вас имеется. Я намерен излагать свои мысли до конца, но сначала тебе поясню, конечно, о чем пойдет речь. В том случае, если мне будут указывать: “Здесь помолчи, а вот тут сделай улыбку”, наше сотрудничество исключено, отправляйся тогда по собственным свежим следам обратно. Все понятно?

– Разумеется, все будет так, как вы скажете, – Илья почтительно скрестил руки на груди.

Передачу снимали дома – авторы с пониманием отнеслись к слабому здоровью ата. Квартиру загромождали юпитерами, вспышками, под ногами путались провода, деловитые молодые люди молча сновали туда-сюда, устанавливали телекамеры. Мы отнесли в кабинет журнальный столик, перед которым усадили в кресло ата. На столике разложили чистый лист бумаги, сигареты “Казахстан” и янтарный мундштук. Потом они утомительно долго проверяли чистоту звука, качество записи, дышали в микрофон и считали до десяти. Герой предстоящей передачи с непроницаемым лицом постучал мундштуком о край пепельницы. Мы с Бахытом понимающе переглянулись – этот жест не сулил ничего хорошего. Может, он волновался: легко ли “держаться естественно и непринужденно”, как упрашивал режиссер, в столь плотной осаде проводов, проводочков и частокола слепящих юпитеров.

Потом журналисты оставили в покое ата, принялись снимать разного рода мелочи, камера скользнула по стенам, выискивая “объемные детали”, которые бы в совокупности создали характер героя.

Ата устало и озабоченно следил за “кухней” телевизионщиков, в комнате отчего-то пахло паленым. Тут и здоровый замучается, а не только больной старик, хоть и герой в прошлом. У нас ведь не принято щадяще соотносить цель и степень самочувствия людей. Но каков все-таки ата! Завидев меня с

чайником, тут же услал вместе с ним обратно – готовить дастархан для всей этой братии: “Обед скоро, думаешь, им легко на ногах столько часов, никого не отпускай, накорми ребят хорошенько”. Я его жалею, а он – своих телевизионщиков.

Наконец я их всех рассадила, и тут приходит представитель печати. Солидный светлый мужчина назвался корреспондентом “Казах адабиети” и хмуро испросил разрешения побеседовать с ата на предмет интервью к юбилею Победы.

– Он не сможет вас принять, он сегодня очень устал, вот товарищи подтвердят, – заторопилась я с отказом, хотя никогда раньше не решала за ата.

Корреспондента не тронули ни я сама – взъерошенная суетой, как воробей, – ни мои, с позволения сказать, доводы. Уходить он не собирался. Да ведь и его можно понять, задание есть задание.

– Может, он заодно и с вами поговорит, – встрял Бахытжан, по ходу, так сказать, по инерции.

У меня нет дурной привычки на людях перечить мужу, многое приходится переваривать втихомолку.

Проводив гостя до двери, Бахыт с видимым удовлетворением в голосе убежденно сказал:

– Выгонит. Костюм на нем мятый-перемятый, выпался он в нем, что ли. Папа не потерпит такого безобразия.

Но все обошлось: ата не обратил внимания на неглаженные брюки корреспондента, тот благополучно взял интервью и скрылся вместе с негативом, на котором были зафиксированы ата с Ержаном – это тот снимок, где они в зимней одежде в кабинете. Обещал вернуть, но так и не появился. Я напрасно прождала месяц, потом спохватилась искать его в редакции, а там развели руками – уволился недавно. Вот я и думаю: зачем ему этот крохотный кусочек пленки, ведь потерял, наверное, или выбросил. А нам он дорог – так как же не понять человеку такой простой вещи?!

Итак, передача серии “Память огненных лет” вышла в эфир и имела, как говорится, большой резонанс. Позже, к 40-летию Победы, седьмая серия сериального видеофильма “Казахстан в Великой Отечественной войне” была целиком посвящена ата. Конечно, пятьдесят пять минут не вместят всей жизни, и тем не менее режиссер Женис Мукатаев и драматург Адильбек Тауаса-

ров честно выполнили свой профессиональный и человеческий долг: увиденное впечатляет до самого сердца.

Киностудия “Казахфильм” имени Шакена Айманова выпустила в свет документальный фильм “Момышулы”, 8 мая 1985 года в столичном кинотеатре “Алатау” состоялась его премьера, перед которой со зрителями встречались режиссер фильма Алмас Байзаков, один из авторов сценария В. Татенко и Бахытжан. К великому нашему сожалению, слег с простудой и не пришел на премьеру второй сценарист, замечательный Азильхан-ага Нуршаихов.

Теоретически я, конечно, представляла себе успех этой работы, но на деле овации зала, молодой в основном публики, оказались для меня неожиданностью. Трудно все-таки планировать чувства.

В создании этого фильма много помогли авторам однокашник ата по чимкентскому интернату, горячо любимый друг и поэт Абдильда-ата Тажибаев, Азага-Азильхан Нуршаихов, ученик и последователь ата генерал-полковник Иван Макарович Голушко, исполнитель главной роли в спектакле “Волоколамское шоссе” на сцене МХАТа заслуженный артист РСФСР Борис Щербаков, фронтовой друг ата писатель Дмитрий Федорович Снегин, бывший политрук батальона – о нем писал ата в своих книгах – Федор Толстунов.

Об ата и при жизни много писали, много снимали. И это вполне естественно, потому что в его делах, в его жизни отражено самое достойное из того, что делала страна в трудные годы своего существования.

* * *

Мы с ата возвращались из Главного архивного управления. Лифт в доме не работал, хотя два часа назад отвозил нас вниз. Те из моих дорогих читателей, кто живет на одном из высоких этажей, поймут мое отчаяние в эту минуту. О пожилых тут и говорить нечего, я сама в таких случаях чуть не волоком поднимаю наверх свое бречное тело плюс полные авоськи в придачу.

– У вас и без того нога болит, как же мы теперь? – обернулась я к ата. – В жизни этот лифт нормально не работает, вот горе-работнички свалились нам на голову... – начала я искать виноватых, но он перебил меня.

– Не заводись понапрасну, откуда мы знаем настоящую причину? Это ведь не горячий конь – стегнул его и помчался, железо мертвое. То вверх, то вниз, и оно, небось, изнашивается. Давай лучше карабкаться потихоньку.

Худо-бедно добрались до седьмого.

– Ой! Что случилось? Что ты бледный такой? – испугался открывший нам дверь Бахытжан.

– Лифт не работает, мы пешком поднимались, – ответила я, ибо ата не мог отдышаться.

К своей радости, увидела, что к нам, оказывается, пришла апапа. Она тут же заохала и стала жалостливо ходить вокруг ата.

– Пусть на себя пеняет, раз не стал просить нормальную квартиру, – неожиданно резко отрубил Бахытжан.

– Другие ничем не хуже меня – те, которые живут в таких квартирах. Запомни: я ничего просить не буду! – повысил голос ата.

– Ты не просишь, зато они, твои другие, за твоей спиной хорошо поживились, – запальчиво выкрикнул Бахыт. Апапа незаметно сжала его локоть.

– Замолчи, пожалуйста! Я устал, – ата махнул рукой и побрел к кабинету.

– Как ты разговариваешь с отцом? Я тобой недовольна, сынок, – укоризненно, тихо сказала апа. Но этот упрек прозвучал, пожалуй, сильнее, чем крик.

Я вообще никогда не замечала, чтобы апа повышала голос: всегда спокойно, ровно, но очень убедительно, веско. Бахытжан промолчал. Только жарко покраснел, и цвет лица теперь имел, какой бывает у пережарившегося баурсака. Взял сигарету, усиленно мял ее побелевшими пальцами, потом в сердцах выбросил ее в мусорное ведро, застегнул пуговицу на воротах и решительно зашагал в кабинет.

Мы с апа возимся с продуктами, молчим. Я изредка поднимаю глаза и украдкой смотрю: сердится? Но у нее, как всегда, на лице спокойная доброжелательность, и не больше.

– Знает же отцовский характер и все равно против течения стремится, – сказала она как бы сама себе.

– “Всевышний подарил единственного верблюжонка, да и тот с дырявой ноздрей”, – посетовал однажды некто: так и вам где взять сына получше, – попыталась я разрядить возникшую неловкость шуткой.

– Да, он единственный у нас и есть, – вздохнула апапа.

– И за то благодарение аллаху.

В это время послышался безудержный смех Бахытжана, который, честно сказать, бальзамом лег мне на душу: значит, помирились, значит, мне сегодня не мучиться. А то ведь, как говорят у русских, найдет коса на камень, а моя душа, бедная, между двух огней разрывается.

– В 43 году, – степенно вспоминала апа, – Бауржан должен был приехать в отпуск. Жамал с маленьким Бахытжаном встретили твоего ата в Москве, и 23 декабря вечером они приехали в Алма-Ату. На вокзал их вышло встречать много народу. Среди них и Мухтар Ауэзов был, и Габит Мусрепов, Сабит Муканов, Габиден Мустафин, еще кто-то, не помню. Все они прямо с вокзала такой делегацией прибыли к нам. А у нас одна небольшая комнатка. Посредине стол, у стены бесик¹ Бахыта и коляска, одним словом, пировать не разбежишься. Трое-четверо из гостей сели, остальные так и остались стоять у порога. Потом вдруг прощаться стали: “Вы с дороги устали, отдыхайте... мол”. Должно быть, неудобно им стало в квартире тесниться. Но Баукен всех сгреб и входные двери закрыл.

– Главное, чтобы душа была свободна, а места всем хватит. Не стесняйтесь, как-нибудь рассядемся, на кровати можно устроиться. Апапа нас ждала, угощение приготовила, нельзя ее обижать, – сказал он и никого не отпустил. Но и знаменитости наши литературные, к чести своей, не стали упрячиться, друг подле дружки прекрасный вечер провели. В ту пору слава Бауржана гремела повсюду, и, пока он дома был, народ шел и шел. Да вот дела, чуть побольше людей придет, так их садить негде. И вот через неделю приходит нарочный из Совнаркома по фамилии Койкелдинов, если мне память не изменяет. И так этот товарищ сказал: “Гостей у вас много, комнатка для вас тесна, да и ребенок к тому же маленький. Мы приготовили для вас двухкомнатную квартиру. Туда вселились беженцы из Ленинграда, но сегодня мы их переселим в другое место, а вы прямо завтра сможете въезжать”.

“Нет! – вскричал тут твой ата. – Не трогайте их! Ни в коем случае не трогайте! Они бежали к нам от смерти, а Казахстан никому не был злой мачехой. Это тоже их родина, они наши, советские. Моя семья не видела ужасов, через которые прошли эти несчастные, моя семья не на улице, у нее крыша над головой есть, и ладно. Все – на этом наш разговор о квартире окончен”, –

¹ Бесик – традиционная казахская колыбель.

сказал Бауржан и не дал более раскрыть рта этому уполномоченному из Совнаркома, – с плохо скрываемой гордостью произнесла апа и даже приосанилась при этом чуть-чуть: знай, мол, наших. Оно и понятно – ведь родная кровь, муж любимой младшей сестры, это вполне простительная слабость.

– Потом Бауржан уехал обратно на фронт, а позже нам дали двухкомнатную на углу улиц Фурманова и Калинина.

Маме Бахытжана досталась трудная судьба, которую поделила с ней апа. Не берусь судить, имел ли отношение к этим трудностям ата, но апа никогда ни одним словом не упрекнула зятя ни в чем. Понимая и безоговорочно принимая всю неординарность и вместе с тем все противоречия его непростой натуры, эта мудрая женщина относилась к нему с бесконечным уважением и теплотой. И вовсе не потому, что он знаменитость – будь он хоть трижды безвестным, но тем же Бауржаном, она не изменила бы свое искреннее отношение. Ата платил ей тем же: “Наша апапа”, “апапа у нас одна”, – не уставал повторять он при случае. В традиции казахов вообще естественные, почти-тельные, исполненные глубокого уважения взаимоотношения между зятем и стороной жены.

Его именем и популярностью умели пользоваться нечестные, корыстные люди, обманывая доверие батыра, который в житейских делах зачастую был большой ребенок. Все это не мог не видеть Бахытжан. Для чужого, но почему-то симпатичного ему человека ата мог снять с себя последний чапан, а к родному сыну всю жизнь сохранял требовательное, жесткое – если подчас не жестокое – отношение. “Умеешь падать – умей и подняться самостоятельно”, – говорил он. К кому-кому, а по отношению к единственному сыну он остался верен этому правилу до конца. Бахытжан падал, ушибался, и больно ушибался, но, поверженный, вставал без помощи отца. Наверное, кто-то склонен толковать это как редкое равнодушие отца к сыну, редкое бессердечие, но я все же убеждена, что это редкое мужество. В том смысле, что не у всякого отца хватит духу сознательно бросить родное дитя в пекло жизни с тем, чтобы, выстрадав все ее тяготы, обрести мудрый реалистический и твердый взгляд на бесконечно пестрые явления нашей суетной жизни. Я бы сравнила это с тем, как учат иногда плавать: бросают неумеху в воду, он там барахтается, наглотается воды, натерпится страху и все равно выплывет. Все равно! Потому что у любого нормального

человека развиты воля и любовь к жизни. И еще ата с детства привил сыну болезненно острое отвращение к пользованию его славой. Это у Бахытжана как приобретенный иммунитет.

Я не боюсь выглядеть тенденциозной или наивной, повторяя: главное, что завещал нам ата, – простота нравов, честный труд, честь и достоинство человека. Воистину сказал классик: “Человек – это звучит гордо”.

* * *

К нам сегодня пришел такой гость! Не гость, а прямо-таки исторический экспонат. Пятьдесят лет назад этот аксакал и мой ата вместе учились в интернате в Асе и сорванцами, должно быть, слыли знатными. Ата поначалу его не узнал. Только когда гость назвался Тасыбековым Алданазаром, ата изумленно вскричал:

– Апыр-ай, жив!

– Жив, Бауке, жив.

– Подожди, подожди, ты ведь еще у нас Аширалиевым Назаром звался? Так?

– Да, именно тот самый и есть. Неужели и это помните? – довольный, смеется агай.

Впервые слышу, чтобы у одного человека было два имени и две фамилии. И я во все глаза смотрю на владельца двойной фамилии. А ата мне поясняет:

– В наши времена в интернаты, кроме детей бедняков, никого не принимали. Вот у этого презренного потомка байских кровей отец был тремя баранами богаче бедняков, и сын его, хитроумный, придумал поменять фамилию, что от деда, на ту, что от отцовского имени – Аширалиев. От своего имени, которым нарекли его родители, смело отбросил первую часть “Алда” и остался “Назаром”. Осенью начались занятия, Назар благополучно доучился до весны, а там началась “чистка” и его выкинули первым как враждебный элемент. Так? – с доброй улыбкой пошутил ата и посмотрел на ровесника.

– Так, Бауке, так. Чистая правда, – смеялся агай. Много о чем надо поговорить двум пожилым людям, которые не виделись больше чем полвека. Не буду им мешать, пойду лучше дастархан соберу.

Два аксакала вспоминали детство, с удовольствием описывая друг другу

забытые дорогие подробности, хохотали, над шалостями, которые изобретали скорые на выдумку аульные сорвиголовы.

Да-а, время, время, быстрокрылая птица...

Агай прошел всю войну от начала до конца, был четырежды ранен. В сорок восьмом по состоянию здоровья был комиссован, возвратился на родину к своим при офицерском звании, при наградах и при отсутствии здоровья. Сейчас он на пенсии, дети самостоятельны.

Вечером агай засобирался.

– Принеси один экземпляр “За нами Москва”, – попросил меня ата.

По тому, как быстро двигалась его рука справа налево, я поняла, что ата делает надпись на книге по-арабски. Он вообще отдавал предпочтение арабскому шрифту, особенно когда дело касалось надписей, памятных посланий и т.п. Причем часто адресовал свои пожелания посредством арабского алфавита молодежи, невзирая на то, что молодежь в большинстве случаев не умела прочесть ни слова из написанного.

Ата закончил и почему-то протянул книгу не агаю, а мне.

– Прочти вслух.

За годы семейной жизни я привыкла беспрекословно выполнять все просьбы своего свекра. Он даже пошутил однажды: “Жаль, что ты родилась женщиной, из тебя получился бы хороший солдат”. Кому же не нравится, когда его хвалят. Вот и сейчас я с радостью взяла книгу, но пробежала глазами текст и – сникла. Попалась. Это нельзя читать вслух, то есть в иной ситуации можно, а теперь никак нельзя. Язык не поворачивается, потому что текст был таков: “Алданазару! На память от Бауржана Момышулы. 1974 г. 25 декабря”. Ни разу с тех пор, как я стала невесткой в этом доме, не произносила я вслух имени своего свекра. Причиной тому было вовсе не слепое поклонение так называемым “архаическим обычаям” – у казахов издревле это не принято. Более того, это считается признаком крайне дурного тона, и позор родителям такой невестки, что не смогли привить дочери азбучных истин степной этики. Повторяю, причина не во внешнем соблюдении традиции, просто я... как бы это объяснить... действительно не могла себя заставить бессовестным образом, перед лицом двух почтенных аксакалов, произнести имя и фамилию пожилого человека. Как-то не получалось. Вернуть, отговорившись, что не понимаю? Но ата знает, что я разбираю арабский алфавит. Да и попадет мне за то, что не послушалась при госте. Что ж, делать нечего.

– Вам, – сказала я, глядя на ага и чуть склонив голову, – на память от моего ата.

И с облегчением вручила злополучную книгу. Агай прочел надпись, потом со значением взглянул на меня, на ата и неожиданно бурно заколыхался в смехе.

– Бауке, – излучая тепло глаз, сказал все еще посмеивающийся агай, – невестка у вас дипломат.

– Хм-м, этого мало! – с удовлетворением фиксировал ата.

“Этого мало”. Ощущение было такое, будто на меня благодатным дождем посыпались все блага мира. Сегодня, судя по всему, встала с правой ноги. Такие, как я, не избалованные комплиментами, – умеют ценить редкую похвалу. Сердечное спасибо дорогому ата за то, что дарил мне эти драгоценные минуты радости – ощущение своей небездарности, маленькой полезности в этом большом, многоликом мире.

Ну что ж, это все эмоции, а фактической приметой того памятного дня остался вышедший из-под пера ата рассказ “Трое из интерната”.

* * *

Чего у нас в доме в избытке, так это бумаг. Те газеты и журналы, которые мы получаем ежедневно, составляют целую большую охапку. Но зачастую и этого количества периодики не хватало для того, чтобы насытить временами особенно обостряющийся информационный голод представителей фамилии Момышулы. Тогда я отправлялась за запасами духовных продуктов в “Кругозор”, недалеко от нашего дома. Там я обычно брала военные и политические журналы, периодику по искусству кино и театра, журналы художественные, по изобразительному искусству, различные вестники, выходящие на русском языке журналы социалистических стран и другие издания, наши республиканские журналы – регулярно и обязательно – как на казахском, так и русском языках.

В тихом уютном “Кругозоре” у высоких и светлых окон стоят журнальные столики с креслицами. Если позволяет время, я присаживаюсь за один из них и перелистываю все новинки. Но такое случается нечасто, потому что мне всегда нужно спешить с завтраком, стиркой и тому подобным... В этот раз я не зря выгадала десять свободных минут: в журнале “Простор” опу-

ликован новый рассказ известного в республике писателя в переводе Бахытджана.

Читать то, что написано карандашом, одно, читать с машинки – уже другое, но видеть этот же текст набранным типографским шрифтом – это ни с чем не сравнимая радость. Я хорошо знала этот рассказ, но еще раз заново перечитала узнаваемые строки.

Вернувшись домой, я отнесла кучу новинок в кабинет ата. Он радовался свежим газетам и журналам, как ребенок новой игрушке, и ради них откладывал все. До новостей был жаден и Бахытжан, но он никогда не хватался за газеты раньше отца.

– Бахыта перевод вышел в “Просторе”, – сообщила я ата.

– Хорошо, я посмотрю.

До завтрака мы ему не мешали. Я занималась в своем “кабинете”, Ержан играл, Бахыт стучал на машинке. За столом сам по себе возник разговор о новом рассказе и о его переводе.

– Сынок, я прочел внимательно, – начал ата, – не подумай, пожалуйста, что я хвалю тебя в глаза. Не собираюсь подкладывать под тебя мягкую подушку только потому, что автор перевода – мой сын. Ты неплохо чувствуешь природу слова, но часто спотыкаешься, иногда переводишь даже слишком свободно, и это уже вольность. Некоторые понятия, аналогов которых нет в русском языке, ты стараешься объяснить в тексте без сносок, и это хорошо. Сугубо национальные явления, похоронные, помолвочные обряды ты растолковываешь в меру своих знаний. Некоторые мысли автора, который задел, но не развил проблему, пытаешься углубить. Самовольно убираешь или переделываешь то, что показалось тебе неловким и неудачным. Если тебе не удастся поднять текст до уровня русскоязычного читателя, ты допускаешь непозволительную бесцеремонность и хозяйничаешь в чужом произведении. Мне кажется, в этом проявляется твое неуважение к автору, к чужому труду. Я полагаю, что человек, который не уважает чужой труд, не может любить и свою работу. Ты почти всегда начинаешь готовое произведение по-своему! И концовки даешь свои. Может, это кажется тебе выигрышным для произведения литературы, но вызывает невольную настороженность к автору и к переводчику. Не надо заглушать язык и смазывать индивидуальность того, кто доверил тебе свое детище. Все-таки на это тебя толкает, наверное, маленькое и злое тщеславие.

– Ну что ты, папа! Стал бы я на чужом материале упражняться в своем превосходстве. Я же понимаю, – нахмурился Бахытжан. – Мы с автором делаем одно дело – хотим, чтобы высказанное попало в цель. Да, я стараюсь спасти хорошего героя, который по недогляду автора падает в глазах читателя. Я пытаюсь очень личный поступок и собственнический расчет поднять до общественного и, действительно, вмещаюсь в текст, когда вижу политическую незрелость героя, его гражданскую несостоятельность. Без этих поправок, мне кажется, произведение потеряет немалую часть своей воспитательной весомости. Авторы обычно с моими поправками соглашаются, ибо дело тут не только в их самолюбии. Надо учитывать, что я перевожу не конкретного дядю, а казахскую литературу, которая пойдет к всесоюзному читателю. Поэтому преодоление сопротивления языкового, психологического, авторского материала представляется мне важным. И автор и я считаем, что на большие просторы страны мы не вправе выпустить нашего ребенка небритым и без галстука.

– Убедительно, – усмехнулся ата. – Но галстук твой нивелирует автора и героя. А зачем его брить, если он бородач? Чем плох бородач? Выходит, твои намерения мостят дорогу в ад.

– Может быть. Но я думаю и о том, чтобы редакции не возвращали мне вещь на доработку.

– Ты сейчас сказал вроде бы правду, а в общем горячо защищал свое невежество и делал это с похвальной пылкостью. Тебе не знакома психология человека аула, ты не знаешь глубоко народных традиций и обычаев, психологию народа и стараешься подогнать непонятное под свои понятия. Деревенское за воротник тащишь на городские улицы, где сам родился и вырос, а такое шитье, брат, имеет грубый шов, заметный и на ощупь, и на взгляд. В художественном переводе никаких швов ощущаться не должно. Никто не должен чувствовать, что это перевод... Когда ты не различал нюансов в богатых красками казахских синонимах, сейчас с этим ты почти справился благодаря скромно сидящей рядом с тобой Зейнеп, твоему живому словарю. Скажи хоть спасибо ей за это, – покосился ата в мою сторону, а я, действительно, скромно опустила глаза долу.

Ата меня перехвалил. Садясь за машинку, Бахыт часто усаживает меня рядом и велит читать ему казахский текст вслух и выразительно, я стараюсь,

он внимает, а когда попадаете непонятное или слишком закрученное словосочетание, начинает психовать и ругает меня и автора на чем свет стоит. Его – за то, что он лихо закручивает словесные пружины и “больше гонится за формой”. Меня – за то, что я не умею объяснить авторскую “чепуху” в двух словах, а начинаю читать лекцию по казахской словесности.

Когда меня нет дома, он идет приставать к отцу. Ата часто вместо того, чтобы просто передать буквальный смысл слова, начинает увлеченно рассказывать удивительные, сказочные вещи об этом единственном слове, красочно воскрешает его этимологию, говорит о социальных и исторических причинах, вызвавших к жизни то или иное выражение и новую его смысловую грань. Да, наш ата – просто живая летопись. Вокруг одного-единственного слова порой закручивались разговоры на целый день и кусочек ночи. А то еще и утро следующего дня прихватывали. Ата владел таким богатством, которого никогда не было в моих университетских конспектах. Однажды я поняла, что напрасно гордилась тем, что выросла в местности, где казахский язык остался в первозданной чистоте, и что лучше многих владею неиспорченной речью. Перед ата я прикусила язык... По-русски ата излагает свои мысли с такой убедительностью и с таким богатством красок, что удивляются знатоки. Если приходит дума на казахском, то речь его расцветает восточным многоцветьем и дышит ароматом родного языка. Одинаково свободно он владеет всеми богатствами обоих языков. Для меня эти домашние беседы-дискуссии стали настоящими курсами повышения квалификации и ликбезом знаний о жизни.

– Не знаю, – говорил ата, когда я снова включилась в их беседу, – читал ли ты мою статью “Искусство художественного перевода”. Опубликована она была в газете “Лениншил жас”... где-то в марте 1964 года. Первоначальный ее вариант был написан по-русски. Если хочешь, я могу дать ее тебе почитать, только сначала найду.

– Найди обязательно.

Ата потянулся за новой сигаретой, и я воспользовалась паузой:

– Помните, недавно вы показывали мне перевод стихов о Коркуте: “В лицо вселенной плюнув раз, ушел Коркут-баба в могилу”?

– Да, помню. А что?

– Я показала казахский текст Бахыту и попросила перевести. Он тут

же сел за машинку и выдал следующее: “Плюнув жизни в злобный лик, скрылся дед в могиле вмиг”.

Ата весело рассмеялся:

– О каком деде речь-то? И почему он так быстро скрылся в могиле? А я как перевел? Помнишь?

Я попыталась вспомнить не только слова, но и интонации его голоса:

Оглядевшись вокруг, кинув взор назад,
Мой прославленный прадед Коркут-музыкант,
Наплевав свысока в рожу этому миру,
Без слезы сожаленья убрался в могилу.

Ваш перевод, честно говоря, мне больше нравится, потому что более красочен, образен, музыкален. А у сына вашего получился сухой подстрочник, лубочный перевод, частушка.

– Эй-эй! Подожди! – предостерегающе поднял руку ата. – Ишь, какая приткая! Этот перевод Бахыт делал по твоему заказу: ведь в случае послушания он мог вполне остаться голодным, так? Он выполнил твой приказ – не более, и требовать от него художественных высот ты не вправе. К тому же ты показала ему всего две строки – без начала и без конца. Как ты думаешь, может такое заинтересовать? Может вызвать желание перевести и вдохновить? Он думал о своем благополучии. Я прав, Черновик? – строго посмотрел отец на ухмыляющегося сына.

– Ты как всегда точен, – лстивым голосом сказал Бахытжан. – Но здесь я даже музыки строфы не мог поймать, а ведь без этого нет перевода. Я читаю оригинал, не перевожу до тех пор, пока не найду той мелодии, которая ввела бы меня в атмосферу авторских мыслей и образов. Поэтому много мучаюсь с началом. Не могу начать, пока не войду в образ. Надо влезть по возможности в авторскую шкуру – вот почему я считаю, что мои некоторые вольности оправданы и, смею думать, не обижают авторов. Но над началом бьюсь, как рыба об лед, переписываю несколько вариантов, и все не нравятся. Но если я не найду того доброго контакта, который должен существовать между автором и переводчиком, то ничего путного из этого не получится. Но стоит только почувствовать позицию автора, его доброту, честность, боль и ту неуловимую мелодию его слова, и дальше уже легко. Это зависит и от

стиля автора, и от мыслей и поступков его героев, и от языка, и от чистоты образов и характеров. Вообще, люблю, грешный, авторов чистых, гуманных, высоких. С ними у меня и в жизни складываются дружеские отношения. С “жестокими” прозаиками у меня как-то не складывается контакта. Или есть писатели слишком скрытные, суровые. С такими тоже нелегко – мой темперамент, наверное, не соответствует. Такие работы я стараюсь не брать, но и обижать человека отказом не хочется. Трудно, отец.

– Правду говоришь, сынок. Герои должны быть близки по духу, тогда и автор перестает быть тебе чужим. Иначе перевод выйдет неискренним. Творческое содружество предполагает и человеческую дружбу. Нельзя переводить того, кто тебе чужд, но нельзя браться переводить и близких тебе людей в том случае, если ты собираешься их мучить, предъявлять свои капризы. Мне понравилась твоя мысль о том, что ты переводишь не Найманбаева, а казахскую литературу. Калдарбек – хороший парень, но в нем заметно сильны особенности Юга. Следует учитывать это, так же как и его порывистый характер. А ты ругаешь его за то, что в его рассказах южное солнце греет недостаточно жарко, а герои почему-то думают не о судьбе планеты, а о хлопке.

– Калдаша как раз переводить не трудно, даже весело, – многозначительно заметил Бахытжан. – Вот с Шерхан-ага было нелегко, потому что тут столкнулись два полярных темперамента и, можно сказать, преломились не во всем одинаковые углы зрения. Там, где он идет прогуляться, мне хочется нестись вскачь. Там, где он следит за развитием событий взором наблюдателя, мне хочется вмешаться и разгромить все в пух и прах. Где суров он, мне хочется погладить по голове. Но в отношении языка он превосходен. В нем и солнце, и разнотравье, и горная высота, и живые люди. Правда, мне приходится изрядно попотеть с этими, такими неповторимо-воздушными в оригинале, названиями трав, цветов, птиц и зверей...

– Книга выходит на большой простор, в русскоязычный читательский океан. Наверное, ты прав, предъявляя такие требования к автору, да и к себе тоже... – задумчиво произнес ата. – Жутко предстать перед миллионами дураком. Ты говорил, что мучаешься с устойчивыми фразеологическими сочетаниями. Тебе нужно знать природу, дух, рождение этих жемчужин народной речи, глубоко их понять и прочувствовать. Этот труд окупится сторицей. Не ленись, ищи постоянно.

Вот, например, есть такое выражение: “Я один и бог один”. Здесь можно увидеть непомерную гордость. Можно услышать горечь мудреца, понявшего, что бог в нем, и оба они одиноки. И что бог умрет для него вместе с ним, потому что он – это разум и сердце. Словом, можно рассуждать по-всякому. Человек одинок по своей природе и физически, и духовно. Он никогда не сможет до конца передать другому свое состояние, впечатления, чувства и мысли. До других всегда доходят невнятные отголоски, туманные образы. Более других добились здесь успеха великие мыслители, художники, поэты, писатели, композиторы. Но каких усилий им это стоило, каких мук! И я не уверен, что они высказали все, что хотели. Человек передает лишь жалкую часть того, что испытывает сам. Даже краски мира никому не дано увидеть глазами другого. Скажем, ты обжег руку. Сколько бы ни билась над тобой Зейнеп, сколько бы ни причитала, ей не испытать твоей боли. Вместе с человеком не умирает никто из близких. Даже в сражении, где властвует смерть, каждый умирает в одиночестве. Родство и близость – это понятия условные, временные, отпущенные на короткий срок жизни. Говорить о вечности – значит обманывать себя. У человека рождаются иногда мысли, которые он скрывает даже от самого себя. Вечны не тело, не ощущения, а дела, если они достойны бессмертия. Они останутся после нас, наши книги. С первых дней существования человек борется с одиночеством. Ибо это бездна. Он кричит, призывает мать, ищет друзей, ищет даже врагов, ищет любовь. Ищет себя в жизни, в детях, в работе и в обществе, но полностью перешагнуть через свое одиночество так и не сможет. Стремиться к этому – уже достоинство и мудрость. Надо стараться делами раствориться в других, в своих собратях – вот это разумно.

Ата знал, что говорит. Он был одним из тех трудных “противоречивых единиц” нашего гармоничного общества, которые своими руками создавали свое одиночество. Но умели даже и это поставить на службу людям.

* * *

– Ата, я вам памятник сделал, – подошел Ержан к дедушке.

– Памятник, говоришь? Ну-ка, давай посмотрим.

Ержан бережно, на вытянутых руках принес воздвигнутое на картонном постаменте замечательное изваяние. Уши у него в обе стороны торчком, глаза тяжелые, навывкате, и шея кривая.

- Эй, да это же вылитый я!
 - Потому что я на вас глядя делал.
 - А что это у него на груди за желтые кругляшочки?
 - Это ордена и медали. – Ата замолчал.
 - Что, мало? Мало, да? – забеспокоился внук.
 - Нет, не мало.
 - Я еще больше медалей могу сделать. Вы же мой дедушка, мне для вас ничего не жалко, – разошелся Ержан.
 - Мне не надо.
 - Почему не надо? Ордена нужны, и медали тоже нужны, – принялся горячо агитировать деда внук.
 - Нельзя брать незаслуженную награду, если человек себя уважает, он ни за что не возьмет.
- В это время раздался звонок в дверь. Ержан выбежал раньше меня. Пришла известная художница Айша-апа Галимбаева. Час назад они с ата договорились о встрече по телефону, вездесущий мальчишка прознал про это и теперь ждал апай, чтобы лично представить ее ата.
- Айша-апа, пойдемте, я вас отведу к ата. А не то можете заблудиться и уйти в другую комнату, где нет ата, – и он решительно ухватил художницу за палец и увел в кабинет. Я пошла следом, чтобы забрать сына, мешать будет.
 - О, Айша-ханум! Наконец-то я вас вижу! – встретил ее ата. – Но вы на меня не обижайтесь: я нарушу наше условие. Портрет мой писать не нужно.
 - Ой, почему? – всполошилась апай.
 - А потому, что вы все равно не напишете меня лучше этого, – показал он Ержанову “скульптуру”.
 - Апай смеется.
 - Айша-апа, вы будете моего ата рисовать?
 - Да, айналайын.
 - Тогда усы не забудьте, пожалуйста, – и мальчик просительно заглянул в глаза художницы.
 - Жаным-ау, усы-то зачем?
 - Ата без усов на Максима Горького не будет похож, – с огорчением констатировал Ержан.

– Айналайын, хорошо, конечно, быть похожим на великого писателя, но твой ата ни на кого не похож.

* * *

И снова утро. Оно занялось сегодня особенно солнечным. В такие часы хочется, чтобы все люди были добрыми, счастливыми, чуткими, чтобы не было на земле горя и голода. Чтобы никто никому не портил настроения. Всем знакомым и встречным хочется пожелать похожей на это солнце сердечности. Это было улыбчивое утро.

– Доброе утро, ата. Как вы отдохнули?

– Спасибо, дочка, сегодня я хорошо спал. День-то, оказывается, выдался прекрасный. Давай после чая сходим с тобой по делу в одно место. Или у тебя планы на сегодня?

– Что вы, ата! Я пойду с большой радостью, – искренне ответила я.

– Как будто! – рассмеялся он. – Вы только посмотрите на нее! Можно подумать, я тебе много радостей приношу. Наверное, про себя говоришь, сколько пришлось вытерпеть от этого выжившего из ума старика.

– Ну-у-у, ата! Вы никогда не думаете о том, что можете обидеть человека. Нет и не было у меня таких черных мыслей. Или, может, я дала вам какой-то повод? Тогда скажите. Ведь и я человек – пойму, тоже ведь росла при родителях. Поверьте: каждое мгновение, проведенное рядом с вами, делает меня счастливее, богаче. А если что не так, постараюсь исправиться. Где сама не замечу, вы не стесняйтесь, скажите, – упрашивала я, удивляясь собственному красноречию. Что-то я нынче больно разговорчива. Не к добру это, пора и честь знать. Однако все, что я сказала, я сказала искренне; это давно выношенные слова, я не лгала ни себе, ни ата.

Он слушал меня, высоко подняв правую бровь. От этого взгляда меня снова охватила робость, чувство внезапной неловкости. Очень захотелось уйти, избавиться от стыда. Я шагнула к двери, но он остановил меня взмахом руки. – Подожди, – мягко начал ата. – Я давно убедился, что ты росла в прекрасной семье. Спасибо твоим родителям. Всякий раз, когда я хвалю тебя, я низко кланяюсь им. Запомни это! До твоего прихода я писал письмо моему старому другу Вере Павловне Строевой в Москву. Там есть слова и о тебе.

Так и быть, покажу тебе это место, но-о-о, – погрозил ата пальцем, – читай вот здесь! Остальное тебя не касается.

И я прочитала: “Вера Павловна, я Вам пишу. Бахытжан очень занят – он переводчик с оригинала, а не с подстрочника... Русские очень им довольны. Он также выпустил свои две-три книжки. Зейнеп /турчанка/ прекрасно владеет казахским языком не в пример своим сверстникам – казашкам и казахам. Она по-восточному /по-турецки/ кротка и тактична, по-венгерски кулинарна, по-японски чистоплотна, читает с пониманием, пишет и арабскою вязью... Четырехлетний внук Ержан /по крови араб, монгол, турок, казах, калмык/ удивляет многих, в том числе так называемых “шокынганов”-выкрестов своим прекрасным знанием казахского языка. От этого старики в восторге. Он легко перенес мусульманскую традицию обрезания. Он тоже “читает”, “пишет”, “рисует”, “лепит”, “орнаментирует” и, разумеется, воюет, растет... Бауржан I. 15/XI – 73 г.”. На письме стоял гриф: “Строго лично, но не секретно – по усмотрению адресата”.

– На этом прекратим взаимные славословия, – командирским голосом сказал ата. – Наступим на горло дифирамбам. Дело важней!

После завтрака мы пошли в редакцию журнала “Жулдыз”. Ата зашел в кабинет Шерхана-ага, работавшего тогда главным редактором журнала, а я отправилась за письмами, которые приходили в Союз писателей на имя ата. Когда мы собрались домой, ата вопросительно посмотрел в мою сторону.

– Что-то мне, дочка, захотелось увидеть сегодня Рахимжана.

Он имел в виду Рахимжана-ага Кошкарбаева, которого очень ценил, более того, нежно любил, с гордостью старшего брата он говорил о нем: “Чистый, честный джигит, широкий и щедрый сердцем, мужественный и храбрый батыр, одним из самых первых советских солдат водрузивший знамя над рейхстагом”.

Доехав до гостиницы “Алма-Ата”, мы отпустили машину. Его не оказалось на месте. Секретарша сказала, что директора не будет в течение часа. Делать было нечего, мы снова спустились вниз. Я подумала, что теперь мы, наверное, вернемся домой, но ата неожиданно для меня принял новое решение:

– Если мы сейчас уедем домой, то нам уже не захочется снова выходить на улицу. Где бы скоротать этот час? Вот что, дочка, давай-ка мы с тобой зайдем в ресторан, что-нибудь перекусим.

– Ойбай, не пойду! Ни за что не пойду!

– Почему? – искренне изумился ата.

– Увидит кто-нибудь из знакомых и скажет, что эту невестку аллах разумом обделил – со свекром по ресторанам ходит.

– Пусть он так говорит, раз сам не может свою невестку в ресторан пригласить, – упрямо сказал ата. – С каких это пор мы стали бояться молвы? Давай лучше первыми увидим этого страшного знакомого, посмотрим, что он из себя представляет.

– Ата, ну пожалуйста, можно, я не пойду? Или вы зайдите, а я вас здесь поблизости подожду, – взмолилась я, поняв, что он нисколько не шутит.

– Почему ты упорствуешь? Кто тебе разрешил не подчиняться? Что-то ты сегодня очень разговорчива стала. Бери-ка меня под руку! Выше голову!

Я поняла, что на этом разговор окончен. Дальнейшее мое сопротивление бессмысленно. Пришлось взять ата под руку и с ощущением ужаса в сердце шагнуть в ресторанные двери.

На мое счастье, в зале было не очень много посетителей и свободных столиков было много. Я быстро пробежала глазами по лицам, боясь обнаружить знакомого, и, к своей великой радости, знакомых не увидела.

Мы прошли в середину зала.

Мне приходилось слышать, что обычно в ресторанах официанты заставляют подолгу ждать, но в этот раз все было иначе. Может, народу было мало, а возможно, что ата сразу узнали, но к нашему столику скоро подошла стройная красивая женщина с высокой аккуратной прической. Она тепло поздоровалась с нами и записала заказ. Кто-то мне говорил, что в ресторанах не принято курить, но ата спокойно полез в карман за сигаретами и задымил, отрешенно уставившись в окно...

– Момышулы сидит...

– Разве он? Не думал...

– Сейчас что-нибудь натворит...

– А кто это рядом? – донеслись до меня довольно внятные, пропитанные жадным любопытством слова. Я потихоньку посмотрела в сторону говоривших. За дальним угловым столиком сидела компания человек в семь-восемь явно не городского вида, хотя все были одеты в новые топорщащиеся дорогие костюмы и соответственно прилежно придушены

яркими галстуками. За этим столом уже не слышалось звона посуды, люди перестали есть и с детским любопытством беззастенчиво уставились на ата. Он же ни разу не удостоил их взглядом, продолжал спокойно курить. Было видно, что подобное внимание ему не в новинку.

Принесли обед. Ата погасил окурок в чистом блюдечке, посидел некоторое время, рассеянно глядя на стол, а потом вдруг схватил тарелку с супом обеими руками, поднес ко рту и с шумом, в три глотка выпил бульон. Без ложки, прямо через край глубокой тарелки. Я ахнула. А ата спокойно поставил тарелку на место, выудил пальцами мясные шарики фрикаделек и отправил их в рот. Разжевал, проглотил, а потом, к еще большему моему ужасу, начал вылизывать тарелку, выпучив глаза от наслаждения. После этого вытер усы и руки салфеткой и преспокойно закурил новую сигарету.

Я в панике оглянулась. У наших соседей глаза едва не повылазили из орбит. За их столом возникло какое-то замешательство, а потом ими, похоже, овладело оцепенение. Они не отрывали от нас неподвижных глаз.

От стыда я готова была провалиться сквозь землю. Пробить бетонный пол ресторанный зала или лучше вылететь в форточку. Наверное, этим вопиющим поступком ата решил проучить меня за мою строптивость. Или же просто издевается. Мы с ним бывали во многих местах, но ни разу не было ничего подобного. Это просто невыносимо.

Затушив новую сигарету, ата приступил ко второму блюду. Его он тоже стал есть руками, но уже не спешил, ел со вкусом, нарочито громко причмокивал и чавкал. Расправившись с рагу, потянулся за салфеткой, колом стоявшей у чистого прибора, тщательно вытер каждый палец в отдельности, расправил тыльной стороной ладони усы и достал третью сигарету.

Глядя на него, можно было подумать, что такое он проделывает по сто раз в день и вообще иным способом обедать не умеет. Все его действия были спокойны, уверенны, убедительны и, что самое поразительное, естественны. Мало того: он, словно ничего особенного не случилось, сделал на меня удивленные глаза:

- Ты почему до сих пор не ешь свой бифштекс?
- Я не голодна, – сдавленно, мучаясь, ответила я, изо всех сил стараясь скрыть душившую меня горькую обиду.

Он не стал настаивать. Подозвал официантку, расплатился, поблагода-

рил изящным наклоном головы, как светский лев, грациозно согнул в локте руку, предлагая ее мне, и мы направились к двери, сопровождаемые остолбенелыми взглядами посетителей ресторана и сдержанной, лукавой улыбкой официантки.

За порогом этого заведения я со слезами на глазах довольно громко упрекнула ата:

– Зачем вы это сделали?

– А что я такого особенного сделал? – притворился он непонимающим.

– Да как же!? Ведь только что...

– Ах, ты об обеде говоришь? Или об этих, что сидели в зале? Так они ждали от меня чего-то похожего, то есть необычного. Не мог же я обмануть ожиданий людей.

– А что они ждали от вас? – убитым голосом спросила я, не зная, смеяться мне или плакать.

– Как чего? Хулиганства! Они, видно, где-то прослышали о том, что Момышулы вздорный старик и делает все, что ему в голову взбредет. В их глазах был такой жгучий интерес, словно перед ними был живой мамонт по крайней мере. Я устал сидеть смирно и представлять из себя музейный экспонат, понимаешь? Пусть, думаю, будут довольны, вот и порезвился немного. Однако не сразу сообразил, что бы такое отчудить, а долго думать не хотелось, да и не придумалось бы такое соленое хулиганство, чтобы на всю жизнь им запомнилось; вот я и решил разыграть для них сценку под названием “Как обедает Бауржан”, – спокойно объяснил ата.

И снова я не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Разумней было, конечно, выбрать последнее, и я заставила себя посмеяться. Что же мне более оставалось делать.

Мы решили пройтись до дома пешком, благо идти было недалеко. Ата уже ничего не говорил о том, чтобы зайти к Рахимжану-ага, и я не напоминала. Не думаю, чтобы он забыл о своем первоначальном намерении, просто в нем погасли какие-то лучики света, упало настроение. Это я понимала, но не знала, что именно его расстроило. Может, это была поздняя злость на свое поведение? Или так неприятно было любопытство приезжих?..

Неторопливо, молча шли мы вниз по улице. Может, он расстроился из-за того, что позволил ради минутной прихоти увеличить число анекдотов о

себе, которых и без того предостаточно. А может, он просто с горечью вспоминал другие свои поступки, похожие на эту выходку. Представляю, что началось в ресторане после нашего ухода. Наверное, те люди пришли в себя и стали с хохотом перебирать подробности его поведения. Расшумелись, наверное, стали официантку расспросами изводить. Уж, во всяком случае, безучастными не остались, это ясно.

- Ойпырмай! Вот это номер!
- Вот видишь, я же говорил тебе, что натворит что-нибудь!
- Чудеса!
- Да, никто другой так поступить не сможет.
- О, это настоящий батыр! Ни на кого не похожий...
- Он даже в ресторане руками ест, истинный казах!

Завтра они вернутся в свои аулы и обязательно расскажут всем родичам и знакомым о том, что видели живого батыра и, конечно, прибавят от себя много живописных деталей. Утолят жажду своих слушателей и заставят их цокать языками от изумления. Потом... потом... впоследствии этот эпизод обрстет и вовсе невероятными подробностями и займет достойное место среди немалого количества анекдотов о легендарном человеке. Уж это мне известно наперед.

Наверное, сидят сейчас за столом с раскрасневшимися лицами и громко обсуждают “происшествие”. Затем начнут вспоминать все, что когда-то слышали о нем, и все, что знают. Они считают, что им повезло. Но никто из них не понял еще, что в проигрыше остались они. Да, они крупно проиграли. Может быть, этим приезжим больше никогда в жизни не удастся увидеть ата так близко: ведь судьба не щедра на памятные встречи. Разве мало людей, которые мечтали хоть раз в жизни увидеть нашего отца, пожать ему руку, услышать его живой голос? А раз так, то почему они, как только узнали батыра, не подошли поздороваться, справиться о здоровье, как принято в традиции казахов? Почему никому из них не пришло в голову, что можно не только глазеть на героя, но и поговорить с ним по-человечески? Эта встреча возвысила бы их, обогатила, осталась бы в памяти на всю жизнь, и о таком разговоре помнили бы их дети и внуки. Я чувствовала, что ата никогда не оттолкнул бы их: приветствие этих простых людей обернулось бы душевной беседой и, наверное, ата пригласил бы их всех домой. За внешней показу-

хой, цирковым номером не разглядели, где лежало настоящее золото. Дешевым аттракционом удовлетворились и остались довольными. Эх!

Но, с другой стороны, и их нельзя винить. Многие представляют себя ата по всяким небылицам. Ему, мол, все дозволено, из-за этого и не видят его мудрости, высоких устремлений, большого сердца, железной самодисциплины, когда дело касается партийной убежденности, патриотизма, больших человеческих качеств. “Нам страшно близко подходить к нему”, – не раз приходилось слышать мне от разных людей. Может, и эти люди не осмелились подойти? Вообще, во многих случаях человек сам себя заранее настраивает на то, что в нашем доме на него обязательно накричат. Это очень неверно и обидно. Наш дом теплый и гостеприимный, здесь попусту на людей не кричат, если они – люди. Сами себя готовят к худшему, и поэтому всегда настоже, всегда готовы убежать без оглядки. Это состояние мне знакомо по собственному опыту.

Да, ата часто может быть очень жестоким и суровым. Но какие у вас есть основания ни с того ни с сего бояться его гнева? Я, например, боюсь его только в тех случаях, когда чувствую свою вину. Поэтому будет глупостью говорить, что он всегда только бранит. Разве не дает он себе характеристику в своих стихах:

Будь молнией грозной и громом могучим,
Когда быть суровым требует случай.
А если быть надо и добрым и щедрым,
То стань в это время великим рассветом.

Мне порой кажется, что мы сами желаем, чтобы наш ата не был ни на кого похож, забывая о том, что он тоже человек. Мы ждем чего-то необычного или чудесного от человека, который и без того измучен, наверняка его тяготила собственная необычность, ведь любой талант – это не только дар, но и бремя.

Брови его так и остались нахмуренными в тот день. И есть не захотел, и на нас не обращал никакого внимания. Кто знает, в пучину каких мыслей погрузился ата. Может, ему как раз не хватало простоты человеческих отношений? Может, устал он быть особым, но одиноким? Может, гордое и высокое сердце тосковало по обычным теплым отношениям, по доброте людс-

кой? Кто смог увидеть, как страдает израненное сердце, которое, на беду свою, не умеет жаловаться! Скорее всего, подобное поведение есть та ширма, которая прикрывает от посторонних глаз его огромную беззащитность и детскую чистоту сердца.

Иногда мне кажется, что ему страстно хотелось быть безвестным простым человеком. Немногие знают, как мучительно тяжело было нести ему крест своей славы...

* * *

Первые дни весны. Тяжелый серый снег, оплывая лужами, растекался грязными ручейками. Сегодня ата встал ни свет ни заря, мрачнее тучи походил взад-вперед по коридору, а через несколько минут, вижу, он уже одет как в дорогу.

– Ата, вы куда-то собрались? – спросила я, гадая, в какую сторону надумал ехать верный своей привычке батыр.

– К Жамал.

Как это?.. Ведь мама умерла семь лет назад. К сердцу подползло леденящее предчувствие. Не зная, что сказать, я только просительно-растерянно смотрела на ата.

– Не таращись на меня. Жамал мне приснилась. Вызови машину. На могилу поедem.

Через полтора часа мы были у маленького надгробного памятника. Ата постоял чуть молча, затем, не обращая внимания на чавкающую под ногами грязь, опустился перед могилой на колени. Упираясь обеими руками в землю, почти касаясь лбом гранита, вдруг закричал, как от боли, сотрясаясь в глухих рыданиях.

– Жамке моя. Бедная моя Жамке! Сколько ты из-за меня вынесла, прости! Прости меня!

Тут и я не выдержала, сорвалась в плач. Слезы текли и текли, обдуваемые холодным ветром...

* * *

Кого-то ата мог с шумом выгнать из-за одного-единственного неверного слова, а кого-то, трижды достойного быть изгнанным, мог спокойно и

терпеливо сносить часами. Для меня это было загадкой. Слушает, и ни один мускул не дрогнет на подвижном лице, наоборот, часто задает участливые встречные вопросы, с доброжелательностью дает горе-собеседнику возможность высказаться. Иногда в таких случаях он казался мне вежливым, понимающим зрителем плохого спектакля. Такой зритель не станет забрасывать сцену гнилыми яблоками или оскорблять храм Мельпомены выкриками в адрес дурно играющих актеров. Он досмотрит спектакль до конца и даст свою уничтожающе точную, глубокую оценку. Да, а иначе к чему у нас в доме порою разыгрывались сцены откровенного хамства и глупости.

...Переступив порог с тяжелой, набитой продуктами сумкой, тут же замечаю на вешалке дорогое мужское пальто, шапку из невероятно блестящего престижного меха, длинный пушистый, кокетливо извивающийся шарф. Владелец этих вещей должен, по-видимому, очень себя уважать, подумала я и ушла на кухню. Из открытого кабинета доносились голоса. Размещая покупки в шкафах, прислушиваюсь: довольно рокошет чей-то незнакомый густой баритон. Надо зайти, поздороваться.

Ата по своему обыкновению полулежит, опершись локтем на подушки, в углу рта – белый мундштук. Напротив, в кресле, прочно сидит мужчина средних лет солидной, представительной наружности. В меру плотен, густые волосы зачесаны назад, нос горбинкой, такие крепкие жизнерадостные щеки. Исполненным внутреннего достоинства кивком агай ответил на мое приветствие. Бахытжан стоял у окна в скупающей философской позе.

– А, пришла, дочка? – коротко заметил ата после того, как я поздоровалась с гостем.

– Сноха Бауке? – поинтересовался тот и пытливо-изучающе, будто только что обнаружил здесь мое присутствие, посмотрел мне прямо в лицо.

– Да, это мама Ержана, – ответил ата. – Садись вон туда, – показал он мне на стул у спинки кровати.

Я молча села, хотя задерживаться тут не собиралась: скопились дела, да и дастархан надо готовить для гостя. Ата обычно не приглашал меня быть свидетелем своих бесед с посторонними, обрывки разговора я слышала, когда накрывала дастархан в кабинете, разливала чай, и сейчас, признаться, не поняла смысла этого приглашения. Напротив, часто ата просил оставить их с собеседником одних: “Занимайся своими делами, твой ага сам себе чай на-

ллет”, – не раз говорил он. То, что меня усадили рядом, не понравилось гостю. Минуту-другую он переводил округлившиеся от удивления глаза с ата на меня и наоборот, как бы спрашивая: “Что это значит?”

– Продолжай, продолжай, – словно не замечая его замешательства, спокойно сказал ата.

Тот заговорил не сразу – вначале озабоченно поерзал в кресле, потом, что-то с усилием вспоминая, потер высокий лоб ладонью.

– Да, мы затронули тему войны, – уверенно начал он. – Спору нет, это, безусловно, большая важная тема, которая исследуется не единожды и со всех сторон. Возможно, вам не понравится то что я сейчас скажу, и тем не менее эта тема изрядно надоела читателю, она эксплуатируется и переливается из пустого в порожнее. Сегодня книги о войне уже не популярны. Особенно среди молодежи, у них свое настоящее, свое будущее, свои проблемы. Они растут, не оглядываясь на прошлое, их планы и помыслы полны будущим и сегодняшними переменами. Да и народ устал: снова и снова бередят затянувшиеся болячки, снова и снова возвращают его в горе и страдания. Какая в этом необходимость? Народ давно заслужил право на спокойную, безмятежную жизнь.

– Твой отец был на войне? – прервал его ата. Спросил спокойно, но в его голосе мне послышался глубоко запрятанный гнев.

Гость ответил не сразу. Вынул из кармана сложенный вчетверо белоснежный платок, не спеша провел им по лбу.

– В связи со служебной необходимостью остался в тылу по правительственной брони.

– Гм-м, – безразлично произнес ата и пустил клубы дыма.

Если бы я не видела это собственными глазами, то ни за что не поверила бы, что ата может спокойно воспринимать эти пустые сытые разглагольствования.

– О чем тогда прикажешь писать? – еще больше поразил меня ата.

– Опыта вашей жизни хватило бы на десятерых. Вот и поведайте о том, что видели, поделитесь своими наблюдениями, ошибками, только откровенно и честно.

– А кому это нужно?

– Мне, например. Или таким, как я, джигитам, прокладывающим

дорогу в лучшую жизнь. Будем знать, какие опасности нас подстерегают, какие ухабы и рытвины впереди. Думаете, у нас врагов мало? Только и ждут, когда оступишься.

– Где ж ты накопил себе столько врагов? Ведь в своем народе, на своей земле живешь.

– Да разве уследишь, откуда они взялись. Но только знаю, что они спят и видят, как бы нас повалить. Такова уж завистливая природа человеческая, многим способным, толковым джигитам не дала ходу эта толпа.

– Способной молодежи не дают ходу не толпа, а такие, как ты, заметные дураки, – на лице ата молнией сверкнул гнев.

– Интересно вы рассуждаете, Бауке! Если бы мы были дураками, кто бы нам доверил ответственную работу?

– Вот это и есть самая большая ошибка.

– Вы так не перегибайте, мы служим народу.

– О народе громче всех ты кричишь, наверное, с трибуны, когда произносишь свои начальственные речи. А в остальное время народ для тебя не больше, чем толпа.

– Ой, Бауке, как вы любите изъясняться газетным языком! Конечно, по сравнению с нами, молодыми, вы больше успели сделать для народа, этого никто не отрицает. Но ведь поколение сменяется новым, у каждого – свои цели и задачи. Сейчас вам нужен покой, вы его заслужили, а сегодняшние проблемы оставьте решать нам, и мы хотим оставить что-нибудь для потомков, – бодро заключил он.

В комнате повисла тяжелая, нехорошая тишина. Энергия прочно сидящего здесь хама произвела на всех гнетущее впечатление. “Сейчас, сейчас ата даст ему достойный отпор”, – лихорадочно думала я, борясь с собственным сердцебиением. Но тут зашевелился неподвижно стоявший доселе Бахытжан. Он подошел почти вплотную к креслу и встал, глядя прямо в лицо несколько опешившему гостю. Я испуганно взглянула на ата, как бы спрашивая, не натворит ли сейчас чего Бахыт. Но ата, казалось, тоже был в замешательстве от вида сына: натужно покрасневшее лицо выдавало в нем крайнюю решимость. Но говорил он спокойно, только голос чуть-чуть дрожал от сдерживаемого волнения:

– Вот вы только что сказали о покое, который якобы необходим моему

отцу. Но покоя ему не было вчера, нет сегодня, не будет и завтра. Его днем и ночью ищут люди, просят встречи, уходят и приходят. Прибавьте к этому едущих к нам со всей республики. Я начинаю подозревать, что и на том свете его не оставят в покое. А сколько представителей новых поколений, о коих вы так хорошо недавно говорили, перебывало здесь, в этой комнате! О какой тишине может идти речь? И знаете, в этом отношении вам лично ничего не грозит, ох, как я вам завидую! Выйдете вы завтра на пенсию или слетите со своего высокого места, вас искать и тревожить никто не будет. Вот вам как раз гарантированы грядущий покой и тихая, спокойная старость. А моему бедному отцу такая и не снилась, – и, обернувшись к отцу: – Папа, зачем тебе, действительно, эти вечные тревоги, прими совет нашего гостя, и отныне мы никого на порог к нам не пустим, а?

– Вы оба – дураки! – закричал тут ата. Наконец-то иссякло его исполинское порою терпение.

Бахытжан направился к выходу. Повернув ему вслед напряженно изменившееся лицо, агай, трудно улыбаясь, процедил вслед:

– Откуда в тебе, молодом, столько зла и жестокости?

– Уж какой есть, – не оборачиваясь, бросил Бахыт. – Не нравлюсь, присовокупьте мою персону к списку ваших врагов.

Я опять со страхом взглянула на ата, но он только досадливо махнул на меня рукой: иди, мол.

Душа моя, разумеется, не на месте. Надо бы идти на кухню, за привычной приятной возней у плиты, может, мысли мои и настроение образуются, но я рассеянно хожу по квартире и никак не могу собраться. Бахытжан вышел на балкон, курит. На улице снег, а он в одной рубашке, ведь опять, не приведи аллах, в ногу колоть будет. В отношении своего здоровья он легкомыслен, как ребенок, при том, что выстраданного опыта хоть отбавляй.

Лишь на то меня тогда ихватило, чтобы воткнуть в розетку шнур электрического самовара и, пригорюнившись, тихо-тихо сидеть в своем “кабинете”.

Гость побыл еще немного, отказался от чая и поспешно ушел. Не знаю, о чем они еще говорили с ата, только очень уж он торопился уйти. Даже пуговицы на пальто не застегнул. Бахытжан не посчитал нужным выйти его проводить, одна я, виновато пряча глаза, стояла немым упреком в прихожей – теплого слова на прощание выдать из себя не смогла. Неправильно это –

ведь как бы ни принял человека ата, гость есть гость, уж я-то должна встретить и проводить его по закону нашего народа. И Бахытжан показал себя не с лучшей стороны, обычно не в его привычках было приставать к собеседникам ата. Но, с другой стороны, как тут выдержишь: не то что ему, мужчине, мне иголкой вонзился в сердце смысл сказанного им – “потомки тебя забудут”. Справедливо все-таки и по делу дал ему отпор Бахыт: “Уж если кого забудут, так это тебя”. Может, не так топорно, в лоб, надо было сказать это, а может, и не надо с такими церемониться...

Сразу после того, как агай ушел, Бахытжан напрямиком нацелился в кабинет к ата. И я за ним.

– Папа, прости, – кротко попросил он отца, – не обижайся, что я твоего гостя задел. Но ведь как бы то ни было, я твой сын, кровь у меня вскипела, ну и... Ты заметил, у этого “начальника” каждое слово, даже “вы”, наполнено презрением к человеку...

– У тебя вскипела не кровь, а мелкое ущемленное самолюбие, – холодно прервал его ата. – Сейчас уйди с моих глаз долой, подумай хорошенько, – и жесткий вытянутый палец указал на дверь.

И я тоже вместе со своим незадачливым супругом ушла “думать”. Ата сказал, что “оба они дураки”. Действительно, оба. Один уверял, что “память не останется”, другой тревожился о том, чтобы осталась. А ведь ата на память, славу и другие прижизненные, равно как и послежизненные почести смотрел совсем другими глазами. Он никогда не работал и не воевал ради них, его стремления были человечнее, насущнее, глубже. Что толку от высоких званий, если они не подтверждены реальными, конкретными делами во имя человека.

* * *

Когда радуется ата, у нас тоже поднимается настроение. Дом наполняется теплым светом, как в праздничный день, и каждая вещь становится красивой и уютной. Я думаю, это от того, что ата умеет радоваться по-настоящему, не оставляя в сердце и крошечной тени грусти.

Утром, когда мы только сели за завтрак, приехал Джан-аке из города Таласа. На фронте он был поваром при штабе. Это был красивый пожилой узбек, настоящее его имя – Джамбул Файзиев, а ата называл друга “Джан” и

“Джан-аке”. Джан-аке был очень красивый старик: бодрый, с большими черными молодыми глазами, с густыми белыми усами, плотный, крепкий, краснощекий.

Когда Джан-аке вошел в дом, ата стремительно вскочил со стула и зазвеневшим от радости голосом крикнул:

– О, Джан, приехал!

Гость бросил свой дорожный мешок у самого порога, широко раскрыл руки для объятий и пошел навстречу ата с каким-то беспомощным, ослепшим лицом, задыхаясь от слез нетерпения. Они обнялись и долго так стояли, не говоря ни слова, как будто боялись потерять друг друга. Светлые слезы катились по белым усам Джан-аке. Почувствовав это, ата прикрикнул на старика:

– Перестань сейчас же! Не показывай слабости! – крикнул ата, а у самого глаза предательски повлажнели.

Эта сцена никого не оставила бы спокойным, и нас она растрогала и взволновала до слез. Одинаково горько и радостно наблюдать встречу двух пожилых фронтовых друзей.

– Как дом твой, Джан? Как жена? Здоровы ли дети? – принялся сыпать вопросами ата. – Накрой на стол заново, доченька. Застели новой скатертью. А мы пока поговорим, – сказал он, увлекая гостя за собой в кабинет.

У Джан-аке в Алма-Ате обычно не было никаких дел, но когда он начинал сильно тосковать по другу, то, недолго думая, собирался в дорогу. Каждый раз, когда у нас появлялся Джан-аке, ата торжественно объявлял:

– Ну, дочка, передавай свое казанное хозяйство Джану. Давно, однако, я не пробовал пищу, приготовленную его руками.

Можно было подумать, что приготовленное старым поваром он съедал без остатка. Ничего подобного: так же ковырялся вилкой и делал вид, что ест. Зато мы, как голодные хищники, набрасывались на все, что готовил Джан. В первый раз, когда он чуть ли не с порога принялся хозяйничать у плиты, мне, естественно, стало неловко, стыдно. Вообще я, как всякая женщина, очень не люблю, когда мужчины вмешиваются в кухонные дела, хотя знаю, что узбеки не доверяют женщинам готовить плов. Но ведь я могла хотя бы нашинковать овощи, помыть рис, мясо порезать. Уйти совсем из кухни мне казалось невежливым, а стоять и наблюдать в бездействии было тоже невыносимо. Сначала я приставала к Джану: “Давайте, я это сделаю! Разрешите мне покро-

шить!” Но старик лишь улыбался и не подпускал меня к своему kazanу. Постепенно я привыкла к такому положению вещей. Самое интересное было то, что все продукты для плова Джан-аке привозил с собой из далекого дома. Он даже не смотрел на наш магазинный мелкий рис – доставал из мешка свой. Неизвестно, где он его брал: каждое зернышко светилось, словно крупный жемчуг. Затем он вынимал из торбы огромную курицу, желтую, казалось, насквозь пропитанную янтарным жиром. Потом появлялся лиловый изюм величиной с фалангу пальца. Затем извлекалась айва и, наконец, оранжевая сочная морковь. Все эти продукты Джан-аке не ленился везти за тысячу километров из самой Киргизии.

За чаем ата сказал:

– Дочка, сейчас положи в kazan долю Джана, будем есть бешбармак, а плов Джан-аке сварит к вечеру – придет Митя.

Это показалось мне странным: ата никогда не вмешивался в дела кухни.

После чая они занялись разговорами. Я не раз замечала, какими одинаково заинтересованными, даже одухотворенными становились их лица во время таких бесед. Джан-аке по возрасту был старше и никакого образования не имел, а ата был прославленным командиром, имеющим высшее военное образование, известным писателем. Может быть, в этом была заслуга ата, увлекательного собеседника, тонкого психолога, понимающего, с кем, как и о чем толковать.

Джан-аке бескорыстно и безгранично любит нашего ата. Будучи на десять лет старше его, он ни разу не назвал ата просто по имени: всегда полушутливо обращался к нему с мягким узбекским акцентом – “хозяин”. И столько теплоты и любви выражало это одно-единственное слово!

Однажды на кухне, слово за слово, мы разговорились с Джан-аке.

– У меня, дочка, шестеро детей, я женился уже после войны. Дети выучились, выросли, все встали на ноги. И все это благодаря твоему свекру, его поддержке и заботе. Почему? Да потому, что в огне и в смерти взял он меня под свое крыло, потому и остался жив. До самой своей смерти, пока живу под солнцем, буду чувствовать себя обязанным ему... Некоторые, возвращаясь с войны, тащили с собой разные трофеи, вещи, посуду, даже драгоценности. А ваш отец сказал мне: “Джан, ничего не бери из разрушенного дома, пусть этот дом сам в этом виноват. На чужой беде счастья не построи-

ишь. Даже нитки не бери, слышишь?! Вернешься домой с победой, займешься мирным и честным трудом, тогда все придет само собой. Ты женишься, создашь хорошую семью, будут у тебя дети и будешь ты жить счастливо”. И эти слова моего командира сбылись, дочка, все вышло так, как он говорил. Живем мы лучше одних, похуже других, но едим плоды честного своего труда, радуемся детям. Мой командир хоть и безбожник, но его слова бывают часто пророческими. И еще я знаю: если он кого-то благословит, то выпадет тому человеку счастье и удача.

А в другой свой приезд он, посмеиваясь, рассказывал:

– Мне, понимаешь, не верят, когда я говорю, что хорошо знаком с твоим свекром. Никто не верит, особенно казахи и киргизы. Они говорят: “Даже мы не видели Момышулы, откуда же такое счастье тебе, узбеку, выпало?” Шутят, конечно, и дразнят, но завидуют – я же вижу. А однажды командир сам приехал ко мне погостить, меня повидать. Вот тогда начался настоящий хадж к моему дому. Увидеть моего командира шли и простые люди, и руководители города с почтением заглядывали в мою калитку, чтобы услышать его голос и пожать ему руку, – похвастался старый узбек.

А я невольно любовалась им: таким прекрасным, чистым, детским было в ту минуту его лицо. Я хорошо помню, когда мы с ата отдыхали в Бериккаре, Джан-аке специально приехал за нами на машине и увез к себе ата и нас с Ержаном.

Джан-аке работал главным поваром одной из самых больших столовых киргизского города Таласа. Зарабатывал он, видно, неплохо, жил в достатке, и все же к каждому празднику, особенно к Новому году, к 23 февраля и 9 Мая, ата высылал ему деньги с припиской: “Купи детям к празднику подарки от меня”. Я сама по поручению ата не раз ходила на почту.

Через некоторое время после приезда однополчанина ата позвонил Снегину:

– Митя, это ты? Да ведь ты стал импортным, так что тебя и заполучить теперь трудно. Ах, сам собираешься зайти? Тогда будь к пяти часам, не опаздывай. Сегодня тебя ждет радостный сюрприз, как говорится, у белого верблюда брюхо распоролось. Да-да, в смысле угощения. Джан приехал. Послушаем твой рассказ о поездке.

Всего два-три дня назад друг отца, его фронтовой побратим

писатель Дмитрий Федорович Снегин вернулся из поездки в Англию. Поэтому ата назвал его “импортным”. Их дружба – это целая эпическая поэма. Больше сорока лет она писалась золотыми и огненными словами. Про свои обиды, о которых он ни за что и никому другому не сказал бы, ата говорил Дмитрию Федоровичу. Делился с ним своими секретами и планами, неприступность свою и гордость, гнев и плохое настроение ата прятал, когда приходил дядя Митя. Наверное, он берег его и не хотел взваливать на него свои тяготы, наоборот, старался принять горести друга на себя. Я видела как просто и хорошо бывает ата с боевым братом. Открытый, доброжелательный дядя Митя и наш ата, нравом своим схожий со стремительным смерчем. Краешком их честная дружба согрела и нас. С малых лет Бахытжан называет Снегина “дядя Митя” и питает к нему прямо-таки родственные чувства. Ержан называет Дмитрия Федоровича “мой русский дедушка”.

Ближе к вечеру пришел и дядя Митя. Старые фронтовые друзья обнялись. Все вместе мы сели за медовый плов Джан-аке и слушали рассказ “импортного Снегина” о его путешествии в Англию. Нечего и говорить о том, что мы слышали много неожиданного и необычного о чужом крае, о его людях: так красочен и весел был язык нашего признанного мастера слова.

– Знаешь, Бауржан, – сказал он после второй пиалы чая с молоком, – я очень боялся, что в Англии буду тосковать по нашему чаю со сливками, вот по такому, который подает Зейнеп. Но представь себе мою радость, когда я обнаружил, что в Англии живут почти казахи, они, оказывается, так же любят чай и умеют его толково заваривать.

Стемнело. Дмитрий Федорович засобирился уходить.

Уже в двери он сердечно сказал:

– Джан, пожалуйста, приходите и к нам. Плов был очень вкусный, спасибо!

Джан-аке расцвел, прижал обе руки к груди и принялся кланяться, благодаря за добрые слова:

– И вам спасибо! И вам спасибо, Дмитрий Федорович!

– Эй, Джан! – расхохотался ата. – Ты эту свою привычку с сорок первого года не можешь оставить. Когда однажды генерал Панфилов приехал в батальон, попал прямо к плову. Ел руками, пил чай, а уезжая, побла-

годарил Джана за вкусный обед. Так этот узбек вместо того, чтобы честь отдать генералу, принялся вот так же, по-восточному, руки к сердцу прикладывать да поклоны бить. Забыл, что он боец Красной Армии. Да мало того, стал еще звать в гости командира дивизии в штаб батальона, как к себе домой.

Мы дружно рассмеялись. Смеялся и Джан-аке. ...Наступило время сна, ата сказал:

– Дочка, ты Джану постели рядом со мной. Мы еще поговорим, повспоминаем.

Это я хорошо усвоила по прежним приездам Джан-аке. Дело в том, что в первый раз я постелила старику на диване, чтобы ему было помягче. Неудобно как-то стелить пожилому человеку на полу. Но ата заставил меня перетаскать одеяла и матрацы в его кабинет. После этого я купила раскладушку специально для Джан-аке и, когда он приезжал, ставила эту походную кровать рядом с ата.

– Пусть ночь будет спокойной для всех нас. Ты теперь нас не беспокой поминутными расспросами. Нам ничего не нужно. Отдыхай, спокойной ночи, – сказал ата.

Просыпаясь, я видела, что свет в кабинете все еще горит. В ту ночь они проговорили до утра. Свет пробивался из-под двери кабинета, узкой, сужающейся книзу полоской стелился по коридору. Мне тоже не спалось – думала о том, как освещает, согревает дом мудрая, всепонимающая старость; о том еще, как нам надо всем, зараженным суетой и прагматизмом, чувствовать на себе очищающий, просветляющий ее свет. У нашего народа старость почиталась за святость. На мою долю выпало редкое счастье, я должна благодарить судьбу только за одно то, что из моих рук пили чай, прикоснулись к приготовленному мной дастархану многие почтенные старцы, друзья и соратники ата.

* * *

Одно время, теперь уже давно, я работала на телестудии. Тогда я готовила в эфир передачу о литовском народном художнике и композиторе-классике Микалоюсе Константинасе Чюрленисе. Помню, очень мне запала в душу его символическая картина “Дружба”. На ней некто с бережным

трепетом передает в руки другому легкий, полыхающий, светящийся изнутри шар. Во всей позе передающего написаны сдерживаемое волнение, сожаляющая нежность, надежда на счастье. Кажется, вместе с огненным шаром, символизирующим завет дружбы, он передает своему собрату свое горячее сердце и веру в человека. Именно такой – на самоотдаче – представилась мне дружба в этой картине. Позже я написала письмо в Каунас, в музей Чюрлениса с просьбой сообщить о малоизвестных подробностях его жизни и творчества. И вот в тот день я, наконец, получила ответ от старшего консультанта музея Бригиты Тамошюнайте и прекрасно иллюстрированный альбом с репродукциями художника. Радость и гордость переполнили меня, и разве возможно было не поделиться с ата!

– Что это, дочка? – спросил он, увидев в моих руках большой, с яркой обложкой альбом. Я молча протянула его ата, полагая, что непосредственное знакомство с репродукциями знаменитого мастера будет гораздо более убедительным, нежели мой беспомощный пересказ. Он стал внимательно и сосредоточенно рассматривать первую страницу. Я вышла, чтобы не мешать. Через некоторое время он позвал меня сам.

– Знаешь, дочка, думаю, что я разбираюсь немного в живописи, люблю в ней конкретность, ясность. Здесь большей частью абстракция, я толком в ней мало что уяснил, – с этими словами он возвратил альбом.

У меня, конечно, тут же опустились руки. Знать бы, что так выйдет, я бы рассказала предварительно все, что смогла, показала бы “Дружбу” и поделилась бы своими от нее впечатлениями. Но, наверное, и сейчас не поздно, мелькнула спасительная мысль, и я сбивчиво, но вдохновенно поведала о своих, навеянных “Дружбой” и другими работами, настроениях. Ата терпеливо выслушал и сказал:

– Это твое личное мнение. А по-моему, это не та дружба, что пройдет через огонь, воду и не сгорит, и не утонет. Этот твой нежный трепещущий шар вряд ли выдержит настоящие испытания, а впрочем, может, во мне говорит настрадавшийся солдат. – Помолчав какое-то время, попросил: – Принеси, дочка, пиалу коже.

Выпив кислого напитка и промокнув носовым платком усы, он довольно произнес:

– Молодец, хорошо научилась выстаивать коже. Сегодня ты, пожалуй, заслужила, чтобы полить воды на руки моей женеше¹ Балакыз.

Я, разумеется, тут же расплылась в улыбке.

– А ты знаешь, кто такая Балакыз женеше?

– Знаю, это мама Курманбека-ата, но я ее никогда не видела.

Ата задумался, будто припоминая что-то, уселся поудобнее и начал свой рассказ.

– До сего дня поражаюсь одной вещи, – покачал он головой. – Давным-давно, когда я еще работал в Джувалах, в райкоме, жил я тогда в доме у Еркинбека. Он был года на два-три старше нас с Курманбеком, но разницы этой мы не чувствовали, так он был нам близок. Ну, то, понимаешь, была пора молодая, планов хоть отбавляй, и мы с Курманбеком часто любили помечтать о будущем. Он говорил, что будет журналистом, я непременно военным, а Еркинбек, посмеиваясь, полушутливо нас благословлял: “Да сбудутся все ваши мечты, пусть будут светлыми ваши дороги. Кому-то из нас троих надо остаться в ауле, потому я останусь здесь, буду работать как смогу”. Самое интересное, что наши слова сбылись в точности. Покойный Еркинбек до конца жизни проработал в Джувалах, в райкоме партии, в советских органах, много честного пота пролил. Курманбек стал известным журналистом, переводчиком. Ведь это он познакомил казахского читателя с книгой Александра Бека “Волоколамское шоссе”. Наша дружба началась рано и прошла через многие годы и испытания. Духовным наставником этой дружбы был отец Курманбека, дорогой и почтенный Сагындык-кария. Нас с Еркинбеком он любил не меньше, если не больше родного сына. О, Сагындык-кария был таким замечательным охотником, таким свободным, талантливым, гордым он был!

– Ата, Бахытжан говорил, что когда он писал “Последнюю схватку” и “Нож”, он постоянно был перед его глазами.

– Но ведь Бахыт в ту пору был совсем маленький. Хотя, верно, бывает, что картины детства до мельчайших подробностей сохраняются в памяти до самой старости, а месяцы и даже годы взрослой жизни стираются, исчезают, будто их не было. То-то, я думаю, откуда в этих работах такая реалистич-

¹ Женеше – жена старшего брата.

ность – у него-то, который беркута видел в зоопарке, а настоящего мергена только по телевизору. Что и говорить, приятно, что мой сын помнит Сагындыка-карию. Ну а Балакыз-бабушку он наверняка хорошо помнит. У них дома подолгу гостил, а то и Кенес, сын Курманбека, к нам приезжал. Вместе они часто уезжали к Тельману, Еркинбекову сыну. Стоило им только собраться втроем, играли так, что пыль до самых облаков. Асыки, лянга – не знаю, есть ли сейчас такая игра, – или кошкара оседлают и носятся по аулу, как на тулпаре, девушкам и женщинам на потеху. Вот ведь сорванцы какие были.

Балакыз-женеше сделала все, чтобы подружить Айбаршу, супругу Еркинбека, свою сноху Сару и нашу Жамке. Для трех домов была мудрой свекровью и бабушкой. А вообще покойница интересная была, – неожиданно всхохотнул ата. – Как-то раз мы – женеше, я, Курманбек, Сара и Жамке – впятером возвращались вечером из гостей. Машин и автобусов тогда было не то что сейчас, на них мы и не надеялись, идем себе пешочком. Вдруг сзади внезапно засигналила машина, мы отскочили в сторону. А Балакыз, женеше моя дорогая, нет чтобы свернуть в сторону, впереди автомобиля на скорости и припустила. Бежит этак бодро и время от времени оглядывается. Шоферу, видать, такое дело интересным показалось – прямехонько за ней и гонит, только скорость чуть сбавил. Так они до поворота вместе квартал отмерили. Я позже женеше говорю: “Что же вы сразу-то на обочину не свернули, зачем впереди машины бежать? А вдруг бы задавил!” А она этак высокомерно: “Где ж ему, проклятому, меня догнать”. Вот такой особой была наша женеше, – по-доброму засмеялся ата.

...Да, более полувека оберегали они свое братство. Как наследие отцов переняли его сыновья – Бахытжан, Тельман и Кенес.

Мы, три снохи – сноха Еркинбека-ата Мейиржан, сноха Курманбека-ата Изтелеу и автор этих строк, – в свою очередь свято храним память о дружбе наших свекров, об их бескорыстных, глубоко человеческих взаимоотношениях. Теперь и наши дети скучают друг по другу, как кровные братья. Дружба наших дедов живет уже в четвертом поколении – у нас есть внук Бауржан – сын нашего сына Максута, наш неповторимый любимый мальчик, хоть и считается он официально внуком Тельмана. Может быть, потому отношение к нему особое, что родился он ровно через сорок дней после кончины ата, когда, придавленные горем, не сегодня-завтра мы собирались отметить потрясшее

всех нас событие традиционными поминками. В честь деда, а моего ата, Тельман назвал внука Бауржаном. И я не смею произнести вслух имя этого розовощекого милого мальчишки, называю его “аташкой”. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что понимаю, чувствую подлинную глубину картины Чюрлениса “Дружба”, ибо на себе испытала, что значит это понятие в жизни, а не в символах. Какое неоценимое в рублях это богатство души – бескорыстная помощь, поддержка друзей в минуту, самую тяжелую, их горячие сердца и вера в человека.

* * *

В сентябре 1982 года в Алма-Ате гастролировал МХАТ им. Горького. Весть о приезде прославленного коллектива распространилась задолго до его приезда. Город волновался и метался в поисках билетов. Мы с Бахытжаном обычно редко поддаемся массовым настроениям, но в репертуаре театра значился спектакль, поставленный по книге Александра Бека “Волоколамское шоссе” – к 40-летию битвы под Москвой. В центральных газетах прошли хвалебные рецензии, по радио звучали интересные передачи о новой работе мхатовцев, и мы, понятно, горели желанием увидеть ее своими глазами. Тем более, прошло совсем немного времени со дня кончины ата, – как говорится, еще не высохла земля на его могиле и рана сердца была совсем свежей...

Словом, попали мы на эту постановку. Присоединившись к счастливым обладателям билетов, Бахытжан, Ержан и я удобно располагаемся в мягких креслах. Но я волнуюсь. Под ногами будто угли горячие тлеют. Взглянула на свою семью, и у них на лицах отчего-то страх пополам со смутением. Через несколько минут сцена полыхала ярко-красным огнем, рвались снаряды, нутужно ревели танки, копоть, дым, страдания – война. Вот появился наш ожидаемый с минуты на минуту “ата”. Услышав родную фамилию, Ержан вздрогнул и прижался к отцу.

Первое отделение пролетело как одно мгновение. А в перерыве к нам подходили с поздравлениями. Ревниво всматриваясь в отчаянно смутившегося Бахытжана, утверждали, что не похож. Кто-то громко доказывал, что артисты добавили много лишнего, чего нет в книге. Но мне, честно сказать, было не до этих деталей. В душе моей бурлили ощущения более высокого порядка: ведь впервые в истории МХАТа на его сцене был воссоздан образ героя-казаха, и

герой этот был моим ата, отцом Бахытжана, дедом моего Ержана. Нечего и говорить, что это было огромное событие для всего моего народа. Не надо искать внешнего сходства, а надо проникнуться той высокой ролью, которую сыграл Бауржан Момышулы в духовном становлении своего народа.

После спектакля артисты по традиции вышли на сцену, и к ним поднялся Ержан. Неловко вручил цветы исполнителю главной роли Борису Васильевичу Щербакову.

Постановка была, безусловно, сильная, яркая. Режиссер Всеволод Николаевич Шиловский растроганно и, по-моему, не совсем кстати благодарил нас за то, что мы пришли – а ведь это мы должны были благодарить его за талантливую работу об ата. Он повел нас к Щербакову. Борис Васильевич сидел на диване все еще в одежде ата, устало сжимал виски, наверное, болела голова. Но узнав, кто мы, чуть не прослезился: ведь перед ним стояли живые благодарные потомки его легендарного героя. Ему трудно далась эта роль, но он показал нашего ата именно таким, каким он был всю свою жизнь, – одаренным, трудным, противоречивым, но честным.

На следующий день Бахытжан позвонил Шиловскому и пригласил его и его коллег к нам в гости. Он с удовольствием принял наше приглашение, но сказал, что сначала они хотели бы съездить поклониться могиле героя и попросил нас быть с ними в этой поездке.

И вот мы вместе с участниками спектакля у изголовья ата.

– Папа! – произнес Бахытжан чуть дрожащим голосом. – К тебе пришли поклониться твои дети из Москвы.

Бахытжан говорил по-казахски, но в таких случаях перевод не нужен, здесь говорит сама душа, и артисты молча склонили головы перед ата.

На другой день все они были у нас в гостях. Мы – я и другие снохи ата Изтелеу и Мейиржан – старались не нарушить обычая предков, встретить гостей так, как принято у нашего народа. Актеры пробыли у нас долго, разговор шел интересный, сидящие за столом пытались даже обобщить методы работы ата с подчиненными.

Исполнитель роли генерала Панфилова, популярный актер Георгий Бурков:

– Покажи мне кто-нибудь модную полированную вещь и скажи, что к этому прикасался Момышулы, я бы ни за что не поверил. А вот остав-

пшийся со времен войны простой дощатый штабной стол мне, артисту, дороже всякого остального реквизита.

Режиссер Всеволод Шиловский:

– В процессе подготовки спектакля я сам настолько проникся создаваемой в “батальоне” атмосферой, что настроен был в любую минуту принять бесповоротное решение по любому вопросу современной жизни. Ходил по улицам Москвы с таким чувством, будто из-за угла вот-вот появится прославленный командир и я тут же вытянусь по стойке “смирно”.

Борис Щербаков:

– Когда мне сказали, что я буду играть роль Момышулы, я со страху сел на подвернувшийся стул и закрыл лицо ладонями. Потом долго тянул с ответом: с одной стороны, заманчиво сыграть такого человека, но с другой опасаясь, что не осилю. “Давай, Борис, мобилизуйся, соберись с духом”, – подбадривал я себя. Второй раз я по-настоящему перепугался, когда приехал в Алма-Ату. Ведь это его родина, и зрители, его земляки, вдвойне-втрое критичны. И еще один из коллег добавил мне эмоций. “В зале, – говорит – сидят его родные сын и внук. Помни об этом”. Тут у меня натурально задрожали колени, и я, как в самый первый раз, упал на подвернувшийся стул, – рассмешил нас Борис.

Участники спектакля из Алма-Аты уезжали почти нашими родственниками. Позже мы ездили всей семьей в Москву. У Шиловских и у Щербаковых дома висит по большому портрету ата, и я почему-то до сей поры храню в душе чувство благодарности и признательности этим людям, и хранила бы его даже за одно то, что они просто берегли бы у себя портрет родного мне человека.

Нам удалось посмотреть “Волоколамское шоссе” и в самой Москве, в собственном здании МХАТа. Хотелось посмотреть, как воспринимает эту работу и образ ата столичная публика. Три раза спектакль прерывался аплодисментами, а в перерыве можно было услышать обрывки мнений о том, что образ главного героя поразительно колоритен, и т.д. В связи с этим мне вспомнился один характерный случай. К 40-летию Победы по Центральному телевидению прошла премьера телеспектакля по известному произведению Бека. Вскоре после этого события к нам домой пришел какой-то джигит и, нимало не смущаясь, заявил:

– Почему роль нашего ата играет совершенно не похожий на него чело-

век? Что это – пародия? И вы можете довольствоваться таким уровнем? Не ожидал! Почему бы сразу не дать им надлежащий отпор?

Я поначалу не нашлась даже, что сказать в ответ на подобное хамство. Бахытжана дома как назло не было.

– Дорогой мой, не кипятись, – сказала я, чуть оправившись от удара. – Я понимаю, что тебе безразлично, кто создает образ ата. Но давай взглянем на вещи поглубже. Разве не далекий столичный театр проявил к ата, а значит, ко всем нам такое уважение, посвятив ему талантливую постановку? Так. Теперь, если говорить правду, образ ата здесь в известном смысле собирательный – это не только один конкретный человек, но и многие его земляки-соратники, многие, зачастую безвестные, герои-казахи. Заметь, ни один театр, кроме МХАТа, не взялся за эту работу, а первым всегда трудней. Не зря в народе поговорка: “Курносый носишко падок на запахи”. Зачем собирать несущественные мелочи и противопоставлять их главному – удаче спектакля? Тем более что всякое искусство условно. А мы, например, семья Момышулы, можем сказать коллективу театра только огромное спасибо.

Но джигит этот, похоже, меня не понял: “С вами невозможно разговаривать” – и ушел.

Я же между тем убеждена – человек не сможет жить на этом свете, если станет подмечать и искать только плохое, мрачное: мало ли его, при желании, можно отыскать вокруг. Да и не от большого ума это. Куда труднее, но благороднее, что ли, выше, от всей души и от чистого сердца искренне радоваться тому хорошему, что иногда случается в нашей жизни, быть благодарным за это.

...Не думаю, чтобы с годами ослабла наша дружба с МХАТом. Ведь это далеко не тот случай, когда с глаз долой – из сердца вон. Корни ее связаны с великим отрезком истории и с ее людьми, с ата. Поэтому-то я и верю в чистоту, верность и прочность этой дружбы.

* * *

По Алма-Ате гуляла метель. За белым снежным занавесом стояли неподвижные молчаливые дома, словно зябко прислушиваясь к вою ветра. Огромный белый шлейф летел над деревьями, черные ветки которых скрюченными

пальцами цеплялись за края этой стремительной мантии и разрывали ее на клочья. Снег летел почти параллельно земле, и мир казался нереальным и сказочным. Он шел до самых сумерек, и оранжево вспыхнувшие окна усилили ощущение сказочности и волшебства.

Из комнаты Бахытжана доносилась музыка. Сегодня он почему-то поочередно слушал то 5-ю симфонию, то 23-ю сонату Бетховена. Может, именно эта музыка казалась ему созвучной дню...

Вечером мы, как обычно, собрались возле кровати ата. Он лежал на спине и неотрывно смотрел в какую-то точку на потолке. В уголке губ торчала погасшая сигарета.

– А, заходите, – не изменив положения, безучастно сказал он и глазами указал на кресла рядом.

По измученному лицу ата, по истстрадавшимся глазам было видно, что сегодня он снова мысленно прошел по неведомым далям и нелегким дорогам человеческой судьбы.

– Ну-у-у, папа! Смотри, как ты измазался, – заметил Бахытжан.

– О чем ты? – удивленно приподнялся ата.

– Видишь, вся грудь в пепле, до самых усов испачкана, – и, достав платок, он принялся стряхивать пепел с отцовской груди.

Ата помолчал. Когда мы разместились, он повернулся к нам лицом, опершись на локоть, приподнялся повыше, взял спички и поднес огонек к потухшему кончику сигареты. Глубоко затянувшись, пристально посмотрел на Бахыта:

– Сынок, разве ты не знаешь, что пепел к грязи не относится? Он не может пачкаться. Пепел остается от того, что сгорело до конца. Если что-либо чадит, то от того остается головешка, уголь, шлак или, скажем, сажа или зола. У несгоревшего – кислый угарный запах, а у пепла запах особый – чистый и печальный. Я даже в свежем воздухе слышу запах пепла, даже в самом светлом дне вижу его крупинки. Почему? Да потому, что до сих пор скитается по свету несчастный пепел сгоревших городов, деревень и душ человеческих, священный пепел страдальцев и мучеников, сгоревших в крематориях фашистских концлагерей. И этот пепел не даст о себе забыть. Когда глаза застилают беспечность и благодушие, этот пепел вонзается в зрачки, очищает зрение. Вместе с дыханием пепел попадает в

грудь, мучает и пробуждает сердце. Вы знаете стихи про пепел? Нет? Тогда слушайте, что написала женщина, имени ее я, к стыду своему, не запомнил: “Я пепел! Я пепел, пепел. Горстка холодной пыли. В той жизни, короткой, как искра, была я когда-то Боженкой, девчонкой с большими глазами, с веселой русской косою... Мне руки ломал в Равенсбрюке палач с голубыми глазами... Я пепел, ты слышишь мой голос?... А пеплу ведь тоже страшно век над землей скитаться. А пеплу ведь тоже больно вечно в сердца стучаться: люди, не позабудьте!” И если мертвому пеплу так больно и страшно, то каково должно быть нам, живым, вы об этом когда-нибудь думали, дети?!

Я молча, давясь слезами, плакала. Слепцы мы! Ах, какие же мы слепые! До сих пор я не замечала, что седые волосы ата и его заиндевшие усы одного цвета с пеплом. Оказывается, тысячу раз в день сгорает в огне большое израненное сердце, и тысячу раз он снова и снова подставляет под пули грудь, чтобы заслонить нас от смерти, тысячу раз умирает и сгорает до пепла и снова воскресает и идет в бой с привкусом горького пепла на губах.

Он редко рассказывал нам о войне. Мне казалось, что смех Ержана, его милый детский лепет, наши беседы, повседневный труд, спокойное небо над нами, свобода заставили его забыть о тех страшных днях. Я ошибалась. Наверное, во сне на него шли танки: ведь он часто скрипит зубами по ночам и просыпается грустным, тихим.

Я старалась делать для него все, что было в моих силах, но как, оказывается, этого мало! А я, глупая, смела еще не раз обижаться на его окрики и суровость. Правда, виду не подавала, но ведь плакала украдкой. Что эти мои слезы по сравнению с мучениями ата! Стыдно за собственные слезы перед его нечеловеческой болью. Пусть падут на меня все его страдания и горести, пусть обойдут его впредь все болезни и беды. Пусть вонзятся мне в сердце те колючки, которые ранят его ноги!

Ата по-прежнему – бурный поток, который сметает на своем пути все заслоны и плотины и мчится, неукротимый, не вмещающийся ни в какие русла. Все не так просто, как кажется...

Весь груз своей жизни и личности он нес сам, не перекладывал на чужие плечи. А груз этот был тяжел. Все эти годы были для меня короче иного дня – сверкнули молнией и пронеслись над головой, чтобы кануть в вечность. У меня, его невестки, было много повседневных забот и обязанностей. Но ведь

и мало что зависело от меня. Я просто слабая маленькая женщина... Мне оставалось только, насколько возможно, устраивать его быт, и денно и нощно желать ему покоя и здоровья. Мне было радостно слышать голос, называвший меня дочерью. Это делало меня по-настоящему счастливой.

Жизнь продолжается, и неизвестно, как еще сложится она в дальнейшем. Но, оглядываясь, я вижу, что лучшие годы из всех моих прожитых лет – самые насыщенные, самые благородные, наполненные трудными и дорогими радостями, – были годы, проведенные под одной крышей с ата. Знаю, что мне не в чем себя упрекнуть, и в большом, и в малом я старалась быть достойной его личности, но сердце нет-нет да и занает. И тогда я снова с сомнением спрашиваю себя: все ли, что было в моих силах, сделала я для него? Все ли?..

Что ж, на то оно и сердце, чтобы мучиться. Я невестка своего ата и, наверное, капля его силы и мужества перешли ко мне от него, я стала сильной. Почитая дорогую память об ата, склоняю голову перед своим народом, перед достойными его сынами, перед святой сединой аксакалов моей земли.

1986 год.

Көпшілік-танымдық басылым Массово-познавательное издание

Естелік, эссе Воспоминания, эссе

Ахметова Зейнеп

ШУАҚТЫ КҮНДЕР СВЕТЛЫЕ ДНИ

Негізгі орта және жоғары мектеп жасындағы
балаларға арналған (12–18 жас)

Для детей среднего и старшего школьного
возраста (12–18 лет)

Редакторы *С.С. Масгутова*
Көркемдеуші редакторы *М. Сапа*
Компьютерде беттеген *Р.Т. Дюсенбаева*
Корректоры *А. Смаилова*

Редактор *С.С. Масгутова*
Художественный редактор *М. Сапа*
Компьютерная верстка *Р.Т. Дюсенбаевой*
Корректор *А. Смаилова*

Басуға 13.07.2022 ж. қол қойылды.
Пішімі 70х90 $\frac{1}{16}$. Есептік баспа табағы 14,9.
Шартты баспа табағы 19,3. Офсеттік басылым.
Әріп түрі «Times New Roman». Офсеттік қағаз.
Қосымша таралымы 3000 дана. Тапсырыс № 286.

Подписано в печать 13.07.2022 г.
Формат 70х90 $\frac{1}{16}$. Уч.-изд.л. 14,9.
Усл.печ.л. 19,3. Печать офсетная.
Гарнитура «Times New Roman». Бумага офсетная.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 286.

Сапасы жөнінде мына мекемеге хабарласыңыз:
Қазақстан Республикасы,
«АЛМАТЫКІТАП БАСПАСЫ» ЖШС,
050012, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 111-үй,
тел. (727) 250 29 58, факс: (727) 292 81 10.
e-mail: info@almatykitap.kz

С претензиями по качеству обращаться:
Республика Казахстан,
ТОО «АЛМАТЫКІТАП БАСПАСЫ»
050012, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111,
тел. (727) 250 29 58; факс: (727) 292 81 10.
e-mail: info@almatykitap.kz

Сапа және қауіпсіздік стандарттарына сай.
Сертификатталған.
Сақтау мерзімі шектелмеген.

Соответствует всем стандартам
качества и безопасности. Сертифицирована.
Срок годности не ограничен.

Приобрести книги можно в книжных магазинах ТОО «АЛМАТЫКІТАП БАСПАСЫ»
г. Нур-Султан: ул. Иманова, 10, тел.: (7172) 53 70 84, 27 29 54;
пр. Б. Момышулы, 14, тел.: (7172) 42 42 32, 57 63 92.
г. Алматы: пр. Абая, 35/37, тел.: (727) 267 13 95, 267 14 86;
ул. Гоголя, 108, тел.: (727) 279 29 13, 279 27 86; ул. Кабанбай батыра, 109, тел.: (727) 267 54 64, 272 05 66;
ул. Жандосова, 57, тел.: (727) 303 72 33, 374 98 59; ул. Майлина, 224 «А», тел. (727) 386 15 19;
ул. Толе би, 40/1, тел.: (727) 273 51 38, 224 39 37.

Интернет-магазин www.flip.kz
Коммерческий отдел, тел.: (727) 292 92 23, 292 57 20.
e-mail: sale1@almatykitap.kz

Об имеющихся книгах и новинках
вы можете узнать на сайте www.almatykitap.kz

